АЗБУКА ВЕРЫ

Лондон Джек

Майкл, брат Джерри

Художественная литература · azbyka.ru

Майкл, брат Джерри – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/majkl-brat-dzherri

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Майкл, брат Джерри

Лондон Джек

Предисловие

Еще в очень раннем возрасте, может быть, в силу моего врожденного ненасытного любопытства я возненавидел представления с дрессированными животными. Любопытство отравило мне этот вид развлечения, ибо я проник за кулисы, чтобы собственными глазами увидеть, как же все это делается. И картина, открывшаяся мне за блеском и мишурой представления, оказалась очень уж неприглядной. Я столкнулся там с жестокостью столь страшной, что раз и навсегда понял: ни один нормальный человек, хоть однажды увидев все это собственными глазами, уже не получит удовольствия от дрессированных животных.

Меньше всего я склонен к сентиментальности. Литературные критики и разные сентиментальные люди считают меня звероподобным существом, упивающимся видом крови, насилиями и всевозможными ужасами. Не оспаривая такой своей репутации и даже соглашаясь с этой оценкой, позволю себе заметить, что я действительно прошел суровую школу жизни, видел и знал больше жестокости и бесчеловечности, чем обычно видит и знает средний обыватель. Чего только я не видел: корабельный кубрик и тюрьму, трущобы и пустыни, застенки и лепрозории, поля сражений и военные госпитали. Я видел страшные смерти и увечья. Видел, как вешают идиотов только за то, что они идиоты и не имеют денег на адвоката. Я был свидетелем того, как разрываются стойкие, мужественные сердца и надламываются недюжинные силы, видел людей, доведенных жестоким обращением до буйного, неизлечимого помешательства. Я был свидетелем голодной смерти стариков, юношей, даже детей. Я видел, как мужчин и женщин бьют кнутом, дубинками и кулаками; видел чернокожих мальчиков, которых хлестали бичом из кожи носорога столь искусно, что каждый удар кровавой полосой опоясывал их тела. И тем не менее — я заявляю об этом во всеуслышание — никогда не был я так подавлен и потрясен людским жестокосердием, как среди веселой, хохочущей, рукоплещущей толпы, глазеющей на дрессированных животных.

Человек со здоровым желудком и крепкой головой может стерпеть жестокость и мучительство, если они являются следствием скудоумия или горячности. Я человек со здоровым желудком и крепкой головой. Но у меня тошнота подступает к горлу и все кружится перед глазами от той хладнокровной, сознательной, обдуманной жестокости, от того мучительства, которое кроется за девяноста девятью из ста номеров с дрессированными животными. Жестокость как искусство пышным цветом расцвела в среде дрессировщиков.

И вот я, взрослый человек с крепкой головой и здоровым желудком, привычный к тяжелым испытаниям, к грубости и жестокости, поймал себя на том, что бессознательно старался избежать страданий, которые испытывал, глядя на дрессированных животных. Я вставал и выходил из зала при их появлении на сцене. Говоря «бессознательно», я хочу сказать, что я и не полагал, будто таким способом можно действенно бороться с этим «искусством». Я просто ограждал себя от жгучей боли.

Но в последние годы я, как мне кажется, лучше понял человеческую природу и смело могу утверждать, что нормальный человек, безразлично мужчина или женщина, не потерпел бы этих зрелищ, знай он, сколь страшная жестокость кроется за ними. Поэтому я и беру на себя смелость высказать три нижеследующих пожелания:

Первое. Пусть каждый сам убедится, какая чудовищная мера жестокости необходима для того,

чтобы заставить животное «играть» в этих весьма доходных представлениях.

Второе. Я предлагаю всем мужчинам и женщинам, юношам и девушкам, ознакомившись с методами, которые применяются в искусстве дрессировки, стать членами местных, а также общеамериканских обществ покровительства животным.

Третьему пожеланию я должен еще предпослать несколько слов. Подобно сотням тысяч людей, я трудился на другом поприще, стремясь объединить людские массы для борьбы за лучшее, за более достойное существование.

Нелегкий труд — заставить людей сплотиться, еще труднее подвигнуть их на организованный протест против невыносимых условий их собственной жизни и — тем более — жизни порабощенных ими животных.

Холодный пот прошибает нас, и мы льем кровавые слезы при виде свирепой жестокости, которая является основой работы с дрессированными животными. Но даже одна десятая процента потрясенных зрителей не организуется для того, чтобы словом и делом воспрепятствовать преступному мучительству. Тут сказывается наша человеческая слабость, и нам следует это признать так же, как мы «признаем» тепло и холод, непрозрачность непрозрачного тела и извечный закон земного притяжения.

И тем не менее для девяноста девяти и девяти десятых процента всех нас, не пожелавших побороть собственную слабость, открыт путь борьбы с жестокостью меньшинства, занимающегося для нашего развлечения дрессировкой животных, которые, в сущности, являются нашими меньшими братьями. И это очень простой путь. Чтобы пойти по нему, не надо платить членские взносы и обзаводиться штатом секретарей. И думать ни о чем не надо до того момента, когда в цирке или в театре нам объявят по программе выступление дрессированных животных. Тут мы обязаны выразить наше недовольство, обязаны встать с места и выйти в фойе или на свежий воздух и вернуться в зал лишь по окончании этого номера. Вот и все, что мы должны делать для того, чтобы добиться повсеместного снятия с репертуара дрессировочных номеров. Если дирекции театров убедятся, что эти номера не пользуются успехом, они в тот же день и час перестанут потчевать ими публику.

Д ж е к Л о н д о н Глен Эллен, округ Сонома, Калифорния.

8 декабря 1975 г.

Глава первая

Майкл, ирландский терьер, охотник за неграми, так и не уехал из Тулаги на судне «Евгения». Раз в пять недель, на пути от Новой Гвинеи и Шортлендских островов до Австралии, в Тулаги заходил пароход «Макамбо». Однажды он прибыл с опозданием, а Келлар, капитан «Евгении», в тот же вечер забыл Майкла на берегу. Ничего страшного в этом, собственно, не было; ночью капитан Келлар вернулся на берег, и пока он взбирался на высокий холм к бунгало комиссара, экипаж шлюпки уже обыскивал, правда, тщетно, всю округу и навесы, под которыми стояли лодки.

На деле же вышло, что за час до этого, когда на «Макамбо» уже поднимали якорь, а капитан Келлар спускался по сходням на берег, Майкл влезал на «Макамбо» через иллюминатор правого борта. Случилось это потому, что Майкл мало смыслил в жизни, потому, что он надеялся встретить Джерри на борту этого судна, — ведь в последний раз они виделись именно на судне,

— и еще потому, что он обзавелся другом.

Дэг Доутри был стюардом на «Макамбо»; и, может быть, многое в его жизни сложилось бы по-другому, не будь он всецело заворожен своей необычной и странной славой. Природа наделила его добродушным, но неустойчивым характером и железным здоровьем, а славился он тем, что в течение двадцати лет ни разу не пренебрег своими обязанностями и ни разу не поступился своей ежедневной порцией в шесть кварт пива, даже во время пребывания на Немецких островах, где, по его хвастливому заверению, в каждой бутылке пива содержалось не менее десяти гран хины — на предмет предупреждения малярии.

Капитан «Макамбо» (а в свое время капитаны «Моресби», «Масены», «Сэра Эдварда Грэиса» и прочих пароходов компании Бернс Филп, носивших не менее причудливые имена) с гордостью показывал пассажирам эту легендарную личность, этого единственного в морских летописях человека. В такие минуты Дэг Доутри, притворяясь, что занят своим делом на верхней палубе, нет-нет да и косился на мостик, с которого его рассматривали капитан и пассажиры; грудь его при этом высоко вздымалась от гордости, — ведь он точно знал, что капитан сейчас говорит: «Смотрите-ка! Это Дэг Доутри, человек-цистерна. За двадцать лет никто его не видел ни пьяным, ни трезвым, и не было дня, чтобы он не выпил своих шести кварт пива. По нему этого не скажешь, но смею вас уверить, что это так. Сам не понимаю, как он умудряется, и просто восхищаюсь им. Работает за троих, не считаясь со временем. У меня и от одного стакана пива делается изжога и пропадает аппетит. А он прямо-таки цветет от этого напитка. Вы только посмотрите на него! Посмотрите!»

Итак, зная, какую речь держит капитан, Доутри, напыжившись от сознания собственной доблести, еще ретивее принимался за работу и в такой день, случалось, выпивал даже седьмую кварту пива во славу своего удивительного организма. Конечно, это была своеобразная слава, но ведь на свете немало своеобразных людей. Дэг Доутри, например, в этой славе видел смысл жизни.

Итак, все свои душевные силы и всю энергию он употреблял на поддержание утвердившейся за ним репутации «шестиквартового» человека. Для этой же цели в часы досуга он мастерил на продажу черепаховые гребни и другие украшения и, кроме того, набил себе руку на краже собак. Кто-то ведь должен был платить за пресловутые шесть кварт, а шесть, помноженные на тридцать, к концу месяца составляли кругленькую сумму, и поскольку этот «кто-то» был сам Дэг Доутри, то он и счел необходимым водворить Майкла на «Макамбо» через иллюминатор правого борта.

В тот вечер в Тулаги Майкл, недоумевавший, куда же запропастился вельбот, повстречался с коренастым и седоволосым пароходным стюардом. Дружба между ними завязалась, можно сказать, мгновенно, так как Майкл, возмужав, превратился из жизнерадостного щенка в жизнерадостную собаку. Он был куда общительнее своего брата Джерри, хотя знал очень мало белых; сначала только мистера Хаггина, Дерби и Боба на плантации в Мериндже; позднее — капитана Келлара и его помощника с «Евгении», наконец, Гарлея Кеннана да еще нескольких офицеров с «Ариеля». Майкл полагал, что все они чрезвычайно выгодно отличаются от той массы чернокожих людей, которых его обучили презирать и на которых его натравливали.

Дэг Доутри был такой же, как все белые, судя по тому, как он приветствовал Майкла «Эй ты, пес белого человека, что ты делаешь в этой негритянской стороне?» Майкл отозвался на это приветствие скромно и с явно притворным равнодушием, что изобличали прижатые уши и веселые огоньки в глазах. Дэг Доутри, умевший с первого взгляда оценивать собаку, отметил все это, едва только он рассмотрел Майкла при свете фонарей, которые держали в руках чернокожие мальчики при разгрузке вельботов.

Стюард немедленно признал за Майклом два достоинства: первое — симпатичная и явно добродушная собака, второе — собака дорогая. Вынесши такое суждение, Дэг Доутри быстро огляделся вокруг. Никто за ним не подглядывал; кроме негров, никого поблизости не было, да и те смотрели в сторону моря, откуда доносился всплеск весел, предупреждавший о приближении очередного вельбота. Дальше направо, под другим фонарем, он разглядел комиссарского клерка и эконома с «Макамбо», яростно споривших по поводу какой-то ошибки в накладной.

Стюард бросил еще один быстрый взгляд на Майкла и, незамедлительно приняв решение, повернулся и пошел вдоль берега, торопясь выйти из полосы света. Отойдя ярдов на сто, он уселся на песок и стал ждать.

— Этому псу цена двадцать фунтов, ни пенни меньше, — пробормотал Дэг Доутри себе под нос. — Если мне не удастся выручить за него десять фунтов, значит, я болван, не умеющий отличить терьера от борзой. Нет, десять фунтов мне обеспечены в первом попавшемся кабаке сиднейского порта.

Десять фунтов, преображенные в кварты пива, слились в его мозгу в грандиозное и лучезарное видение, нечто вроде пивоваренного завода.

Быстрый переступ лап по песку и негромкое пофыркивание заставили его насторожиться. Произошло то, на что он рассчитывал. Он сразу полюбился собаке, и она пристала к нему.

Дэг Доутри умел обходиться с собаками, и Майкл это смекнул, как только стюард потрепал его по шее пониже уха. В этом прикосновении не чувствовалось угрозы, так же как не чувствовалось опаски или боязни. Оно было сердечным, решительным и внушило доверие Майклу. Грубоватое без жестокости, властное без угрозы, уверенное без коварства. Майклу показалось вполне естественным, что совсем чужой человек ласково треплет его по шее, добродушно приговаривая: «Молодец, псина! Валяй, валяй — познакомишься со мной, еще того и гляди бриллиантами тебя осыплю».

Что и говорить, никогда в жизни Майкл не встречал человека, который бы так сразу пришелся ему по душе. Дэг Доутри инстинктивно умел ладить с собаками. Натуре его была чужда жестокость. Он умел соблюдать меру как в строгости, так и в баловстве. Он не домогался всевозможными уловками дружбы Майкла. Вернее, конечно, домогался, но так, что этого нельзя было заподозрить. Потрепав Майкла по шее для первого знакомства, он отпустил его и сделал вид, что вовсе о нем позабыл.

Он принялся раскуривать трубку, чиркая спичку за спичкой, словно ветер задувал их. Но пока они догорали, едва не обжигая ему пальцев, а он старательно пыхтел трубкой, его пронзительные голубые глазки под мохнатыми седыми бровями упорно изучали Майкла. Майкл же, насторожив уши, в свою очередь, не сводил глаз с незнакомца, который, казалось ему, никогда не был для него незнакомцем.

Майкл почувствовал некоторое разочарование оттого, что этот восхитительный двуногий бог перестал заниматься им. Он даже сделал попытку навязаться на более близкое знакомство и вовлечь его в игру, для чего стремительно вскинул вверх передние лапы, затем вытянул их и, бросившись на землю, распластался так, что грудь его легла на песок; при этом он энергично завилял обрубком хвоста и несколько раз громко и призывно тявкнул. А человек, сидя в полной темноте, после того, как догорела третья спичка, оставался равнодушным и продолжал флегматично покуривать трубку.

Свет еще не видывал более умелого ухаживания, более продуманного и коварного обольщения, чем то, к которому прибег пожилой шестиквартовый стюард, желая завладеть Майклом. Когда Майкл, раздосадованный столь неуважительным обхождением, беспокойно заерзал, словно грозясь уйти, тот сердитым голосом подозвал его:

— Поди сюда, пес! Поди сюда, говорят тебе!

Дэг Доутри удовлетворенно ухмыльнулся про себя, когда Майкл подбежал и принялся усердно и вдумчиво обнюхивать его брюки и уж, конечно, воспользовался случаем, чтобы при слабых вспышках трубки получше рассмотреть его великолепные стати.

— Ничего себе собачка, подходящая, — одобрительно проговорил он. — Скажу тебе, псина, что ты можешь получить приз на любой собачьей выставке. Вот только одно ухо у тебя подгуляло, но я, пожалуй, тебе его выглажу, а не я, так ветеринар.

Он небрежно положил руку на ухо Майкла и с какой-то чувственной нежностью принялся кончиками пальцев мять его в том месте, где оно берет начало из туго натянутой кожи. И Майклу это понравилось. Никогда еще рука человека не обходилась с его ухом так фамильярно и в то же время ласково. Прикосновения этих пальцев вызывали в нем чувство такого острого физического наслаждения, что он в знак признательности весь извивался и корчился.

Затем ухо Майкла стали вытягивать снизу вверх, неторопливо, уверенно, и оно, скользя между пальцами, испытывало какой-то сладостный зуд. Это ощущение возникало то в одном, то в другом ухе, и при этом человек все время бормотал какие-то слова; Майкл не понимал их, но знал, что они обращены к нему.

— Голова превосходная, плоская, — решил Дэг Доутри, погладив Майкла, и зажег спичку. — И челюсти отличные, что угодно перегрызут; щеки тоже не впалые, но и не раздутые.

Он запустил руку в пасть Майкла — проверить, насколько у него крепкие и ровные зубы, смерил ширину его плеч, объем груди, потом опять зажег спичку и внимательно обследовал все четыре лапы.

— Черные-пречерные до самых когтей, — сказал Доутри, — на таких чистопородных лапах не бегала еще ни одна собака, и пальцы у тебя длинные и выпуклые, не слишком, а в самый раз — словом, все точно, как положено. Бьюсь об заклад, псина, что твои папаша с мамашей в свое время отхватили золотые медали.

Майкл уже начал было тяготиться таким подробным обследованием, но тут Доутри как раз и перестал ощупывать строение его бедер и крепость коленных суставов, а схватил хвост Майкла, чтобы своими чудодейственными пальцами проверить мускулы у его основания; сначала он провел ладонью по позвоночнику, продолжением которого является хвост, а потом начал ласково его крутить. Майкл, вне себя от восторга, бросался из стороны в сторону, по направлению ласкающей его руки. А человек внезапно, схватив собаку под брюхо, поднял ее на воздух. Но не успел Майкл испугаться, как уже опять стоял на земле.

— Двадцать шесть или двадцать семь фунтов, — уж во всяком случае побольше двадцати пяти, и я ставлю шиллинг против пенни, что в тебе со временем будет и все тридцать фунтов весу, — сообщил Майклу Дэг Доутри. — Ну и что дальше? А то, что многие знатоки очень даже ценят такой вес. Несколько лишних унций в крайности всегда можно сбавить тренировкой. У тебя, пес, стати прямо-таки великолепные. Сложение — как по заказу для бега, вес — для борьбы, и очесов нет на ногах.

Что и говорить, уважаемый мистер пес, вес у тебя правильный, а ухо тебе уж разгладит какой-нибудь почтенный собачий доктор. Бьюсь об заклад, что в Сиднее найдется не меньше сотни охотников раскошелиться фунтов на двадцать, а то и больше за право назвать тебя своим.

И чтобы Майкл не слишком о себе возомнил, Доутри отстранился от него, зажег погасшую трубку и, по-видимому, опять забыл о его существовании. Он отнюдь не собирался заискивать перед Майклом, а, напротив, хотел, чтобы Майкл заискивал перед ним.

И Майкл не замедлил это сделать. Он стал тереться о колени Доутри и подталкивать мордой его руку, прося еще так же сладостно потереть ему ухо, потрепать хвост. Вместо этого Доутри зажал обеими руками его морду и, поворачивая ее из стороны в сторону, заговорил:

— Чей ты, пес? Может, твой хозяин негр, тогда плохо твое дело. А может, какой-нибудь негр украл тебя, — но это и того хуже. Знаешь ведь, какие беды другой раз случаются с вашим братом. Это был бы уж просто срам. Ни один белый не потерпит, чтобы негр имел такого пса, и вот перед тобой белый, который этого уже не потерпел. Подумать только! Ты в руках у негра, а он и натаскать-то тебя как следует не сумеет! Ясное дело — тебя украл негр. Попадись он мне, да я с него семь шкур спущу! Можешь не сомневаться! Ты меня только наведи на след, а там уж увидишь, как я с ним расправлюсь. Можно рехнуться от одной мысли, что негр отдает тебе приказания, а ты для него из кожи вон лезешь! Нет, уважаемый пес, больше ты этого делать не будешь. Ты пойдешь со мной, и надо думать, что мне тебя упрашивать не придется!

Дэг Доутри поднялся и вразвалку пошел вдоль берега. Майкл поглядел ему вслед, но остался на месте. Ему очень хотелось ринуться за ним, но ведь человек его не пригласил. Спустя несколько минут Доутри слегка чмокнул губами. Звук этот был так тих, что он сам едва слышал его и положился скорей на свидетельство своих губ, чем ушей. Ни один человек не расслышал бы этого звука на таком расстоянии, но Майкл услыхал, вскочил и в упоении стремглав помчался за Доутри.

Глава вторая

Дэг Доутри шагал вдоль берега, а Майкл то бежал за ним по пятам, то на радостях, при повторении таинственного звука, описывал широкие круги и вновь возвращался к нему; остановился Доутри у самой границы освещенного фонарями пространства, где какие-то смутные тени разгружали вельботы, а комиссарский клерк все еще препирался с судовым экономом по поводу неправильно выписанной накладной. Когда Майкл попытался снова двинуться вперед, Доутри остановил его все тем же невнятным звуком, похожим на чуть слышный поцелуй.

Вполне понятно, что стюард не желал быть замеченным за столь сомнительным занятием, как кража собак, и прикидывал, как бы ему половчее переправить Майкла на борт. Он обошел освещенную фонарями пристань и двинулся вдоль берега по направлению к туземной деревушке. Как он и предполагал, все мало-мальски трудоспособное население было занято разгрузкой судов на пристани. Тростниковые хижины казались нежилыми, но из одной под конец все же послышался какой-то сварливый и дребезжащий старческий голос:

— Кто там?

— Моя долго здесь ходит, — отвечал Доутри на жаргоне, на котором говорят англичане в западной части Южных морей. — Моя сошла с парохода. Свези мою обратно на лодке, и моя будет давать тебе две палочки табаку.

— Пускай твоя дает десять палочек, тогда свезу, — последовал ответ.

— Моя даст пять, — не преминул поторговаться шестиквартовый стюард. — А если тебе мало, так иди, голубчик, ко всем чертям.

Тишина.

— Пять палочек, — настаивал стюард, обращаясь к темному отверстию в хижине.

— Моя везет за пять, — отвечал голос, и в темноте обрисовалась фигура того, кому он принадлежал; фигура приблизилась, издавая такие странные звуки, что Доутри зажег спичку — посмотреть, в чем тут дело.

Перед ним, опираясь на костыль, стоял старик с гноящимися, красными и воспаленными глазами, впрочем, видными только наполовину из-за каких-то болезненных наростов. На покрытой паршой голове старика торчком стояли патлы грязно-серых волос. Кожа на его лице, ссохшаяся, морщинистая, изрытая, была красно-синего цвета с бурым налетом, который казался бы нанесенным кистью, если бы при ближайшем рассмотрении не становилось очевидно, что этот налет является неотъемлемой ее принадлежностью.

«Прокаженный», — пронеслось в уме Дэга Доутри, и он быстро с головы до пят оглядел старика, боясь увидеть язвы вместо пальцев и суставов. Но старик был цел и невредим, если не считать, что одна его нога кончалась чуть пониже бедра.

— Черт подери, куда же это девалась твоя нога? — осведомился Доутри, тыча пальцем в то место, где ей полагалось быть.

— Большой рыба, акул, забрал себе нога. — Старик осклабился беззубым, зияющим ртом.

— Очень я старая старик, — прошамкал одноногий Мафусаил[1]. — И давно, давно не курила табак. Пусть большой белый хозяин дает скорей одна палочка, и я буду возить ее на пароход.

— А вот возьму и не дам! — сердито буркнул Доутри.

Вместо ответа старик повернулся и, опираясь на костыль, так, что обрубок ноги болтался в воздухе, заковылял к хижине.

— Погоди, — торопливо воскликнул Доутри, — моя сейчас дает тебе покурить!

Он сунул руку в карман за главной валютой Соломоновых островов и отломил от большой пачки палочку прессованного табака. Старик весь преобразился, когда, жадно протянув руку, получил вожделенную палочку. Набивая дрожащими, негнущимися пальцами дешевый и уже подпорченный виргинский табак в черную глиняную трубку, извлеченную им из отверстия в мочке уха, он все время испускал какие-то мурлыкающие звуки, прерываемые визгливыми вскриками то ли обиды, то ли восторга.

Наконец, придавив большим пальцем содержимое плотно набитой трубки, старик внезапно бросил костыль и плюхнулся на землю, поджав под себя единственную ногу, так что, казалось, от него остался только торс. Затем он развязал маленький мешочек из волокон кокосового ореха, свисавший с шеи на его впалую, иссохшую грудь, вытащил из него кремень, огниво, трут и, хотя стюард нетерпеливо протягивал ему коробок спичек, высек искру, зажег об нее трут, раздул посильнее огонь и, наконец, закурил.

С первой же затяжки он прекратил свои стоны, волнение его мало-помалу улеглось, и Доутри, внимательно за ним наблюдавший, заметил, что руки его перестали дрожать, отвислые губы больше не дергались, из уголков рта не стекала слюна, и воспаленные глаза приобрели успокоенное выражение.

Что грезилось старику во внезапно наступившей тишине, Доутри не пытался угадать. Он был слишком поглощен тем, что живо предстало его собственному воображению: голые, убогие стены богадельни, и старик, очень похожий на него самого в будущем, который, несвязно что-то бормоча, клянчит и вымаливает щепотку табаку для своей старой глиняной трубки; богадельня, где — о ужас! — не достать даже и глотка, а не то что шести кварт пива.

А Майкл, при слабых вспышках трубки наблюдавший за двумя стариками, одним, прикорнувшим на земле, и другим, стоящим поодаль, ничего не подозревая о трагедии старости, непоколебимо, твердо знал только одно: бесконечно привлекателен этот двуногий белый бог, который, потрепав его, Майкла, уши, подергав ему хвост и погладив спину своими чудодейственными руками, завладел его сердцем.

Глиняная трубка догорела; старик негр при помощи костыля с необыкновенным проворством вскочил на свою единственную ногу и заковылял к морю. Доутри пришлось помочь ему спустить на воду утлую лодчонку. Это был выдолбленный из дерева челнок, такой же облезлый и дряхлый, как его хозяин; для того чтобы забраться в эту посудину, не опрокинув ее, Доутри промочил одну ногу до лодыжки, а другую до колена. Старик перевалился через борт так ловко, что, когда казалось, лодка вот-вот перевернется, вес его тела, миновав опасную точку, восстановил ее равновесие.

Майкл остался сидеть на песке, дожидаясь приглашения и зная, что слабый чмокающий звук вполне сойдет за таковое. Дэг Доутри чмокнул губами так тихо, что старик ничего не услыхал, а Майкл прямо с песка вскочил в лодчонку, даже не замочив лапы. Использовав плечо Доутри как промежуточную ступень, он перебрался через него на дно лодки. Доутри снова тихонько воспроизвел звук поцелуя, Майкл тотчас же повернулся и сел прямо перед ним, уткнувшись мордой в его колени.

— Могу присягнуть на целой груде библий, что собака просто-напросто ко мне пристала, — ухмыляясь, шепнул Доутри на ухо Майклу.

— Вези, вези живей, старикан, — скомандовал он.

Старик послушно погрузил в воду весло и попытался взять курс на группу огней, указывавших место, где стоял «Макамбо». Но он был слишком слаб и после каждого удара весла, пыхтя и отдуваясь, делал передышку. Стюард в нетерпении выхватил у него весло и сам взялся за работу.

На полпути к пароходу старик наконец отдышался и, указав головой на Майкла, объявил:

— Этот собака имеет хозяин, большой белый господин на шхуне… Даешь моя десять палочек табаку, — добавил он после соответствующей паузы, решив, что его сообщение уже успело возыметь эффект.

— Я дам тебе по башке, — обнадежил его в ответ Доутри. — Белый господин на шхуне моя закадычный друг. Он сейчас на «Макамбо». Моя везет ему собаку.

Больше старик ни в какие разговоры не пускался и, хотя он прожил на свете еще много лет, но ни разу ни словом не обмолвился о ночном пассажире, увезшем Майкла. Даже когда на берегу

поднялась невообразимая суматоха и капитан Келлар в поисках собаки перевернул вверх дном весь Тулаги, одноногий старик благоразумно молчал. Кто он такой, чтобы затевать раздоры с этими чужеземными белыми хозяевами, которые появляются и исчезают, разбойничают и чинят расправы?

В этом смысле старик ничем не отличался от всех своих соплеменников меланезийцев. Они знали: белые идут какими-то неразгаданными путями к своим собственным непостижимым целям, у белых свой собственный мир, и он расположен точно на возвышении; там, вне реального мира, то есть мира чернокожих людей, движутся какие-то фантомы, верховные белые существа, тени на необъятной и таинственной завесе космоса.

Поскольку трап был спущен с левого борта, Дэг Доутри предпочел обогнуть пароход справа и подойти к открытому иллюминатору.

— Квэк! — негромко позвал он раз, другой.

После второго оклика свет в иллюминаторе померк, верно, потому, что его загородила чья-то голова, и пискливый голос отозвался:

— Я здесь, хозяин.

— Принимай собаку, — прошептал стюард. — Проследи, чтобы дверь была закрыта, и дожидайся меня. А ну! Приготовься!

В мгновение ока он подхватил Майкла, поднял его, передал в невидимые руки, протянувшиеся из железной стены, и стал снова грести вдоль парохода, пока не добрался до грузового люка. Тут он вытащил из кисета столько табачных палочек, сколько захватила рука, швырнул их старику и оттолкнул лодчонку, нимало не заботясь о том, как ее беспомощный владелец доберется до берега.

Старик не дотронулся до весла, предоставив лодке вольно скользить вдоль высокого борта корабля, к погруженной во мраке корме. Он был весь поглощен пересчитыванием табачных богатств, свалившихся на него. А это дело было не из легких. Старик умел считать только до пяти. Насчитав пять палочек, он начинал сначала и отсчитывал еще пяток. Всего он насчитал три пятка и еще две штуки; итак, в результате он не менее точно определил количество палочек, чем определил бы его любой белый человек с помощью цифры с е м н а д ц а т ь.

Это было больше, куда больше, чем он запрашивал. Но он не удивился. Никакой поступок белого человека не мог удивить его. Окажись у него в руках две палочки вместо семнадцати, он бы тоже не удивился. Раз все поступки белых людей неожиданны, то удивить негра может разве что вполне ожиданный поступок белого человека.

Работая веслом, пыхтя и время от времени бросая грести, старый негр, уже не думавший больше о призрачном мире белых людей, медленно продвигался к берегу. Для него сейчас существовала только реальность гор Тулаги, черные вершины которых врезались в блеклое сияние звездного неба, реальность моря и лодочки, с трудом пробиравшейся по волнам, реальность его иссякающих сил и смерти, которой все это неминуемо кончится.

Глава третья

Но вернемся к Майклу. Поднятый на воздух и подхваченный невидимыми руками, которые протащили его через узкое отверстие в борту, окаймленное медью, он очутился в освещенном

помещении и стал озираться вокруг, ища Джерри. Но Джерри в эту минуту лежал, свернувшись клубочком, у койки Виллы Кеннан на сильно накренившейся палубе «Ариеля», в то время как это нарядное суденышко, уже оставившее позади Шортлендские острова и подгоняемое крепчавшим пассатом, рассекало носом бурлящую воду, идя в Новую Гвинею со скоростью одиннадцати узлов.

Итак, вместо Джерри, которого он видел в последний раз тоже на пароходе, Майкл увидел Квэка.

Квэк? Ну что ж, Квэк — это Квэк, существо, куда более отличающееся от всех остальных людей, чем все остальные люди отличаются друг от друга. По волнам житейского моря вряд ли когда-нибудь носилось создание столь же нелепое. Согласно общечеловеческому летосчислению, ему минуло семнадцать лет; но при взгляде на его высохшее лицо, морщинистый лоб и виски, на его глубоко запавшие глаза казалось, что здесь наложило свою печать по меньшей мере столетие. Ноги у него были тонкие, как соломинки, — просто кости без мяса, запиханные в иссохшую кожу; но на этих стеблях произрастало весьма тучное туловище. Громадное вздутое брюхо поддерживалось могучими бедрами, а плечи по ширине не уступали плечам Геркулеса. Но если смотреть сбоку, то эти плечи и грудь казались совершенно плоскими. Руки Квэка были так же тонки, как и ноги, и Майкл с первого взгляда принял его за громадного толстобрюхого черного паука.

Квэк мигом оделся, то есть натянул на себя грязные парусиновые штаны, протершиеся от долгой носки, и такую же блузу. Два пальца на его левой руке были скрючены и не разгибались; опытный глаз сразу бы определил, что он болен проказой. И хотя он принадлежал Дэгу Доутри так же несомненно, как если бы тот выправил на него купчую крепость, но стюард нимало не подозревал, что эти изуродованные пальцы — признак страшной болезни.

Доутри приобрел Квэка весьма несложным путем. На острове Короля Вильгельма, в группе островов Адмиралтейства, Квэк, по местному выражению, «сверзился с мола». Иными словами, вместе с проказой и прочими своими прелестями угодил прямо в объятия Дэга Доутри. Прогуливаясь однажды по протоптанным туземцами тропинкам в прибрежных зарослях и, как обычно, размышляя, чем бы поживиться, стюард поживился Квэком. И случилось это в момент, для последнего весьма критический.

Преследуемый двумя шустрыми юнцами с железными копьями наперевес, Квэк, невероятно быстро передвигавшийся на своих журавлиных ногах, в полном изнеможении пал ниц перед Доутри и поднял на него молящий взор затравленной собаками лани. Доутри немедленно учинил суд и расправу, причем довольно крутую. Он испытывал естественный страх перед всякого рода микробами и бациллами и, заметив, что шустрые юнцы намереваются проткнуть его своими грязными и ржавыми копьями, выбил у одного копье из рук, а другого свалил с ног ловким ударом в челюсть. Мгновение спустя юнец, у которого он выбил копье, лежал на земле рядом со своим товарищем.

Но стюард, человек уже в летах, не мог удовлетвориться одними копьями. Покуда спасенный Квэк продолжал охать и бормотать слова благодарности, лежа у его ног, Доутри успел обобрать юнцов. Одежды на них, правда, никакой не было, но зато на шее они оба носили ожерелья из зубов дельфина, каждое из которых стоило не меньше соверена. Из жестких, как щетина, волос на голове одного из них он вытащил самодельный частый гребень, инкрустированный перламутром, который впоследствии спустил в Сиднее торговцу редкостями за восемь шиллингов. Из носов и ушей выдернул черепаховые и костяные украшения, а с груди у обоих снял перевязи в виде полумесяца, длиной не менее четырнадцати дюймов, сделанные из жемчужных раковин, за которые ему где угодно дали бы не менее пятнадцати шиллингов.

Копья он тоже сумел сбыть туристам в порту Моресби по пяти шиллингов за штуку. Не легко бедному стюарду поддерживать свою репутацию шестиквартового человека!

Когда Доутри повернулся, чтобы уйти от шустрых юнцов, которые уже очнулись и смотрели на него блестящими, бегающими, как у диких зверьков, глазами, Квэк потащился за ним следом, да так, что наступал ему на пятки, заставляя его спотыкаться. Тогда Доутри нагрузил Квэка своими трофеями и пустил вперед себя по тропинке. Весь остальной путь до парохода Дэг Доутри самодовольно ухмылялся, глядя на свою добычу и на Квэка, который семенил впереди, толстый, как бочка, на тоненьких, точно тростинки, ногах.

На борту парохода — на сей раз это был «Кокспэр» — Доутри уговорил капитана зачислить Квэка помощником стюарда с жалованьем десять шиллингов в месяц и тут же ознакомился с историей своего нового помощника.

Причиной раздора явилась свинья. Шустрые юнцы были братья, жившие в соседней деревне, и свинья была их собственностью, рассказывал Квэк на своем немыслимом английском языке. Он, Квэк, никогда этой свиньи не видывал, даже не знал о ее существовании, покуда она не околела. Братья любили овинью. Ну и что же? Квэку-то какое дело, он так же не подозревал об их любви к свинье, как не подозревал о ее существовании.

В первый раз он услыхал о ней, утверждал Квэк, когда по деревне прошел слух, что свинья сдохла и теперь кто-нибудь должен умереть за нее. Так уж положено, пояснил он в ответ на недоумевающий вопрос стюарда. Таков обычай. Когда у хозяев околевает любимая свинья, они обязаны кого-нибудь убить, все равно кого. Конечно, предпочтительнее убить того, кто колдовством наслал болезнь на свинью. Но если этот злодей не сыщется, то сойдет любой.

Таким образом, Квэк и был избран искупительной жертвой.

Заслушавшись Квэка, Дэг Доутри выпил седьмую кварту пива, так захватила его мрачная романтика этого происшествия в дебрях джунглей, где люди убивают первого попавшегося человека из-за околевшей свиньи.

Разведчики, высланные на дороги, продолжал Квэк, принесли весть о приближении осиротелых хозяев свиньи, и вся деревня бежала в джунгли, ища спасения на деревьях, — остался только Квэк, он ведь не мог влезть на дерево.

— Честное слово, — заключил Квэк, — моя не сглазила свинью.

— Честное слово, — сказал Дэг Доутри, — ты чего-то там наколдовал с этой свиньей. Ты похож на черта и можешь сглазить кого угодно. Я уж сам заболел, глядя на тебя.

С того дня у стюарда вошло в привычку, покончив с шестой бутылкой, заставлять Квэка на сон грядущий рассказывать ему свою историю. Она оживляла в нем воспоминания детства, когда он бредил рассказами о дикарях-людоедах и мечтал когда-нибудь собственными глазами увидать их. А вот теперь — и он самодовольно ухмылялся — у него рабом был настоящий людоед.

Квэк действительно был рабом Дэга Доутри, не в меньшей степени, чем если бы тот купил его на невольничьем рынке. На какой бы пароход компании Бернс Филп ни поступал Доутри, он всегда устраивал туда и Квэка на жалованье десять шиллингов в месяц. Квэк в этом вопросе права голоса не имел. Пожелай он даже удрать в одном из австралийских портов, Доутри все равно не было надобности следить за ним. Австралия, с ее «курсом на белых», стояла на страже его интересов. Ни один темнокожий человек, будь то малаец, японец или полинезиец,

не мог ступить на тамошнюю землю, не вручив правительству залога в сто фунтов.

Да и на других островах, куда заходил «Макамбо», Квэк не проявлял ни малейшего желания сбежать. Остров Короля Вильгельма — единственное известное ему место на земном шаре — служил для него мерилом всех остальных мест. И поскольку остров Короля Вильгельма населяли людоеды, Квэк был убежден, что и на всех других островах население придерживается той же диеты.

Что касается острова Короля Вильгельма, то «Макамбо», так же как в свое время «Кокспэр», заходил туда раз в два с половиной месяца, и самой страшной угрозой для Квэка оставалась угроза ссадить его на берег в том месте, где шустрые юнцы все еще оплакивали свою свинью. И правда, у них уже вошло в обычай всякий раз сновать на своей лодчонке вокруг «Макамбо» и строить страшные гримасы Квэку, а тот, в свою очередь, корчил им рожи, перегнувшись через поручни. Доутри даже поощрял этот наглядный обмен любезностями, который должен был лишить Квэка надежды когда-нибудь вернуться в родную деревню.

Впрочем, Квэк отнюдь не стремился покинуть своего господина, который в конце концов был добр, справедлив и ни разу не поднял на него руки. Поначалу Квэк страдал морской болезнью, но быстро от нее отделался, так как никогда не сходил на берег, и был убежден, что живет в земном раю. Ему уже не приходилось горевать о своей неспособности лазить по деревьям, потому что никакая опасность ему более не угрожала. Еду он получал регулярно, в любых количествах, и какую еду! Никому из жителей его деревни даже во сне не снился хоть один из тех деликатесов, которые он поедал ежедневно. Итак, Квэк быстро справился с легким приступом тоски по родине и был самым счастливым из людей, когда-либо плававших по морям.

Вот этот самый Квэк и втащил Майкла через иллюминатор в каюту Дэга Доутри и теперь дожидался, покуда сей достопочтенный муж войдет в нее кружным путем, через дверь. Бегло оглядев помещение, обнюхав койку, а также пространство под койкой и убедившись, что Джерри здесь нет, Майкл перенес все внимание на Квэка.

Квэк старался быть полюбезнее. Он издал какое-то кудахтанье в доказательство дружелюбных намерений, а Майкл сердито заворчал на этого негра, посмевшего притронуться к нему своими нечистыми руками, — так уж это было внушено Майклу его воспитателями, — а теперь еще и разговаривающего с ним, псом, привыкшим общаться только с белыми богами.

На этот резкий отпор Квэк ответил каким-то глупым смешком и сделал было попытку приблизиться к двери, чтобы отворить ее хозяину. Но не успел он поднять ногу, как Майкл уже схватил ее зубами. Квэк немедленно поставил ногу на место, и Майкл успокоился, хотя и не спускал с него глаз. Что он знал об этом негре, кроме того, что это негр, а ведь за всяким негром надо внимательно следить в отсутствие белого хозяина. Квэк попробовал сделать скользящее движение ногой по направлению к двери, но Майкл, мигом распознав его намерение, ощетинился, заворчал, и тот замер на месте.

Эту картину и увидел вошедший Доутри. Он окинул признательным взором Майкла, ярко освещенного электричеством, и тотчас же оценил положение.

— А ну, Квэк, шагни-ка вперед, — скомандовал он для проверки.

Опасливый взгляд, брошенный Квэком на Майкла, был достаточно красноречив, однако стюард стоял на своем. Квэк нехотя повиновался, но не успел он двинуть ногой, как Майкл уже бросился к нему. Квэк застыл в неподвижности, а Майкл грозно прошелся вокруг него.

— Да что он, пригвоздил тебя к полу, что ли? — усмехнулся Доутри. — Ей-богу, этот пес — охотник за неграми, ясно как день. Эй ты, Квэк, поди принеси мне две бутылки пива со льда! — приказал он.

Квак бросил на него умоляющий взгляд, но не пошевелился. Он не двинулся с места и после повторного приказания.

— Черт подери! — взревел стюард. — Если ты сию минуту не притащишь мне пару пива, я закачу тебе восемь вахт подряд да еще полувахту впридачу. А не то высажу на острове Короля Вильгельма и заставлю пробежаться по берегу.

— Моя не может, — пролепетал Квэк. — Собачья глаз очень много смотрит. Моя не любит, когда собака делает кус-кус!

— Ты боишься собаки? — спросил Доутри.

— Честный слово, моя ужас боится собака.

Дэг Доутри был в восторге. Но так как после экспедиции на берег его томила жажда, то он решил положить конец препирательствам.

— Эй ты, пес, — обратился он к Майклу. — Этот парень хороший. Понял? Хороший парень.

Майкл помахал хвостом и прижал уши в доказательство того, что старается понять. Когда же стюард дотронулся до плеча Квэка, Майкл, в свою очередь, приблизился к нему и обнюхал его ноги, которые сам же пригвоздил к полу.

— Ну, теперь иди, — приказал Доутри. — Иди, но не торопись, — добавил он, хотя в этом предупреждении особой нужды не было.

Майкл ощетинился, но позволил Квэку сделать первый, робкий шажок. На втором он для проверки взглянул на Доутри.

— Все в порядке, — заверил его стюард. — Это мой парень. Хороший парень.

Майкл понимающе улыбнулся одними глазами и отошел в сторону с целью исследовать стоявший на полу ящик, доверху набитый черепаховыми пластинами, напильниками и наждачной бумагой.

— А теперь, — внушительно проговорил Дэг Доутри, поудобней устраиваясь в кресле с бутылкой в руке, в то время как Квэк расшнуровывал ему башмаки, — теперь, уважаемый пес, надо придумать для тебя имя, да такое, которое не посрамит твоей породы и сделает честь моей изобретательности.

Глава четвертая

Ирландские терьеры, достигнув зрелости, отличаются не только отвагой, преданностью, способностью к бескорыстной любви, но также хладнокровием, удивительным самообладанием и сдержанностью. Заставить их выйти из себя очень не легко; голосу хозяина они повинуются даже в разгаре неистовой драки и никогда не впадают в истерику, как, например, фокстерьеры.

Майкл, чуждый всякой истеричности, был куда более возбудим и вспыльчив, чем его кровный

брат Джерри, а их родители по сравнению с ним могли считаться степеннейшей собачьей четой. Взрослый Майкл резвился и шалил больше, чем взрослый Джерри. Его кипучая энергия готова была вырваться наружу при малейшем поощрении, а разыгравшись, он мог перещеголять любого щенка. Одним словом, у Майкла была веселая душа.

Слово «душа» здесь употреблено не случайно. Что бы ни называлось человеческой душой — подвижный дух, сознание, ярко выраженная индивидуальность, — Майкл, безусловно, обладал этим трудноопределимым свойством. Его душе были присущи те же чувства, что и душе человека, разве что в меньшей степени. Он знал любовь, печаль, радость, гнев, гордость, застенчивость, юмор. Три основные свойства человеческой души — это память, воля и ум. У Майкла была память, были воля и ум.

Как и человек, он познавал внешний мир при помощи своих пяти чувств. Как и у человека, результатом этого познания являлись ощущения. Как у человека, эти ощущения временами перерастали в эмоции. И, наконец, так же, как человек, он обладал способностью воспринимать, и восприятия в его мозгу складывались в представления, — о, разумеется, не такие обширные, глубокие и сложные, как у человека, но все же представления.

Надо, пожалуй, признать, чтобы уж слишком не унижать человека такой тождественностью его природы с природой собачьей, что чувства Майкла уступали в остроте человеческим чувствам и что, скажем, укол в лапу для собаки менее чувствителен, чем укол в ладонь для человека. Надо также признать, что мысли, озарявшие его мозг, были не так ясны и определенны, как мысли в мозгу человека. И далее, что никогда, никогда, проживи Майкл хоть миллионы жизней, не смог бы он доказать теорему Эвклида или решить квадратное уравнение. Но все же он твердо знал, что три кости — это больше, чем две кости, и что десять собак составляют свору куда более внушительную, чем две собаки.

Но вот уж чего никак нельзя утверждать — это, что Майкл не умел любить так же преданно, беззаветно, самозабвенно, безумно и жертвенно, как любит человек. И любил он так не потому, что был Майклом, а потому, что был собакой.

Майкл любил капитана Келлара больше жизни. Так же, как Джерри за своего шкипера, он, не задумываясь, пожертвовал бы жизнью за своего капитана. И когда с течением времени капитан Келлар, а заодно и Мериндж и Соломоновы острова ушли в роковое небытие, ему было суждено столь же беззаветно полюбить шестиквартового стюарда, умевшего так хорошо ладить с собаками и так ласково чмокать губами. Чувство это не распространялось на Квэка, потому что Квэк был негром. К Квэку он относился лишь как к неотъемлемому атрибуту окружающей обстановки, как к личному достоянию Дэга Доутри.

Что этот новый бог зовется Дэгом Доутри, Майкл не знал, Квэк называл его «хозяин», но Майкл слышал, что другие негры называли так и других белых людей. Сколько негров, например, именовали «хозяином» капитана Келлара! Капитан Дункан своего стюарда так и звал стюардом, так же звали его офицеры и пассажиры, так что для Майкла имя его бога было «Стюард», и с тех пор он в мыслях своих никогда не называл его иначе.

Но сейчас на очереди стоял вопрос о его собственном имени, — вопрос, который и начал обсуждать Доутри на следующий же вечер после появления Майкла на «Макамбо». Майкл сидел, положив морду на колени Доутри. Зрачки его горящих глаз то сужались, то ширились. Вслушиваясь в слова стюарда, он то прижимал уши, то настораживал их, в упоении колотя по полу обрубком хвоста.

— Да, сынок, — говорил ему стюард. — Твой отец и мать были ирландцы. Нет, уж ты, каналья,

не отпирайся… — прибавил он, потому что Майкл, подстрекаемый дружелюбием и веселостью его голоса, стал извиваться всем телом и с удвоенной быстротой забарабанил хвостом. Слов он, конечно, не понимал, но понимал, что в этом сочетании звуков кроется таинственная прелесть, неизменно исходящая от его белого бога.

— Никогда не стыдись своих предков. И помни, Бог любит ирландцев… Квэк! Живо притащи-ка мне две бутылки пива с ледника!.. Да ведь у тебя на морде написано, что ты ирландец! (Хвост Майкла отбивал зорю.) Ну, ну, нечего ко мне подлизываться. Знаю все ваши штучки, знаю, как ваш брат умеет подольщаться. Только ты помни, что у меня сердце жесткое. Оно, брат, насквозь пропиталось пивом. Я тебя украл, чтобы продать, а вовсе не для того, чтобы любить. В свое время я бы тебя, пожалуй, и полюбил, но это было давно, когда я еще не свел знакомства с пивом. Если бы подвернулся случай, я бы сию минуту спустил тебя за двадцать фунтов. Деньги на стол — и точка. А любить тебя я не собираюсь, заруби себе это на носу… Да, о чем, бишь, я говорил, когда ты набросился на меня с нежностями?

Он прервал свою речь и опрокинул в рот бутылку, откупоренную Квэком. Потом вздохнул, вытер губы рукой и продолжал:

— А странная штука, сынок, получается с этим дурацким пивом. Вот, например, Квэк, эта обезьяна с мафусаиловой рожей, которая ухмыляется, глядя на нас с тобой, принадлежит мне. А я, ей-богу правда, принадлежу пиву, сотням бутылок пива, целым горам бутылок, таким высоким, что они могут судно потопить. Честное слово, пес, я тебе завидую, что у тебя нутро не отравлено алкоголем. Сейчас я твой хозяин, потом твоим хозяином будет тот, кто выложит мне за тебя двадцать фунтов, а вот гора бутылок над тобой никогда хозяином не будет. Ты, уважаемый пес, не знаю уж, как тебя величать, свободнее меня. Погоди, что-то мне помнится…

Он допил бутылку, швырнул ее Квэку и знаком велел откупорить следующую.

— Не так-то просто придумать тебе имя. Конечно, оно должно быть ирландское, но какое, спрашивается? Пэдди? Это правильно, что ты качаешь головой. Очень уж оно простецкое. А за дворнягу тебя никто не примет. Баллимена — это бы еще куда ни шло, да звучит как-то не по-мужски, а ты ведь, мой мальчик, мужчина. Ага, постой! Мальчик! Бой! Банши-бой?.. Нет, не годится! Эрин-бой?

Он одобрительно кивнул и взялся за вторую бутылку. Отпил глоток, подумал, потом снова отпил.

— Нашел! — торжествующе воскликнул Доутри. — Киллени — хорошее имя! Ты у меня будешь Киллени-бой. Звучное имя, точно граф какой-нибудь или… отставной пивовар. А я за свою жизнь многим из этих господ помог заработать и удалиться на покой.

Он допил бутылку, внезапно схватил Майкла за морду, подтянул его к себе, потерся носом о его нос и так же внезапно отпустил. Майкл вилял хвостом и сияющими глазами смотрел на белого бога. Душа, самая настоящая душа, или (если хотите) сущность, или, иначе, сознание светилось в собачьих глазах, теперь уже с обожанием обращенных на этого седовласого бога, который говорил ему какие-то слова, непонятные, но все равно радостью согревавшие его сердце.

— Эй, Квэк, где ты там?

Квэк, который, сидя на корточках, полировал черепаховый гребень, вырезанный Доутри по собственному рисунку, прервал свое занятие и поднял глаза, готовый выслушать и исполнить приказание своего господина.

— Запомни хорошенько, Квэк, как зовут этого пса. Его имя Киллени-бой. Тверди, пока не запомнишь. И всегда обращайся к нему: Киллени-бой. Понятно? Если не понятно, я тебе башку сверну. Киллени-бой, понял? Киллени-бой. Киллени-бой.

Когда Квэк уже стягивал башмаки с Доутри и помогал ему раздеваться, тот сонными глазами взглянул на Майкла.

— Я тебя, дружище, раскусил, — объявил он, вставая и шаткой походкой направляясь к койке. — И имя подыскал, и аттестат тебе уже готов, я все разгадал. Шалый, но разумный. Вот это точно. Да, да, шалый, но разумный, вот какой ты есть, Киллени-бой, — продолжал он бормотать, с помощью Квэка укладываясь на койке.

Квэк снова взялся за полировку гребня. Губы его шевелились, беззвучно что-то шепча, брови хмурились, пока он наконец не обратился к стюарду.

— Хозяин, какой имя будет держаться на этот собак?

— Киллени-бой, глупая ты людоедская башка! Киллени-бой, Киллени-бой,

— сквозь сон лопотал Дэг Доутри. — Эй ты, черномазый кровопийца, притащи-ка мне пива из ледника!

— Не буду притащить, — дрожащим голосом отозвался Квэк, тревожно озираясь в ожидании, что какой-нибудь предмет вот-вот полетит ему в голову. — Шесть бутылок уже кончил хозяин.

В ответ послышался только громкий храп.

И негр со сведенной проказой рукой и едва заметным утолщением кожи над переносицей — зловещим признаком той же болезни — снова склонился над работой, в то время как губы его непрерывно шептали: «Киллени-бой, Киллени-бой».

Глава пятая

В течение многих дней Майкл не видел никого, кроме Доутри и Квэка, так как был узником в каюте стюарда. Ни один человек не подозревал о его присутствии на борту; Дэг Доутри, не сомневавшийся в том, что он похитил собаку, принадлежавшую белому, уповал, что Майкл не будет обнаружен и что, когда «Макамбо» отдаст якорь в Сиднее, ему удастся незаметно свести его на берег.

Стюард очень скоро оценил из ряда вон выдающиеся способности Майкла. Он хорошо его кормил, иногда давал ему куриные кости. И вот оказалось, что двух уроков, которые, собственно, даже нельзя было назвать уроками, так как каждый из них длился не более полминуты, вполне достаточно, чтобы Майкл понял: кости можно грызть только на полу и только в уголке возле двери. С тех пор, получив кость, он неизменно относил ее в этот угол.

И ничего тут нет удивительного. Он мгновенно схватывал то, чего хотел от него стюард, и не было для него большего счастья, чем служить ему. Стюард был бог, добрый бог, чью любовь Майкл чувствовал в голосе, в движении губ, в прикосновении руки, обнимавшей его, когда они сидели нос к носу и стюард вел с ним нескончаемые разговоры. Нет служения радостнее, чем служение любимому. И если бы Доутри потребовал, чтобы Майкл не дотрагивался до костей в своем уголке, он бы к ним не притронулся. Таковы уж собаки, единственные животные, которые весело, более того — прыгая от радости, оставят недоеденный кусок, чтобы

последовать за своим господином-человеком или услужить ему.

Дэг Доутри почти все свободное время проводил с заточенным в каюте Майклом, который, повинуясь его приказу, быстро отучился скулить и лаять. В эти часы, проведенные вдвоем с хозяином, Майкл приобрел уйму всевозможных познаний. Обнаружив, что простейшие понятия, такие, как «нельзя», «можно», «встань» и «ложись», уже знакомы Майклу, Доутри стал обучать его более сложным, например: «поди ляг на койку», «пошел под койку», «принеси один башмак», «принеси два башмака». И так, почти без всякого труда, он научил его перекатываться с боку на бок, изображать молящегося, «умирать», сидеть в шляпе, нахлобученной на голову, и с трубкой в зубах и не только стоять, но и ходить на задних лапах.

Затем пришла очередь более сложного трюка — с «можно» и «нельзя». Положив пахучий, соблазнительный кусок мяса или сыра на край койки вровень с носом Майкла, Доутри просто говорил: «Нельзя». И Майкл никогда не дотрагивался до пищи, прежде чем не раздавалось долгожданное «можно». Сказав «нельзя», Доутри мог уйти из каюты на полчаса или на шесть часов и по возвращении находил пищу нетронутой, а Майкла иногда даже спящим в уголке у изголовья койки, на отведенном ему месте. Как-то раз, когда стюард, еще только начавший обучать Майкла этому трюку, вышел из каюты, а чуткий нос Майкла находился на расстоянии дюйма от запретного куска, Квэк в приступе игривости сам потянулся к этому куску, но Майкл так хватил его зубами, что на руке Квэка осталась рваная рана.

Ни одной из своих штук, которые Майкл с таким рвением проделывал для стюарда, он не проделал бы для Квэка, хотя Квэк относился к нему беззлобно и даже доброжелательно. Объяснялось это тем, что Майкла, едва только в нем забрезжило сознание, стали обучать различию между черным и белым человеком. Черные люди всегда находились в услужении у белых — по крайней мере на его памяти; их всегда в чем-то подозревали и считали, что за ними нужен глаз да глаз, так как они способны на любое преступление. И главный долг собаки, служащей белому богу, заключался в том, чтобы неусыпно следить за всеми чернокожими, встречающимися на его пути.

Тем не менее Майкл позволял Квэку кормить и поить его, а также оказывать ему и другие услуги, сначала лишь в отсутствие Доутри, когда тот исполнял свои обязанности стюарда, а потом и в любое время. Не раздумывая над этим, он понял, что пища, которую ему приносил Квэк, и все прочее, что Квэк для него делал, исходила не от Квэка, а от господина, которому принадлежал Квэк, так же как и он, Майкл. Впрочем, Квэк не сердился на Майкла. Неусыпно заботясь о благополучии и покое своего хозяина — хозяина, который в тот страшный день на острове Короля Вильгельма спас его от кровавой мести убитых горем владельцев свиньи, — он ради него холил и нежил Майкла. Заметив растущую привязанность своего хозяина к Майклу, он и сам полюбил его, — вернее, стал относиться к нему с таким же благоговением, с каким относился к башмакам или одежде стюарда, которые ему надлежало чистить, или к шести бутылкам пива, которые он ежедневно выносил для него на ледник.

По правде говоря, в Квэке не было ни одной аристократической черточки, Майкл же был прирожденным аристократом. Он мог из любви служить стюарду, но на одну доску с этим черным уродом он себя не ставил. У Квэка была душа раба, а в Майкле рабского было не больше, чем в индейцах в ту пору, когда их тщетно пытались обратить в рабов на плантациях Кубы. Во всем этом не было вины Квэка, так же как не было заслуги Майкла. Майкл унаследовал от своих предков, в течение веков строго отбираемых человеком, свирепость и преданность — сочетание, в результате неизменно дающее гордость. Гордости же нет без чувства чести, как нет чести без самообладания.

Лучшими достижениями Майкла в первые дни обучения в каюте стюарда было то, что он

выучился считать до пяти. Несмотря на его исключительную понятливость и ум, на это ушло много часов напряженной работы. Ведь он должен был научиться, во-первых, узнавать звуки, обозначающие цифры; во-вторых, видеть глазами и одновременно отличать мысленно один предмет от всех других предметов и, наконец, отождествлять в уме предмет или несколько предметов, числом до пяти, с цифрой, произносимой стюардом.

Для натаски Майкла Дэг Доутри применял шарики, скатанные из бумаги и перевязанные бечевкой. Бросив пять шариков под койку, он приказывал Майклу принести ему три, и Майкл безошибочно приносил и клал ему в руку не два, не четыре, а именно три шарика. Когда Доутри бросал под койку три шарика и требовал четыре, Майкл притаскивал ему три, тщетно искал четвертый и начинал с виноватым видом вилять хвостом и прыгать вокруг стюарда, под конец снова кидался на розыски и вытаскивал четвертый из-под подушки или из-под одеяла.

То же самое он проделывал и с другими известными ему предметами. В пределах пятерки он всегда приносил требуемое число башмаков, или рубах, или наволочек. Разница между математическими способностями Майкла, умевшего считать до пяти, и старика негра в Тулаги, который раскладывал табачные палочки на кучки, по пятку каждая, была много меньше, чем разница между Майклом и Дэгом Доутри, умевшим умножать и делить многозначные числа. В этом смысле еще большая дистанция отделяла Дэга Доутри от капитана Дункана, управлявшего «Макамбо» с помощью точных математических расчетов. Но все-таки самая большая дистанция существовала между математическим мышлением капитана Дункана и мышлением астронома, который вычерчивает карту неба и мысленно пускается в плавание между светил, отстоящих от нас на тысячи миллионов миль, астронома, уделяющего крупицу своих познаний капитану Дункану, чтобы тот во всякий день и час мог определить местонахождение «Макамбо» в открытом море.

Только одно давало Квэку известную власть над Майклом. У Квэка был варганчик, и когда замкнутый мирок «Макамбо» и ухаживание за стюардом нагоняли на него тоску, он губами и рукой извлекал из него таинственные звуки, уносившие его в иные края и времена, а Майкл подпевал, вернее подвывал ему, хотя в его вое была та же ласкающая слух мелодичность, что и в вое Джерри. Майклу вовсе не хотелось выть, но все его существо так же неизбежно реагировало на музыку, как при лабораторных опытах реагируют друг на друга химические вещества.

Поскольку он проживал в каюте стюарда нелегально, голоса его никто не должен был слышать, и Квэку теперь приходилось искать утешения в звуках своего варганчика, сидя в адской жаре над кочегаркой. Впрочем, это продолжалось недолго. То ли благодаря слепому случаю, то ли в силу предначертаний судьбы, занесенных в книгу жизни еще до сотворения мира, Майкл оказался вовлеченным в приключение, которое коренным образом повлияло не только на его участь, но также и на участь Квэка и Дэга Доутри, — более того, которое определило место их кончины и погребения.

Глава шестая

События, имевшие столь важные последствия в будущем, начались с того, что Майкл всем, решительно всем выдал свое присутствие на «Макамбо». Произошло это по небрежности Квэка, недостаточно плотно закрывшего за собой дверь в каюту. По морю катилась легкая зыбь, и дверь то оставалась распахнутой на несколько секунд, то снова затворялась, но не захлопывалась.

Майкл перескочил через высокий комингс с невинным намерением исследовать ближайшие окрестности. Но не успел он выйти из каюты, как «Макамбо» сильно качнуло и на этот раз

дверь захлопнулась. Он хотел тотчас же вернуться обратно. Послушание стало его второй натурой, потому что он всем сердцем желал повиноваться воле своего хозяина и с первых же дней заключения почувствовал, понял или догадался, что сидит взаперти по воле стюарда.

Он долго торчал перед закрытой дверью, тоскливо поглядывая на нее, но потом сообразил, что лаять на неодушевленный предмет или вступать с ним в беседу не имеет никакого смысла. Майкл еще маленьким щенком научился понимать, что мольба или угроза воздействуют только на живые существа, а неживые предметы, как эта дверь, например, хоть и движутся, но не по собственной воле и остаются глухими к любому зову жизни. Время от времени он прохаживался по небольшой площадке, на которую выходила дверь каюты, посматривая на длинный проход, тянувшийся от носа к корме.

Так он провел примерно с час, то и дело возвращаясь к упорно не открывавшейся двери. Затем его осенила мысль: раз дверь не открывается, а стюард и Квэк не идут и не идут, то надо их разыскать.

Приняв этот план действий, Майкл, не мешкая, без дальнейших размышлений или колебаний, двинулся по длинному коридору, в конце которого, за поворотом, он обнаружил узенький трап. Учуяв среди многих запахов запахи стюарда и Квэка, Майкл узнал, что они прошли здесь.

Поднявшись по трапу и выйдя на палубу, он стал встречать пассажиров. Поскольку все это были белые боги, Майкл не оскорблялся тем, что они заговаривали с ним, но продолжал бежать, не останавливаясь, и очутился наконец на открытой палубе, где множество почитаемых им белых богов уютно расположились в шезлонгах. Ни Квэка, ни стюарда среди них не было. Зато перед ним оказался еще один узкий трап, и он поднялся на верхнюю палубу. Здесь, под широким тентом, было еще больше белых богов — много больше, чем он видел за всю свою жизнь.

Передняя часть верхней палубы кончалась мостиком, не возвышавшимся над ней, а как бы составлявшим ее продолжение. Обойдя рубку рулевого с теневой, подветренной стороны, Майкл лицом к лицу столкнулся со своей судьбой. Здесь необходимо заметить, что у капитана Дункана на борту, кроме двух фокстерьеров, имелась еще большая персидская кошка, а у этой кошки целый выводок котят. Детскую для своих малюток кошка устроила в рубке, а капитан Дункан, всячески ублажавший ее, велел еще поставить туда ящик для котят и пригрозил своим помощникам самыми страшными карами, если они раздавят хоть одного котенка.

Но Майкл ничего об этом не знал. Кошка же узнала о существовании Майкла раньше, чем он узнал о существовании кошки. Короче говоря, он впервые увидел ее, когда она ринулась на него из открытой двери рубки. Еще не успев отдать себе отчет в неожиданно нагрянувшей опасности, Майкл инстинктивно отскочил в сторону. С его точки зрения, это была ничем не спровоцированная агрессия. Он смотрел на кошку, ощетинившись и начиная понимать, что перед ним всего-навсего кошка, но она снова ринулась на него, распушив свой хвост, по длине не уступавший руке крупного мужчины, и выпустила когти, фыркая от злобы и жажды мести.

Для уважающего себя ирландского терьера это было уже слишком. Ярость вспыхнула в нем в ту самую минуту, когда кошка сделала второй прыжок; он отскочил, чтобы спастись от ее когтей и самому броситься на нее сбоку, и зубами схватил ее за спину в мгновение, когда она еще находилась в воздухе. В следующую секунду кошка уже билась и корчилась с перегрызенным спинным хребтом.

Но для Майкла это оказалось еще только началом. Пронзительный лай, вернее, тявканье, новых врагов заставило его сделать стремительный, но — увы! — все же недостаточно быстрый

полуоборот. С обоих флангов на него налетели два рослых фокстерьера; он упал и покатился по палубе. Эти фокстерьеры, кстати сказать, давно, еще маленькими щенками, явились на борт «Макамбо» в карманах Дэга Доутри, который, по обыкновению, «поживился» ими в Сиднее и затем продал капитану Дункану по гинее за штуку.

На этот раз Майкл вскочил на ноги, разозленный уже не на шутку. И правда, на него градом сыпались какие-то воинственные кошки и собаки, а он ведь не только не затевал с ними ссоры, но даже не подозревал об их существовании, покуда они на него не напали. Фокстерьеры вели себя отважно, несмотря на свою истерическую ярость, и не успел он подняться на ноги, как они уже снова атаковали его. Клыки одного из них сцепились с его клыками, губы у обоих были разодраны. Получив новый удар, один фокс отпрянул от своего более тяжеловесного противника. Зато другой ухитрился налететь на Майкла с фланга и в кровь разодрать ему бок. Мгновенно, почти спазматически, изогнувшись всем телом, Майкл отшвырнул фокса, оставив в его пасти целый клок своей шерсти, но зато насквозь прокусив ему ухо. Фокстерьер, пронзительно взвизгнув от боли, так резко отскочил, что клыки Майкла, точно гребень, насквозь прочесали его ухо. Тут на Майкла налетел первый фокс, и едва только он обернулся, чтобы принять бой, как опять подвергся неспровоцированной атаке. На сей раз это был капитан Дункан, разъяренный видом своей убитой кошки. Он так хватил Майкла сапогом в грудь, что едва не вышиб из него дух. Майкл, взлетев в воздух, тяжело рухнул на бок. Оба фокса стремглав бросились на него и впились зубами в его жесткую щетинистую шерсть. Лежа на боку и тщетно пытаясь подняться, Майкл все же умудрился схватить за ногу одного из противников. Тот с громким визгом начал отступать на трех лапах, поджимая четвертую, до кости прокушенную Майклом.

Майкл дважды отбросил второго четвероногого врага и стал стремительно кружить вокруг него, а за Майклом, в свою очередь, погнался капитан Дункан. Затем, сократив расстояние между собой и противником прыжком по хорде дуги, описываемой фоксом, Майкл впился зубами ему в загривок. При столь неожиданном нападении более крупной собаки фокс не устоял и тяжело шлепнулся на палубу. И в то же мгновение капитан Дункан вторично так пнул Майкла ногой, что у того в зубах остался кусок фокстерьерова мяса.

Тогда Майкл двинулся на капитана. Пускай он белый бог! Взбешенный столькими нападениями такого множества врагов, Майкл, мирно пустившийся на поиски Квэка и стюарда, не стал тратить времени на размышления. К тому же он этого белого бога раньше и в глаза не видывал.

Поначалу Майкл щерился и рычал. Но так как битва с белым богом была делом нешуточным, то, отскочив в сторону, чтобы уклониться от нового удара ногой, он не издал ни звука. Сманеврировав, как в случае с кошкой, Майкл атаковал капитанскую ногу с фланга. В сторону, чтоб увернуться от удара, а потом из укрытия ринуться на врага — такова была его тактика. Он научился ей на неграх, в Мериндже и на борту «Евгении», причем иногда этот трюк ему удавался, а иногда и нет. Зубы его мгновенно прокусили белую парусину брюк. Резкий толчок в ногу — и взбешенный моряк потерял равновесие. Едва не шлепнувшись носом, он с огромным усилием удержался на ногах, перескочил через изготовившегося к вторичному нападению Майкла, пошатнулся и сел прямо на палубу.

Сколько времени ему понадобилось бы на то, чтобы отдышаться, осталось неизвестным, так как, пришпоренный отчаянным укусом в плечо, он вскочил с максимальной быстротой, на какую только был способен при всей своей тучности. И тут Майкл хоть и упустил возможность вцепиться ему в икру, но зато в клочья разорвал штанину на другой ноге и сам получил такой пинок, что взлетел на воздух, перекувырнулся и грохнулся спиною оземь.

Капитан, бывший до сих пор яростно наступающей стороной, собрался еще раз наподдать Майклу, но тот вдруг вскочил на ноги и прыгнул, чтобы на этот раз вцепиться капитану уже не в ногу или в бедро, а в глотку. Впрочем, до глотки он не достал, и, вонзившись зубами в широкий черный галстук капитана, повис на нем, но тут же оборвался и разодрал его в лохмотья.

Но не столько это обстоятельство заставило капитана отступить и перейти уже к чисто оборонительной тактике, сколько молчание Майкла, зловещее, как смерть. Этот пес не рычал, не огрызался. Уставившись на капитана немигающими глазами, он снова и снова бросался на него. Он не лаял, кидаясь в атаку, и не взвизгивал, получив удар ногой. Страха Майкл не знал. Том Хаггин часто бахвалился выдержкой Бидди и Теренса; надо думать, что они и своего сына Майкла обучили глазом не моргнув сносить побои. Бидди и Теренс — так уж были созданы эти псы — неизменно бросались навстречу удару и вступали в схватку с тем, кто его наносил. В молчании, суровом, как смерть, вели они бой, непрерывно атакуя противника.

Такой же был и Майкл. Капитан ударял его ногой и отступал, а Майкл подпрыгивал и впивался зубами в его ногу. Спасение явилось капитану в лице матроса со шваброй для мытья палубы, насаженной на длинную палку. Вмешавшись в потасовку, он изловчился засунуть эту швабру в пасть Майклу и отпихнул его. Майкл машинально сжал швабру зубами, но тотчас же выплюнул и уже больше не старался ее укусить, сообразив, что это неодушевленный предмет, которому его клыки не причиняют боли.

Матрос тоже занимал его лишь постольку, поскольку от него надо было увертываться. Лакомым куском сейчас был капитан Дункан, который стоял, привалившись к поручням, и, тяжело дыша, вытирал пот, градом катившийся по его лицу. Если на рассказ об этом побоище, начиная с убийства персидской кошки и кончая шваброй, засунутой в пасть Майкла, потребовалось немало времени, то на деле все произошло с такой молниеносной быстротой, что пассажиры, повскакавшие с шезлонгов, подоспели к месту происшествия, лишь когда Майкл, ловко увернувшись от швабры матроса, снова ринулся на капитана Дункана и на этот раз так зверски укусил его за жирную ногу, что тот взвыл от боли и разразился каким-то бессвязным проклятием.

Меткий пинок отшвырнул Майкла и дал возможность матросу снова пустить в ход швабру. В этот момент подоспел Дэг Доутри, глазам которого представились: перепуганный, окровавленный, доведенный чуть ли не до апоплексического удара капитан, Майкл, в зловещем молчании неистово кидающийся на швабру, и громадная персидская кошка в предсмертных судорогах.

— Киллени-бой! — повелительно крикнул стюард.

Несмотря на все негодование и ярость, обуревавшие Майкла, голос хозяина проник в его сознание; он почти мгновенно остыл, прижал уши, его вздыбившаяся шерсть улеглась, и губы уже закрыли клыки, когда он обернулся и вопросительно взглянул на Доутри.

— Сюда, Киллени!

Майкл повиновался; он не пополз на брюхе, как виноватый, а радостно и быстро подбежал к стюарду.

— Ложись, бой!

Он улегся, предварительно сделав полуоборот, и со вздохом облегчения лизнул своим красным языком сапог стюарда.

— Это ваша собака, Доутри? — голосом, сдавленным от гнева, и едва переводя дыхание, осведомился капитан.

— Да, сэр, моя. Что она тут натворила, сэр?

Беды, которые натворил Майкл, лишили капитана дара речи. Он лишь слабо поводил рукой, указывая на издыхающую кошку, на свои вымазанные кровью, лохмотьями висевшие брюки и на распростертых у его ног фокстерьеров, которые, жалобно скуля, зализывали раны.

— Очень сожалею, сэр… — начал Доутри.

— Сожалею! Черт вас возьми! — прервал его капитан. — Боцман! Вышвырнуть собаку за борт.

— Есть вышвырнуть собаку за борт, сэр! — повторил боцман, но не двинулся с места.

Лицо Дэга Доутри становилось все более ожесточенным по мере того, как в его душе крепла воля к противодействию, которое он собирался оказать, как всегда спокойно, но непреклонно. Впрочем, он ответил капитану почтительно и, правда, не без труда, придал своим чертам обычное добродушное выражение.

— Это хорошая собака, сэр, и не задиристая. Я даже представить себе не могу, с чего она так разъярилась. Наверное, случилось что-нибудь из ряда вон…

— Так оно и было, — вмешался один из пассажиров, владелец кокосовой плантации на Шортлендских островах.

Стюард бросил на него признательный взгляд и продолжал:

— Это хороший пес, сэр, послушный. Вы же сами видели, что даже в такую минуту он послушался меня, пришел и лег. Он умен, как бес, сэр; делает все, что я ему приказываю. Сейчас я его заставлю просить прощения. Вот поглядите…

Доутри шагнул к истерическим фоксам и подозвал Майкла.

— Это славная собака, Киллени, славная, — тихонько заговорил он, одной рукой гладя фокса, а другой Майкла.

Фокс отчаянно заскулил и крепче прижался к ногам капитана Дункана, Майкл же, повиливая хвостом и мирно свесив уши, подошел к нему, взглянул для проверки на стюарда, обнюхал своего недавнего врага и даже высунул язык, собираясь лизнуть его в ухо.

— Вот видите, сэр, какой это добродушный пес! — возликовал Доутри. — Он делает все, что ему прикажут. Настоящий пес, храбрый! Сюда, Киллени! Это тоже славная собачка. Славная! Поцелуйтесь и больше не ссорьтесь. Вот так!

Второй фокс, у которого была поранена передняя лапа, кое-как снес обнюхивание Майкла, только в глотке у него что-то истерически клокотало, но когда Майкл высунул язык, фоксово терпение лопнуло. Несчастная собачонка попыталась куснуть Майкла в морду.

— Он хороший, Киллени, хороший, — торопливо вмешался стюард.

Майкл вильнул хвостом в знак того, что понял его, и с добродушнейшим видом шлепнул фокса по шее своей тяжелой лапой так, что тот перекувырнулся через голову и покатился по палубе. Фокс злобно огрызнулся. Майкл же равнодушно отвернулся от него и посмотрел в глаза

стюарду, ожидая одобрения.

Пассажиры приветствовали взрывом хохота этот невольный трюк фокстерьера и величественное добродушие Майкла. Впрочем, хохот относился не только к обоим псам: в минуту, когда Майкл перекувырнул фокса, нервы капитана Дункана не выдержали, и он подскочил на месте, как ужаленный.

— Бьюсь об заклад, сэр, что не позднее завтрашнего дня Киллени станет вашим другом! — доверительно обратился к капитану Доутри.

— Завтрашнего... Через пять минут он будет за бортом! — крикнул капитан. — Боцман, кончай с собакой!

Боцман нерешительно приблизился, но среди пассажиров послышался ропот.

— Посмотрите на мою кошку, посмотрите на меня самого! — Капитан Дункан пытался оправдать свой жестокий приказ.

Боцман сделал еще шаг, Дэг Доутри метнул на него грозный взгляд.

— Живо! — скомандовал капитан.

— Ни с места! — крикнул вдруг шортлендскнй плантатор. — Надо по справедливости отнестись к собаке! Я все видел. Он не лез в драку. Кошка первая бросилась на него. Он и защищаться-то стал только тогда, когда она уже второй раз на него кинулась. А она бы непременно выцарапала ему глаза. И тут же на него налетели эти две собачонки. Он их не задирал. Затем на него налетели вы. Вас он тоже на задирал. Потом еще явился ваш матрос со шваброй. А теперь вы еще приказываете вышвырнуть его за борт! Будьте же справедливы! Это была самозащита. Да и что, по-вашему, должна делать собака, попавшая в такой переплет? Лежать и покорно сносить, что ее лупят кошки и другие псы? Подумайте, капитан! Вы надавали ему здоровых пинков. Он только защищался.

— И нельзя не признать, что довольно энергично, — усмехнулся капитан Дункан; к нему постепенно возвращалось его обычное добродушие, хотя он ощупывал свое окровавленное плечо и горестно поглядывал на изодранные парусиновые брюки. — Вот что, Доутри, если вы беретесь помирить нас в пять минут — пусть его остается на борту. Но придется вам купить мне новые штаны.

— С радостью, сэр! Благодарю вас, сэр! — воскликнул Доутри. — Я и кошку вам достану новую, сэр. Поди сюда, Киллени-бой. Это большой господин, хороший человек, понимаешь?

Майкл слушал. Слушал без затаенной злобы, не трясясь и не задыхаясь, как фокстерьеры, все еще бившиеся в истерике, не вздрагивая всем телом от нервного перенапряжения, но спокойно, сдержанно, точно не было какую-нибудь минуту назад ни великого побоища, ни укусов, ни пинков, от которых все еще болело и ныло его тело.

В одном только он не совладал с собой, — ощетинился, обнюхивая ногу, на которой только что сам изодрал штанину.

— Дотроньтесь до него, сэр, — попросил Дэг Доутри.

И капитан Дункан, уже успевший обрести душевное равновесие, наклонился и, не задумываясь, положил руку на голову Майкла; более того, он погладил его, почесал у него за

ушами. А простодушный Майкл, только что сражавшийся, как лев, все забыл и простил, как человек. Взъерошенная шерсть улеглась, он повилял обрубком хвоста, заулыбался глазами, ушами, пастью и стал лизать руку, с которой так недавно воевал.

Глава седьмая

После этого происшествия Майкл уже свободно бегал по судну. Дружелюбный ко всем, снисходивший даже до возни с фокстерьерами, он любил только стюарда.

— Такого веселого пса я отродясь не видывал, и до чего смышленый притом, — заметил Дэг Доутри шортлендскому плантатору, которому он только что сбыл один из своих самодельных черепаховых гребней. — Обычно, знаете ли, игривые собаки уж ни на что больше не годятся. Но Киллени-бой — дело другое. Он в секунду может набраться серьезности. Я сейчас вам это докажу, и вы увидите: у него довольно ума, чтобы считать до пяти, вдобавок он знает беспроволочный телеграф. Вот, смотрите.

И стюард чмокнул губами так тихо, что даже сам не был уверен, удалось ему издать какой-то звук или нет, а шортлендский плантатор уж и подавно ничего не услышал. В этот момент Майкл валялся на спине, шагах в десяти от стюарда, задрав кверху все четыре лапы, а оба фокса докучали ему своими притворно яростными атаками. Вдруг он, оттолкнувшись лапами, перекатился на бок, навострил уши — в глазах у него появилось вопросительное выражение

— и прислушался. Доутри сделал то же движение губами, шортлендский плантатор и на этот раз ничего не услышал и не заметил, а Майкл вскочил и в мгновение ока очутился подле своего господина.

— Ну что, хорош пес? — хвастливо осведомился Доутри.

— Но откуда он узнал, что должен подойти к вам? — поинтересовался плантатор. — Вы же его не звали.

— Телепатия, сродство душ, настроенных, так сказать, на один музыкальный лад, — дурачился стюард. — Киллени и я, надо думать, сделаны из одного материала, только обличье у нас разное. Он, видно, предназначался быть моим родным братом, да только в природе произошла какая-то ошибка. А сейчас вы увидите, что он и в арифметике недурно разбирается.

Вытащив из кармана бумажные шарики, Доутри под удивленные и восторженные возгласы собравшихся пассажиров продемонстрировал способность Майкла считать до пяти.

— Теперь вы сами убедились, сэр, — закончил представление стюард, — если я закажу в каком-нибудь портовом кабачке четыре кружки пива и по рассеянности не замечу, что мне подали три, то Киллени-бой немедленно учинит скандал.

С тех пор как присутствие Майкла на «Макамбо» было раскрыто, Квэку уже не приходилось тайком наслаждаться музыкой варганчика над кочегаркой, и иногда, улучив минуту, он тоже занимался обучением Майкла в каюте Доутри. Как только раздавались варварские звуки варганчика, Майкл утрачивал всякую власть над собой. Пасть его непроизвольно открывалась, и он разражался воем. Но, как и у Джерри, это не был обыкновенный собачий вой. Звуки, им издаваемые, куда больше походили на пение, а в скором времени Квэку удалось, конечно, в пределах определенного регистра, научить Майкла понижать и повышать голос, правильно воспроизводя ритм и мелодию.

Майкл не любил этих уроков, так как относился к Квэку свысока и всякий вид подчинения негру считал для себя унизительным. Но все это в корне переменилось с того дня, когда Даг Доутри застал их за таким уроком пения. Он немедленно раскопал где-то губную гармонику, на которой любил играть в портовых кабачках, в промежутках между двумя бутылками пива. Очень скоро Доутри открыл, что Майкл быстрее начинает петь под минорные звуки, а начав петь, уже не умолкает, покуда не смолкнет музыка. Впрочем, Майкл пел и без гармоники, под аккомпанемент голоса Доутри, который начинал с протяжного, грустного причитания, а потом затягивал какую-нибудь старую песню. Майкл терпеть не мог петь с Квэком, но обожал петь со стюардом, даже когда последний выводил его на палубу и заставлял «давать представление» перед покатывающимися со смеху пассажирами.

Под самый конец плавания у стюарда состоялось два серьезных разговора: один с капитаном Дунканом и другой с Майклом.

— Вот в чем дело, Киллени, — как-то вечером начал стюард, когда Майкл сидел, положив морду на колени своего господина и уставившись на него преданными глазами; он не понимал ни слова из того, что тот говорил, но был счастлив дружелюбием, звучавшим в его голосе. — Я тебя украл из чистой корысти, потому что, как увидел тебя тогда, ночью, на берегу, так сразу смекнул, что мне где угодно дадут за тебя десять фунтов. А десять фунтов — целая прорва денег. Это пятьдесят долларов на американские деньги и сотня

— на китайские.

Так вот, на пятьдесят долларов я могу купить столько пива, что хоть топись в нем. Но сначала я хочу тебя спросить: можешь ты себе представить, что я тебя отдам за десять фунтов?.. Ну же! Говори! Можешь?

Майкл колотил хвостом по полу и громко лаял в знак того, что согласен с любым мнением стюарда.

— Или, скажем, за двадцать фунтов. Невредные денежки! Как, по-твоему, продам я тебя? А? Продам? Да никогда в жизни! А что я скажу, если мне предложат пятьдесят фунтов? Такое предложение можно, пожалуй, назвать интересным, но ведь сто фунтов еще интереснее, а? Если сто фунтов обратить в пиво, то оно затопит эту старую посудину. Но кто, скажи на милость, выложит мне за тебя сто фунтов? Хотел бы я посмотреть на такого чудака. А знаешь, зачем? Ладно, так и быть, уж скажу тебе по секрету. Чтобы послать его ко всем чертям. Клянусь честью, Киллени-бой, так бы и послал, очень вежливо, конечно, ну, скажем, предложил бы проводить его в такое место, где ему уж никогда не придется мерзнуть.

Майкл любил стюарда так, что любовь эта уже переходила в своего рода безумие. То, как стюард относился к Майклу, лучше всего уяснится из его разговора с капитаном Дунканом.

— Право же, сэр, он ко мне пристал и пробрался за мной на борт, — закончил Доутри свое вранье. — А я и не заметил. Я в последний раз видел его на берегу. А потом вдруг, смотрю, спит крепким сном на моей койке. Как он туда попал? Как разыскал мою каюту? Может, вы сумеете найти объяснение, сэр? Мне лично это кажется чудом, самым настоящим чудом.

— Ну, конечно, чудо, особенно если принять во внимание, что у трапа стоял помощник, — фыркнул капитан Дункан. — Точно я не знаю ваших штук, Доутри. Чудом тут и не пахнет. Вы просто-напросто украли его. Увязался за вами на судно и взбежал по трапу! Как бы не так! Пес этот попал сюда через иллюминатор, и уж, конечно, не по собственной воле. Бьюсь об заклад, что тут дело не обошлось без вашего негра. Ну, да что там ходить вокруг да около. Отдайте мне

пса, и я прощу вам кошку.

— Если вы и вправду так думаете, вас обвинят в укрывательстве краденого, — нашелся Доутри; упрямо сдвинутые брови свидетельствовали о непоколебимости его решения. — Мне что, сэр, я всего-навсего стюард; невелика беда, если меня арестуют за кражу собаки. А вы, сэр, капитан большого парохода, и вам это будет очень неприятно. Потому я и считаю: собака, которая увязалась за мной, должна при мне и остаться.

— Я дам за нее десять фунтов, — предложил капитан.

— Не пойдет, сэр, тут и говорить нечего, ведь вы как-никак капитан, — упорствовал стюард, мрачно покачивая головой. — Кроме того, я знаю, где раздобыть в Сиднее замечательную ангорскую кошку. Ее хозяин переехал за город, и она ему больше не нужна, а для любой кошки, сэр, будет просто счастьем пристроиться на «Макамбо».

Глава восьмая

Другой трюк, которому Дэг Доутри обучил своего пса, так возвысил Майкла в глазах капитана, что он предложил стюарду полсотни фунтов и обещал «никогда не попрекать кошкой». Сначала Доутри демонстрировал этот трюк в узкой компании старшего механика и шортлендского плантатора, и только убедившись, что все идет как по маслу, решился дать публичное представление.

— Попробуйте вообразить, что вы полисмены или сыщики, — обратился он к старшему и третьему помощнику капитана, — а я человек, совершивший какое-то ужасное преступление. И еще представьте себе, что только Киллени может меня изобличить. Если он узнает своего хозяина, то есть меня, значит, я пойман. Возьмите его на сворку и уходите с ним, затем возвращайтесь, вообразив, что палуба — это улица; если он узнает меня, вы меня арестуете, если нет — вы не имеете права меня арестовать. Понятно?

Оба помощника увели Майкла и через несколько минут вернулись с ним на палубу. Майкл сильно натягивал сворку и рвался вперед, разыскивая стюарда.

— Сколько вы возьмете за эту собаку? — осведомился Доутри, когда они поравнялись с ним, — условленная реплика, к которой он приучил Майкла.

И Майкл, изо всех сил натягивавший сворку, прошел мимо, даже не вильнув хвостом, даже не покосившись на стюарда. Помощники остановились подле Доутри и за сворку подтянули поближе Майкла.

— Эта собака отстала от хозяина, — сказал первый помощник.

— Мы стараемся его разыскать, — добавил третий.

— Недурной пес, сколько вы за него возьмете? — полюбопытствовал Доутри, с интересом разглядывая Майкла. — И нрав у него хороший?

— Испытайте сами, — последовал ответ.

Стюард протянул руку, чтобы погладить собаку по голове, но тотчас же ее отдернул: Майкл ощетинился, зарычал и угрожающе оскалил зубы.

— Ничего, ничего, попробуйте еще, он вас не тронет! — кричали восхищенные пассажиры.

На этот раз Майкл едва не цапнул стюарда за руку, тот отпрянул, а Майкл сделал свирепый прыжок, так что помощники едва удержали его.

— Уведите этого пса! — заорал Доутри. — Что за подлая бестия! Мне его даром не надо.

Те повиновались, и Майкл, вне себя от ярости, зарычал, запрыгал, пытаясь сорваться с привязи и броситься на стюарда.

— Ну, что скажете? Кто поверит, что он вообще знает меня! — торжествующе воскликнул Доутри. — Я сам никогда в жизни этого фокуса не видал, но слышал о нем. В старину английские браконьеры натаскивали на такую штуку своих овчарок. Если лесничему или констеблю удавалось поймать собаку, опознать ее хозяина он все равно не мог.

Да, он немало знает, этот пес. И по-английски отлично понимает. Дверь моей каюты как раз открыта, велите ему принести оттуда башмаки, туфли, шапку, полотенце, щетку, кисет, что угодно. Только скажите, он немедленно притащит.

Пассажиры наперебой стали выкрикивать разные предметы.

— Да, но не все сразу, выберите кого-нибудь одного, — вмешался стюард.

— Туфли, — с общего одобрения решил капитан Дункан.

— Одну или две? — спросил Доутри.

— Две.

— Поди сюда, Киллени. — Стюард наклонился к нему, но отскочил, так как зубы Майкла свирепо щелкнули под самым его носом.

— Это моя вина, — заявил он, — позабыл сказать ему, что представление окончено. Теперь смотрите в оба, не подам ли я ему какой-нибудь знак.

Никто ничего не услышал и не увидел, кроме того, что Майкл, взвизгнув от счастья, смеясь, извиваясь всем телом, как безумный бросился к стюарду; он неистово лизал ему руки, те самые любимые руки, на которые только что огрызался, и, высунув язык, прыгал, пытаясь достать до его лица. Ведь ему пришлось сделать колоссальное нервное и умственное усилие, чтобы разыграть эту сцену ненависти и ярости против своего возлюбленного стюарда.

— Погодите немного, дайте ему прийти в себя, — попросил Доутри, лаская и успокаивая Майкла.

— Ну, а теперь, Киллени, марш, принеси мне туфли. Стоп! Одну туфлю! Нет, две!

Майкл насторожил уши и вопросительно поглядел на Доутри. В его глазах светились разум и понимание.

— Живо принеси мне две туфли!

Майкл вскочил и помчался; распластываясь, как птица на лету, он мигом обогнул рулевую рубку и скользнул вниз по лестнице.

В мгновение ока он вернулся, неся в зубах обе туфли, которые и сложил у ног стюарда.

— Чем больше я узнаю собак, тем большим чудом они мне кажутся, — управившись с четвертой бутылкой пива, объявил Дэг Доутри шортлендскому плантатору, с которым беседовал на сон грядущий. — Возьмите хоть Киллени-боя. Он проделывает свои штуки отнюдь не механически, не потому, что я так обучил его. Тут что-то другое. Он готов на все из любви ко мне. Не знаю, как вам объяснить, но я это чувствую, знаю.

Одним словом, я вот к чему клоню: Киллени, конечно, не умеет говорить, как мы с вами, и потому не может мне сказать, как он меня любит, но он весь любовь до мозга костей. Дела-то ведь говорят больше, чем слова, вот он и расшибается в лепешку из любви ко мне. Цирковые номера? Верно! Но по сравнению с ними все человеческое красноречие гроша ломаного не стоит. Ей-богу, это его разговор. Собачий разговор, хоть у них и нет дара речи. Вы думаете, я так болтаю? Нет, если я знаю, что все люди смертны и что искры летят вверх, а не вниз, то также знаю, что он счастлив, проделывая все это для меня. Так счастлив бывает человек, когда он вызволит друга из беды, или влюбленный, когда накидывает на плечи девушке свою куртку, чтобы она не озябла. Уверяю вас…

Дэг Доутри запнулся от непривычки облекать в слова мысли, проносящиеся в его хмельном, насквозь пропитанном пивом мозгу, и, пробормотав что-то нечленораздельное, начал с новыми силами:

— Тут, понимаете ли, все дело в разговоре, а говорить-то ведь Киллени не умеет. Башка у него полна мыслей, это же видно по его славным карим глазенкам, но он не умеет передать их мне. Я, честное слово, вижу, что он иногда из кожи вон лезет, так ему хочется мне что-то сказать. Между мной и им целая пропасть, и, кроме слов, моста через эту пропасть нету, — вот он, бедняга, и не может через нее перебраться, хотя мысли и чувства у него такие же, как у меня.

И вот ведь что! Он чувствует себя всего ближе ко мне, когда я играю на губной гармошке, а он подвывает. Музыка тоже вроде как бы мост. И он по-настоящему поет, только без слов. И… не знаю, как вам и объяснить… только мы, когда кончаем песню, становимся намного ближе друг другу, и слова нам уже как будто и не нужны.

Вот верите ли, когда я играю, а он поет, из нашего дуэта получается то, что попы назвали бы религией, познанием Бога. Честное слово, стоит нам запеть, я становлюсь верующим, становлюсь ближе к Богу. Это что-то такое громадное, как земля, как океан, как небо со всеми его звездами. Мне даже начинает казаться, что все мы сработаны из одного материала — вы, я, Киллени-бой, горы, песок, морская вода, черви, москиты, солнце, и падающие звезды, и пылающие кометы…

Дэг Доутри замялся. Восторг его души явно не укладывался в слова, и, чтобы скрыть свое замешательство, он снова стал бахвалиться Майклом.

— Да, такие собаки не каждый день рождаются. Я его украл, верно! Очень уж он мне приглянулся. А теперь, когда я его знаю, я бы и опять его украл, даже если бы мне пришлось после этого остаться одноногим калекой. Вот какой он пес!

Глава девятая

В то утро, когда «Макамбо» вошел в сиднейскую гавань, капитан Дункан сделал еще одну попытку заполучить Майкла. Вельбот портового врача уже направлялся к судну, когда он кивком головы подозвал стюарда, проходившего по палубе.

— Доутри, я даю вам двадцать фунтов.

— Нет, сэр! Благодарю вас, — последовал ответ. — Я не могу с ним расстаться.

— Ладно, двадцать пять. Но это уж крайняя цена. На свете немало ирландских терьеров.

— Я тоже так полагаю, сэр. И я вам одного из них раздобуду. Здесь же, в Сиднее. И он, сэр, вам ни пенса не будет стоить.

— Но я хочу именно Киллени-боя, — настаивал капитан.

— Я тоже, в том-то и беда, сэр. И, кроме того, я ведь первый достал его.

— Двадцать пять соверенов — неплохие денежки… за собаку, — заметил капитан.

— А Киллени-бой неплохая собака… за такие денежки, — отрезал стюард. — Оставим все сантименты, сэр, одни его штуки дороже стоят. Он меня не узнает, когда я ему приказываю, — уж этому одному цена пятьдесят фунтов. А как он считает, а его пение и все прочее! Не важно, как я его раздобыл, но только он ведь ничему не был обучен. Это моих рук дело. Я его научил всем фокусам. Он теперь совсем не та собака, какой был в первый день на «Макамбо». В нем столько моего, что продать его, все равно что продать кусок самого себя.

— Тридцать фунтов, — сурово произнес капитан.

— Нет, сэр, благодарю вас, тут дело не в деньгах, — отвечал стюард.

Капитану Дункану осталось только отойти от него и поспешить навстречу портовому врачу, поднимавшемуся по трапу.

Когда на «Макамбо» закончился врачебный осмотр и судно уже направлялось к причалу, к нему подошел щегольской военный баркас, и одетый с иголочки лейтенант взбежал по трапу на палубу. Он не замедлил разъяснить причину своего появления. «Альбатрос», британский крейсер второго ранга, на котором он был четвертым помощником командира, заходил в Тулаги с депешами от верховного комиссара английских владений в Южных морях. Поскольку между приходом «Альбатроса» и уходом «Макамбо» прошло не больше двенадцати часов, комиссар Соломоновых островов и капитан Келлар полагали, что пропавшая собака увезена именно на этом судне. Капитан «Альбатроса», рассчитав, что крейсер будет в Сиднее раньше «Макамбо», пообещал узнать насчет собаки. Итак: не находится ли на борту ирландский терьер по кличке Майкл?

Капитан Дункан чистосердечно признался, что находится; но тут же соврал и, чтобы выгородить Дэга Доутри, повторил его сказку о неожиданном появлении собаки на борту. На очередь встал вопрос, как вернуть собаку капитану Келлару; «Альбатрос» держал курс на Новую Зеландию. Капитан Дункан нашел выход.

— Через два месяца «Макамбо» вернется в Тулаги, — заметил он лейтенанту, — и я лично беру на себя обязательство вернуть собаку владельцу. А пока что мы сумеем позаботиться о ней. Наш стюард, можно сказать, усыновил ее, так что пес находится в хороших руках.

— Похоже, что ни одному из нас собака не достанется, — печально проговорил Доутри, после того как капитан изложил ему положение вещей.

Но когда он повернулся и пошел по палубе, брови его так упрямо хмурились, что встретившийся ему шортлендский плантатор удивился, за что мог капитан распечь своего стюарда.

Несмотря на пресловутые шесть кварт пива и несколько легкомысленный характер, Дэг Доутри был человеком не без устоев. Правда, он мог без малейших угрызений совести украсть собаку или кошку, но никогда не пренебрегал своими обязанностями, такая уж у него была натура. Он ни за что бы не позволил себе получать жалованье стюарда, не делая той работы, которую положено делать стюарду. Итак, хотя он уже принял непоколебимое решение, но во время стоянки «Макамбо» в сиднейских доках компании «Бернс Филп и К°» заботливо следил за тем, как убиралось и чистилось судно после сошедших с него пассажиров и как готовилось к принятию на борт новых, уже купивших билеты для далекого путешествия к коралловым рифам и островам, населенным людоедами.

Среди этих хлопот он все же отлучался на берег, раз на всю ночь и два раза под вечер. Ночь он провел в портовых кабачках, посещаемых матросами, где можно узнать все сплетни и все новости о кораблях и мореплавателях. Собрав нужные ему сведения и заодно выпив немало пива, Доутри на следующий день нанял за десять шиллингов небольшой баркас и отправился на нем в бухту Джексона, где стояла на якоре изящная трехмачтовая американская шхуна «Мэри Тернер».

Взойдя на борт шхуны, он объяснил цель своего прибытия и был немедленно проведен в кают-компанию, где узнал все, что его интересовало, и сам, в свою очередь, был подробно расспрошен четырьмя мужчинами, которых он мысленно окрестил «сворой чудаков».

Пространный разговор, накануне ночью состоявшийся у Доутри с бывшим стюардом этого судна, позволил ему немедленно опознать всех четверых. Вот этот, сидящий поодаль, с выцветшими, почти белесыми глазами, — явно «Старый моряк» [2]. Длинные жидкие космы седых, давно не чесанных волос, словно ореол, обрамляли его лицо. Он был худ, как скелет, щеки впалые, морщинистая кожа, казалось, уже не покрывая ни жира, ни мускулов, нелепо свисала на адамово яблоко, которое при непроизвольных глотательных движениях то вдруг высовывалось из складок кожи, похожей на пелены мумии, то снова куда-то проваливалось.

«А ведь и вправду „Старый моряк“, — думал Доутри. — Ему можно дать лет семьдесят пять, или сто пять, или, с таким же успехом, и все сто семьдесят пять».

Глубокий рубец, начинавшийся от правого виска, шел через все лицо старика, до нижней челюсти, и дальше прятался в складках дряблой кожи. В иссохшие мочки обоих ушей были продеты цыганские серьги в виде золотых колец. На костлявых пальцах правой руки было надето не менее пяти перстней, не мужских и не женских, но довольно оригинальных и уж, во всяком случае, «стоящих», как заключил Доутри. На левой руке перстней не было, видимо, потому, что их не на что было надеть: на ней сохранился один-единственный палец — большой, да я вся рука выглядела так, словно по ней прошлось то же острие, которое рассекло его лицо от виска до нижней челюсти; один Бог знает, как далеко еще уходил этот рубец, скрытый морщинистой и обвислой кожей шеи.

Выцветшие глаза Старого моряка насквозь просверливали Доутри (а может быть, ему это только казалось), так что он даже в смущении отступил в сторонку. Он мог это сделать, потому что пришел сюда как слуга в поисках места и стоял навытяжку, тогда как остальные сидели и всматривались в него, как судьи. И все-таки взгляд старика преследовал Доутри, покуда он, приглядевшись повнимательнее, не пришел к выводу, что тот вообще его не видит. Ему вдруг стало казаться, что белесые, выцветшие глаза подернуты пеленой мечты и что живой ум, кроющийся где-то в глубине этих глаз, трепещет и бьется о пелену, но не прорывает ее.

— На какое жалованье вы рассчитываете? — осведомился капитан, имевший весьма «не морской» вид, по мнению Доутри. Этот капитан скорее напоминал щеголеватого пронырливого

дельца или с иголочки одетого шефа модной фирмы.

— Вы не будете участвовать в прибылях, — произнес один из четырех, крупный широкоплечий мужчина средних лет; по рукам, смахивавшим на окорока, Доутри узнал калифорнийского фермера, о котором ему рассказывал прежний стюард.

— Всем хватит! — Доутри даже вздрогнул, так громко и пронзительно выкрикнул эти слова Старый моряк. — Груды, джентльмены, целые груды в бочках и сундуках, в бочках и сундуках на глубине каких-нибудь шести футов под слоем песка.

— Участвовать — в чем, сэр? — спросил Доутри, хотя отлично все расслышал.

Прежний стюард на все лады клял себя за то, что ушел из Сан-Франциско, прельстившись неопределенными обещаниями участия в каких-то прибылях вместо твердого оклада.

— Это неважно, сэр, — поспешил добавить Доутри. — Я служил на китобойном судне три года подряд и за все свои труды не получил ни доллара. Мои условия — шестьдесят золотых в месяц, поскольку вас всего четверо.

— И помощник, — добавил капитан.

— И помощник, — повторил Доутри. — Я согласен, сэр, без всякого участия в прибылях.

— А как там у вас обстоит… — заговорил четвертый, толстый, громадного роста, весь какой-то неопрятный и похожий на груду мяса армянский еврей, ростовщик из Сан-Франциско, о котором весьма нелестно отозвался прежний стюард, — как там у вас обстоит с бумагами, рекомендациями? Имеются ли у вас на руках документы об окончательном расчете с пароходной компанией, у которой вы состояли на службе?

— Я тоже мог бы спросить вас о бумагах, сэр, — дерзко отвечал Доутри.

— Это ведь не настоящее торговое или пассажирское судно, так же как вы, джентльмены, не настоящие судовладельцы с официальной конторой, правомочно ведущей дела. Почем я знаю, являетесь ли вы собственниками судна, или срок фрахта давно истек и на берегу вам предстоит диффамация? Почем я знаю, что вы не высадите меня в какой-нибудь Богом забытой бухте, ничего не заплатив мне? А впрочем, — он счел за благо предупредить взрыв притворной ярости со стороны еврея, — впрочем, вот мои бумаги.

И Доутри мигом вытащил из кармана и швырнул на стол целую кипу бумаг, испещренных печатями и штампами, — документы за сорок пять лет службы, из которых последний был выдан пять лет назад.

— Но я с вас бумаг не спрашиваю, — продолжал он, — а спрашиваю только жалованье, шестьдесят долларов, которое и желаю получать чистоганом каждое первое число…

— Груды, груды золота и еще кое-что получше, в бочках и сундуках, на глубине всего шести футов под слоем песка, — залопотал Старый моряк. — Силы небесные! На всех нас хватит, до самого последнего. И больше того, джентльмены, много больше. Широта и долгота мне известны. А также пеленги Львиной Головы с остова корабля на отмели и крюйс-пеленги с безымянных пунктов. Один я уцелел из всей нашей отважной, безумной и озорной команды.

— Итак, хотите вы подписать контракт? — перебил еврей несвязное бормотание старика.

— Какой ваш порт назначения?

— Сан-Франциско.

— Тогда так и напишем, что я нанялся к вам до прихода в Сан-Франциско.

Еврей, капитан и фермер одновременно кивнули.

— Но нам надо договориться еще о разных дополнительных условиях, — продолжал Доутри. — И прежде всего я должен получать ежедневно шесть кварт. Я к этому привык и уже слишком стар, чтобы менять свои привычки.

— Шесть кварт… спирта, я полагаю? — саркастически спросил еврей.

— Нет, пива, доброго английского пива. Об этом надо договориться заранее, так чтобы на борту был достаточный запас, сколько бы мы ни находились в плавании.

— Еще что-нибудь? — осведомился капитан.

— Да, сэр, — отвечал Доутри. — У женя есть собака, которая должна остаться при мне.

— Что еще? Жена, дети? — поинтересовался фермер.

— Ни жены, ни детей у меня нет, сэр. Зато есть негр, очень славный негр, и он тоже останется при мне. Он подпишет договор на десять долларов в месяц и будет работать с утра до ночи. Если же он будет работать только на меня, я прикажу ему подписать на два с половиной доллара.

— Восемнадцать дней на баркасе! — не своим голосом вскричал Старый моряк. Доутри даже вздрогнул. — Восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней в геенне огненной!

— Ей-богу, — заметил Доутри, — от этого вашего старого джентльмена можно получить разрыв сердца. Да, здесь мне понадобится немало пива.

— Э-ге, некоторые стюарды, видно, любят жить на широкую ногу, — заметил фермер, не обращая ни малейшего внимания на Старого моряка, все еще лопотавшего что-то о море и баркасе.

— А что, если мы не склонны принять на службу стюарда, привыкшего к столь комфортабельным путешествиям? — полюбопытствовал еврей, вытирая потную шею пестрым шелковым платком.

— Тогда, сэр, вы так и не узнаете, какого хорошего стюарда вы упустили, — беспечно отвечал Доутри.

— Не сомневаюсь, что в Сиднее не так-то трудно раздобыть стюарда, — живо отозвался капитан. — Во всяком случае, в прежнее время их было хоть пруд пруди.

— Благодарю вас, господин стюард, за то, что вы нас разыскали, — с язвительной любезностью подхватил еврей. — Весьма сожалеем, что не в состоянии удовлетворить ваши требования в пункте, касающемся…

— Я видел, как их засасывал песок, видел, как они уходили на глубину в шесть футов там, где вянут мангиферы, и растут кокосовые пальмы, и берег поднимается к Львиной Голове…

— Придержите язык! — раздраженно воскликнул фермер, причем его слова относились не столько к Старому моряку, сколько к капитану и еврею. — Кто снарядил эту экспедицию? И мне же еще слова сказать не дают. Моего мнения даже на спрашивают! Мне этот стюард по душе. Я считаю, что он нас устраивает. Он человек учтивый, и я уверен, что он будет беспрекословно выполнять все приказания. К тому же он отнюдь не дурак.

— В том-то и дело, Гримшоу, — примирительно отвечал еврей. — Принимая во внимание некоторую… как бы сказать?.. необычность нашей экспедиции, нам больше подошел бы стюард поглупее. Вдобавок, покорнейше прошу вас не забывать, что в эту экспедицию вы вложили не больше, чем я…

— А далеко ли вы оба уехали бы без меня и моих познаний в мореплавании? — вызывающе спросил капитан. — Не говоря уже о закладной под мою недвижимость, включая лучший доходный дом, который был выстроен в Сан-Франциско после землетрясения.

— А сейчас на ком все держится, скажите на милость? — Фермер подался вперед, уперев руки в колени, а пальцы его свисали вдоль громадных голеней чуть ли не до самых ступней; так, во всяком случае, показалось Доутри. — Вы, капитан Доун, больше гроша ломаного не выжмете из своей недвижимости, а на моей земле растет пшеница, с которой мы получаем наличные денежки. Вы, Симон Нишиканта, невесть как скопидомничаете, а между тем ваши ссудно-жульнические кассы по-прежнему дерут безбожные проценты с пропившихся матросов. И теперь вы еще задерживаете экспедицию в этой чертовой дыре, дожидаясь, покуда агенты переведут мне мои пшеничные денежки. Одним словом, либо мы немедленно подписываем контракт с этим стюардом на шестьдесят долларов и все прочее, либо я оставляю вас с носом, сажусь на первый же пароход и отправляюсь в Сан-Франциско.

Фермер вскочил и выпрямился во весь свой гигантский рост, так что Доутри даже взглянул, не стукнулся ли он теменем о потолок.

— Все вы мне осточертели, да, да, осточертели! — продолжал он выкрикивать. — Пора браться за дело! Давно пора! Мои деньги придут. Завтра они будут здесь. Надо подготовиться к отплытию, и надо взять этого стюарда, потому что он настоящий стюард. До остального мне дела нет — пусть везет с собой хоть две семьи!

— По-моему, вы правы, Гримшоу, — кротко согласился Нишиканта. — Мне вся эта история тоже начинает действовать на нервы. Простите мне мою вспыльчивость. Конечно, мы возьмем этого стюарда, раз он вам так понравился. Я просто подумал, что у него слишком шикарные замашки.

Он обернулся к Доутри.

— Вы понимаете, что чем меньше будет разговоров на берегу, тем лучше…

— Понятно, сэр. Я-то умею держать язык за зубами, но должен вам заметить, что о вас идет уже немало толков в порту.

— О цели нашей экспедиции? — спросил еврей.

Доутри утвердительно кивнул.

— Они-то и привели вас к нам? — Второй вопрос последовал так же быстро.

Доутри покачал головой.

— Покуда вы мне будете ежедневно выдавать мою порцию пива, я вашей охотой за кладом интересоваться не буду. Эти штуки мне не в новинку. Южные моря так и кишат искателями кладов. — Доутри готов был поклясться, что при этих его словах тревожный огонек блеснул в глазах Старого моряка.

— И должен вам сказать, сэр, — непринужденно добавил Доутри то, чего не стал бы говорить, не заметь он тревоги старика, — что Южные моря и вправду богаты кладами. Вот хотя бы Килинг-Кокос. Миллионы миллионов фунтов стерлингов ждут там счастливцев, которым известен правильный курс.

На этот раз Доутри готов был присягнуть, что Старый моряк почувствовал облегчение; дымка мечты снова заволокла его взор.

— Но я кладами не интересуюсь, сэр, — заключил Доутри. — Мне было бы пиво. Гоняйтесь за сокровищами, сколько вашей душе угодно, — раз у меня есть пиво, это дело не мое. Но честно вас предупреждаю, сэр, пока мы еще не подписали контракта: как только пиво кончится, я тут же начну интересоваться вашими делами. Откровенность — мой девиз.

— Значит, вы полагаете, что, кроме всего прочего, мы еще будем оплачивать ваше пиво? — спросил Нишиканта.

Это уж было так здорово, что Доутри едва верил своим ушам. Грешно не извлечь пользу из желания еврея помириться с фермером, которому агенты шлют и шлют деньги.

— Да, конечно, это входит в наши условия, сэр. В котором часу прикажете мне завтра явиться в агентство для подписания контракта?

— Бочки и сундуки, бочки и сундуки, несметные богатства под тонким слоем песка… — залопотал Старый моряк.

— Все вы тут немножко… того… — ухмыльнулся Доутри. — Но меня это не касается, покуда вы поите меня пивом, платите положенное жалованье каждое первое число и производите со мной окончательный расчет в Сан-Франциско; покуда вы выполняете свои обязательства, я готов идти с вами хоть к черту на рога и смотреть, как вы в поте лица выкапываете из песка сундуки и бочки. Мне ничего не надо, и я наймусь к вам, если вы этого хотите и соглашаетесь на мои условия.

Симон Нишиканта взглянул на остальных. Гримшоу и капитан Доун кивнули головами.

— Завтра в три в пароходном агентстве, — объявил еврей. — Когда вы приступите к исполнению обязанностей?

— А когда вы собираетесь сняться, сэр? — ответил вопросом Доутри.

— Послезавтра, чуть свет.

— Значит, я буду на борту завтра вечером.

Когда он выходил из кают-компании, до него донеслось: »…восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней геенны огненной…»

Глава десятая

Майкл покинул «Макамбо» так же, как явился на него, — через иллюминатор. Дело опять происходило вечером, и опять его принял на руки Квэк. Это было дерзкое предприятие, и действовать надо было быстро и умело, так как еще только начинало смеркаться. С помощью веревки, обвязанной под мышками Квэка, Доутри опустил своего прокаженного слугу с верхней палубы в покачивающуюся на волнах шлюпку.

У трапа он столкнулся с капитаном Дунканом, который счел необходимым предупредить его:

— Никаких штук с Киллени-боем не устраивать! Вы слышите, Доутри? Он должен вернуться в Тулаги вместе с нами.

— Слушаюсь, сэр, — отвечал стюард. — Я его для верности запер в своей каюте. Хотите взглянуть на него, сэр?

Искренность его тона показалась капитану подозрительной: уж не сумел ли вороватый насчет собак стюард заблаговременно припрятать Киллени где-нибудь на берегу?

— Что же, я не прочь с ним поздороваться, — отвечал капитан.

Каково же было его удивление, когда, войдя в каюту стюарда, они невольно разбудили Майкла, клубочком свернувшегося на полу. Но если бы капитан мог видеть через закрытую дверь, что стало твориться в каюте, когда он вышел оттуда, то его удивление не имело бы границ. Доутри непрерывным потоком сыпал в открытый иллюминатор все, что составляло его собственность, включая черепаховые пластинки, фотографии, висевшие на стене, и даже отрывной календарь. Напоследок в иллюминатор был просунут Майкл, получивший приказание вести себя тихо. Через несколько минут в каюте остался только сундук и два чемодана, не прошедшие в отверстие иллюминатора, но зато полностью очищенные от своего содержимого.

Когда через несколько минут Доутри вышел на палубу и остановился у трапа почесать язык с таможенным чиновником и помощником штурмана, капитану, мимоходом взглянувшему на него, и во сне не могло присниться, что он в последний раз видит своего стюарда. Доутри спускался по трапу с пустыми руками, и собака не бежала за ним следом, как обычно. Сойдя на берег, он неторопливо пошел по пристани, вдоль полосы электрических огней.

Дэг Доутри заплатил за Майкла, и заплатил очень щедро. Боясь вызвать подозрения, он не взял причитающегося ему жалованья в конторе «Бернс Филп» и таким образом поставил крест на сумме в двадцать фунтов, — иными словами, той самой, которую когда-то в Тулаги понадеялся выручить за Майкла. Он украл его, чтобы продать. И сам же заплатил за него деньги, на которые в свое время польстился.

Хорошо сказал кто-то: лошадь облагораживает благородного, а подлеца делает еще подлее. То же самое и с собакой. Кража собаки с корыстной целью унизила Доутри, и виной этого унижения был Майкл. И тот же Майкл облагородил его: стюард из одной только любви к нему, любви, для которой нет ничего слишком дорогого, поступился весьма значительной суммой. И когда шлюпка скользила по водной глади, освещаемой южными звездами, Дэг Доутри готов был положить жизнь за то, чтобы не расстаться с собакой, которую он в свое время считал пригодной только на оплату нескольких дюжин пива.

На рассвете, когда буксир вывел «Мэри Тернер» из гавани, Доутри, Квэк и Майкл последний раз в жизни бросили взгляд на Сидней.

— Довелось-таки моим старым глазам еще разок полюбоваться этой прекрасной гаванью, — пробормотал Старый моряк, стоявший рядом, и Доутри невольно заметил, как фермер и ростовщик навострили уши при этих словах и обменялись многозначительными взглядами.

— В пятьдесят втором, в тысяча восемьсот пятьдесят втором году, вот в такой же великолепный день мы пили и пели на палубах «Бдительного», выходившего из Сиднея. Отличное это было судно, джентльмены, красивое и с превосходной оснасткой. А команда, какая команда! Один моложе другого, сорокалетних среди нас не было, сумасбродная, веселая команда! Капитан у нас, правда, считался пожилым — шутка ли, двадцать восемь лет! Третьему помощнику едва минуло восемнадцать, и кожа у него на лице, не знавшая прикосновения бритвы, была как бархат. Он тоже погиб на баркасе. А капитан испустил дух под пальмами на безымянном острове; смуглые девушки рыдали над ним, стараясь опахалами охладить воздух, который он ловил запекшимися губами.

Дальше Дэг Доутри уже не слушал: он отправился вниз, чтобы приступить к своим новым обязанностям. Перестилая белье на койках и давая указания Квэку, силившемуся отмыть грязную, запущенную палубу, он нет-нет да покачивал головой и бормотал себе под нос: «Молодчина старик, настоящий молодчина! Не всякий глуп, кто с виду дурак».

Красота обводов «Мэри Тернер» объяснялась тем, что шхуна эта была в свое время построена для охоты на тюленей. Поэтому же все ее помещения были очень просторны. В носовом кубрике имелось двенадцать коек, а помещалось там только восемь матросов-скандинавов. Пять кормовых кают занимали три охотника за кладами, Старый моряк и, наконец, широкоплечий, благодушный помощник капитана из обрусевших финнов, которого все называли мистер Джексон, за невозможностью выговорить фамилию, проставленную им под контрактом.

Было на «Мэри Тернер» еще одно помещение под палубой, отделенное от кормовых кают толстой переборкой. В него входили через люк прямо с палубы. Между люком и полуютом находился камбуз, а под ним — просторная каюта с шестью койками в один ярус. Каждая койка была вдвое шире, чем матросская койка в кубрике, и снабжена пологом.

— Недурное помещеньице, что скажешь, Квэк? — обратился Доутри к своему семнадцатилетнему папуасу с пергаментным лицом столетнего старца, с ногами, как у живого скелета, и огромным животом престарелого японского борца. — Верно?

Квэк, потрясенный этой роскошью и простором, только восторженно вращал глазами.

— А эта коечка вам не подойдет? — подобострастно спросил кок, маленький китаец, показывая рукой на свою койку и ожидая одобрения белого человека.

Доутри покачал головой. Он давно усвоил, что с корабельными коками следует поддерживать добрые отношения, потому что народ это заведомо ненадежный и подверженный приступам ярости; им ничего не стоит по пустячному поводу пырнуть кого-нибудь ножом или сечкой. А кроме того, напротив имелась другая койка, ничуть не хуже. Койку по левому борту рядом с койкой китайца Доутри приказал занять Квэку. Таким образом, в распоряжении его и Майкла оставалась вся правая сторона каюты — иными словами, целых три койки. Ткнув пальцем в ту, что находилась рядом с его койкой, он произнес: «Киллени-бой» — и потребовал, чтобы Квэк и китаец это запомнили. Доутри показалось, что кок, называвший себя А Моем, не очень доволен таким распределением, но он не придал этому значения, а только мысленно отметил: «Любопытная штука — китаец, а считает для себя унизительным спать в одной каюте с собакой».

Через полчаса, когда Доутри, покончив с уборкой кормовых кают, вернулся к себе, намереваясь послать Квэка за бутылкой пива, он заметил, что А Мой перетащил все свои пожитки на третью койку по правому борту. Таким образом, он оказывался в одном ряду с Доутри и Майклом, вторая же половина каюты оставалась целиком в распоряжении Квэка. Любопытство Доутри разгорелось.

— Что ему на ум взбрело, этому китаезе? — обратился он к Квэку. — Не хочет спать на одной стороне с тобой. Почему, черт возьми? Ничего не понимаю. Я, ей-богу, на него рассержусь.

— Может, китайца боится — моя будет его кушать?

Квэк ухмыльнулся, — ему не часто случалось острить.

— Ладно же, — решил стюард. — Мы доищемся, в чем тут дело. А ну, перетаскивай мои вещи на твою койку, а твои на мою.

Когда это было сделано и Квэк, Майкл и А Мой очутились на одной стороне, а стюард в полном одиночестве на другой. Доутри отправился наверх и снова взялся за работу. Придя через некоторое время обратно, он обнаружил, что А Мой вновь перекочевал на левую сторону с той только разницей, что на этот раз облюбовал себе крайнюю койку.

«Можно подумать, что этот мошенник ко мне неравнодушен», — улыбнулся про себя стюард.

Он никак не мог взять в толк, почему А Мой всегда устраивается на противоположной от Квэка стороне.

— Моя любит менять, — объяснил маленький кок, робко и заискивающе глядя на Доутри, когда тот однажды припер его к стене этим вопросом. — Всегда менять, много менять, понимаешь?

Доутри покачал головой и ничего не понял, ибо раскосые глаза китайца теперь уже не останавливались с таким страхом на скрюченных пальцах левой руки Квэка и на его лбу, где кожу между глаз, чуть-чуть более темную и утолщенную, уже прорезали три короткие вертикальные линии, или морщинки, сообщавшие его лицу сходство со львом; «львиный лик» — называли врачи эту печать страшной болезни.

Время шло, и стюард после пяти бутылок пива нередко забавлялся, меняясь койками с Квэком. И А Мой тоже неизменно перекочевывал на другую койку, но Доутри по-прежнему не замечал, что он никогда не занимал койки, на которой раньше спал Квэк. Не заметил он этого и тогда, когда А Мой, после того как Квэк уже перебывал на всех койках, сделал себе парусиновый гамак, подвесил его к потолку и с тех пор каждую ночь спокойно и мирно покачивался в нем.

Доутри просто не задумывался над этим, раз и навсегда объяснив себе поведение кока непостижимостью китайского склада ума. Правда, он все же заметил, что в камбуз Квэк никогда не допускался. Заметил и еще одну странность, о которой отозвался в следующих выражениях: «Отродясь не видывал такого чистоплюя китайца. В камбузе — ни пылинки, и вокруг койки и вообще куда ни глянь. Только и знает, что мыться, или стирать свои простыни, или шпарить посуду кипятком. Ей-богу, он даже одеяла кипятит каждую неделю!»

Может быть, стюард об этом не задумывался потому, что мысли его были заняты другим. Он внимательно присматривался к пяти обитателям кормовых кают, взвешивая все обстоятельства, старался учесть отношение каждого из пяти к этим обстоятельствам и друг к другу, — на все это требовалось немало времени. Кроме того, ведь «Мэри Тернер» неслась по волнам. А на свете нет бывалого моряка, который не интересовался бы курсом своего судна и

ближайшим портом назначения.

— Похоже, что мы движемся вдоль линии, которая проходит севернее Новой Зеландии, — сам себе говорил Доутри, раз сто украдкой заглянув в нактоуз. Но этим и исчерпывались сведения о курсе шхуны, которые ему удалось наскрести: капитан Доун сам вел наблюдения, к разработке их не допускал никого, даже помощника, и педантично запирал на ключ карту и вахтенный журнал. Правда, Доутри знал, что в каютах происходят жаркие споры, при которых на все лады склоняются широты и долготы; но это и все. Ему было строго-настрого внушено, что во время таких «совещаний» он волен находиться где угодно, кроме… каюты, в которой происходит «совещание». Однако он не мог не заметить, что все они заканчивались форменными баталиями: господа Доун, Нишиканта и Гримшоу кричали друг на друга, стучали кулаками по столу, и тишина в каюте воцарялась только тогда, когда они терпеливо и очень вежливо выспрашивали Старого моряка. Чем-то он их выводит из себя, втихомолку решил Доутри, но разгадать, чем именно, не мог.

Старого моряка звали Чарльз Стоу Гринлиф. Это Доутри узнал от него самого, но больше ничего от него не добился, хроме несвязного бормотания о жаре на баркасе и сокровищах на глубине шести футов под слоем песка.

— Здесь кто-то кого-то дурачит, а кто-то с удовольствием за этим наблюдает, — попробовал однажды стюард позондировать почву. — Я, например, уверен, что смотрю интересный спектакль. И чем больше я смотрю, тем больше восхищаюсь.

Старый моряк посмотрел прямо в глаза стюарду своими белесыми, невидящими глазами.

— На «Бдительном» все были молоды, почти мальчики, — пробормотал он.

— Да, сэр, — охотно согласился Доутри. — Из ваших слов видно, что «Бдительный» с его молодой командой был веселый корабль. Не то, что наша шхуна, битком набитая стариками. Только я думаю, сэр, что эта молодежь не умела вести такую игру, какая ведется здесь, на борту. Я просто восхищаюсь ею, сэр.

— Сейчас я вам кое-что скажу, — отвечал Старый моряк с таким таинственным видом, что Доутри даже наклонился к нему, желая получше расслышать. — Ни один из стюардов на «Бдительном» не умел так приготовить виски с содовой, как умеете вы. В ту пору еще не знали коктейлей, но херес и настойки у нас не переводились. И закусок было сколько угодно, самых лучших закусок.

И вот еще что, — неожиданно продолжил он, как раз вовремя, чтобы предотвратить третью попытку Доутри разобраться в положении вещей на шхуне и в той роли, которую во всем этом играл Старый моряк. — Сейчас пробьет пять склянок, и я с удовольствием отведал бы перед обедом одного из ваших восхитительных коктейлей.

После этого случая Доутри стал еще подозрительнее присматриваться к старику. Но с течением времени все больше убеждался, что Чарльз Стоу Гринлиф просто дряхлый старец, искренне убежденный в существовании клада в Южных морях.

Как-то раз, надраивая медные поручни трапа, Доутри подслушал, как старик рассказывал Гримшоу и армянскому еврею, откуда у него такой ужасный рубец и каким образом он лишился пальцев на левой руке. Эта парочка непрерывно подливала ему вина, надеясь, что у старика развяжется язык и они вытянут из него еще какие-нибудь дополнительные сведения.

— Это было на баркасе, — донесся до ушей стюарда шамкающий старческий голос. — На

одиннадцатый день вспыхнул бунт. Все мы, на корме, оказали дружное сопротивление. То было подлинное безумие. Мы тяжко страдали от голода, но много страшнее была жажда. Из-за воды все и началось. Мы, видите ли, слизывали росу с лопастей весел, с планшира, с банок и внутренней стороны обшивки. Каждый из нас имел право утолять жажду только на своем участке. Так, например, румпель и половина кормовой обшивки правого борта стали неприкосновенной собственностью второго офицера. И никто из нас не позволял себе посягнуть на его права. Третий офицер, восемнадцати лет от роду, был прелестный и отважный мальчик. Он разделял со вторым офицером право на поверхность кормовой обшивки. Они провели разграничительную линию и, вылизывая скудную влагу, осевшую за ночь, ни сном, ни духом не помышляли о возможности захвата соседней территории. Это были подлинно честные люди.

Не так обстояло дело с матросами. Они пререкались из-за каждой росинки, и ночью, накануне событий, о которых я вам рассказываю, один пырнул другого ножом за такую кражу. В ту ночь, дожидаясь часа, когда роса пообильнее выпадет на принадлежащую мне поверхность, я услышал, как кто-то уже слизывает ее с планшира, бывшего моей собственностью от задней банки до самой кормы. Я очнулся от забытья, в котором мне представлялись кристально чистые источники и полноводные реки, и прислушался, боясь, что негодяй проникнет в мои владения.

Он и вправду приближался к ним, и я уже слышал, как он с кряхтеньем и стонами водит языком по влажным доскам, точно лошадь в ночном, щиплющая траву где-то все ближе и ближе.

По счастью, в руках у меня была уключина, я готовился слизать с нее скудные капли. Я не знал, кто преступник, но когда этот человек добрался до моих владений и, кряхтя, начал слизывать драгоценную влагу, я размахнулся. Уключина треснула его прямо по носу — это оказался наш боцман, — и бунт вспыхнул. Нож боцмана полоснул меня по лицу и отрезал мне пальцы. Третий офицер, восемнадцатилетний юноша, дрался бок о бок со мной. Он спас меня, и, за минуту до того, как я лишился сознания, мы вдвоем выкинули тело боцмана за борт.

В каюте зашаркали ногами и задвигали стульями, так что Доутри вновь принялся за оставленную было чистку. Усердно натирая медные поручни, он потихоньку беседовал сам с собой: «Старик, видно, побывал в изрядных переделках. Впрочем, на море чего-чего только не случается».

— Нет, — снова послышался тонкий фальцет Старого моряка, отвечающего на чей-то вопрос. — Я потерял сознание не от ран. Напряженная борьба потребовала всех моих сил. Я был очень слаб. Что же касается ран, то в моем организме было так мало влаги, что они почти не кровоточили. Но самое удивительное, что в тех условиях раны так быстро затянулись. Второй офицер зашил их на следующий день иголкой, которую сделал из костяной зубочистки, нитками, надерганными из куска старой просмоленной парусины.

— Разрешите узнать, мистер Гринлиф, — услышал Доутри голос Симона Нишиканты, — были ли перстни на ваших отрезанных пальцах?

— Да, и один очень красивый. Я нашел его потом на дне баркаса и подарил торговцу сандаловым деревом, который спас меня. В этом перстне был большой алмаз. Я заплатил за него сто восемьдесят гиней английскому моряку в Барбадосе. Он, вероятно, украл его, — такой алмаз, несомненно, стоил дороже. Это был прекрасный камень. Имейте в виду, что торговец сандаловым деревом не только спас мне жизнь за этот камень, но истратил еще сотни фунтов на мою экипировку и вдобавок купил мне билет от острова Четверга до Шанхая.

Вечером Доутри услышал, как Симон Нишиканта, стоя на неосвещенном полуюте, говорил Гримшоу:

— Его перстни не идут у меня из головы. В наше время ничего подобного не увидишь. Это действительно старинные перстни. Не те, что теперь называются мужскими кольцами, — такие вещи в старину носили настоящие джентльмены, — я хочу сказать: знатные люди. Хорошо бы, что-нибудь подобное попало мне в заклад. Эти штучки стоят больших денег.

— Должен тебе сказать, Киллени-бой, что я, пожалуй, еще до конца плавания пожалею: зачем я согласился на жалованье, а не потребовал доли в прибылях, — так Доутри поверял Майклу свои сокровенные мысли, осушая на сон грядущий шестую бутылку пива, в то время как Квэк разувал его. — Верь мне, Киллени, этот старый джентльмен знает, что говорит, он в свое время был молодец хоть куда. Ни за что ни про что людям пальцев не отрубают, и лица не исполосовывают, и колец, от которых у еврея-ростовщика слюни текут, тоже никто спроста не носит.

Глава одиннадцатая

Однажды, когда «Мэри Тернер» была еще в открытом море, Дэг Доутри, сидя в трюме среди бочонков с пресной водой и покатываясь со смеху, перекрестил шхуну в «Корабль дураков». Но это случилось несколько позднее. А до тех пор он с таким рвением выполнял свои обязанности, что даже капитан Доун ни к чему не мог придраться.

Всего усерднее стюард служил Старому моряку, который сделался предметом его восхищения, пожалуй, даже любви. Старик очень отличался от своих компаньонов. Это были корыстолюбцы, и вся жизнь для них сводилась к погоне за долларами. Доутри, по характеру великодушный и беспечный, не мог не оценить широкой натуры Старого моряка, видимо, любившего когда-то пожить в свое удовольствие и всегда ратовавшего за то, чтобы сокровища, которые им предстояло отыскать, были честно поделены между всеми.

— Вы не останетесь в накладе, стюард, даже если мне придется разделить с вами свою долю, — частенько заверял он Доутри, когда тот бывал к нему особенно внимателен. — Там груды, груды сокровищ. А я человек одинокий, и жить мне осталось недолго, куда же мне так много.

Итак, «Корабль дураков» плыл дальше, и все люди на нем только к знали, что дурачить друг друга, начиная с ясноглазого добродушного финна, которому запах сокровищ так нащекотал ноздри, что он подделал ключ и регулярно выкрадывал из запертого стола капитана Доуна вахтенный журнал с отметками о ежедневном местонахождении судна, и кончая коком А Моем, всячески сторонившимся Квэка, но ни разу не намекнувшим об опасности, которой подвергались пассажиры и команда, соприкасаясь с носителем страшной заразы.

Сам Квэк о своей болезни не думал и не беспокоился. Он знал, что люди, случается, хворают ею, но болей он, собственно, никаких не испытывал, и в его курчавую голову никогда не закрадывалась мысль, что его хозяин и не подозревает о болезни. По той же самой причине он не догадывался, почему А Мой старается не подпускать его к себе. Да и вообще ничто не тревожило Квэка. Божество, которое он чтил превыше всех божеств моря и джунглей, было тут, возле него, а там, где бог, — даже если этот бог стюард, — там и рай.

То же самое испытывал и Майкл. Как Квэк любил, более того — обожал шестиквартового Доутри, так же любил и обожал его Майкл. Для Майкла и Квака ежедневное, ежечасное лицезрение Дэга Доутри было равносильно постоянному пребыванию в лоне Авраамовом[3]. Господа Доун, Нишиканта и Гримшоу поклонялись идолу — золоту. Бог Квэка и Майкла был

живой бог; они ежедневно слышали его голос, ощущали тепло его рук, в каждом прикосновении чувствовали биение его сердца.

Не было у Майкла большей радости, чем часами сидеть с Доутри и вторить мелодиям, которые тот пел или мурлыкал себе под нос. Более одаренный, чем Джерри, Майкл еще быстрее все усваивал, а поскольку его учили петь, то он и пел, так, как Вилле Кеннан не удавалось заставить петь Джерри.

Майкл мог провыть, вернее — пропеть (настолько его вой был мелодичен и приятен для слуха) любую песню, которую напевал ему стюард, учитывая возможность его диапазона. Мало того, он мог петь и один совсем простые мелодии, вроде «Родина любимая моя», «Боже, храни короля» и «Спи, малютка, спи».

Бывало и так, что стюард, отойдя подальше, только чуть слышно давал ему тон, а Майкл уже поднимал морду кверху и пел «Шенандоа» и «Свези меня в Рио».

Случалось, что и Квэк, когда стюарда не было поблизости, доставал свой варганчик, и Майкл, зачарованный наивными звуками этого примитивного инструмента, пел вместе с ним варварские заклинания острова Короля Вильгельма. Вскоре, к величайшему восторгу Майкла, появился еще один маэстро. Звали этого маэстро — Кокки. Во всяком случае, так он назвал себя, представляясь Майклу при первой встрече.

— Кокки, — храбро объявил он, нимало не испугавшись и даже не сделав попытки к бегству, когда Майкл свирепо бросился на него. И человеческий голос, голос бога, исходивший из горла крохотной белоснежной птички, заставил Майкла попятиться. При этом он усиленно нюхал воздух, ища глазами человека, только что говорившего с ним. Но человека не было… Был только маленький какаду, который, дерзко покачивая головкой, повторил: «Кокки!»

Еще в Мериндже, чуть ли не в первые дни жизни Майкла, ему было внушено, что куры неприкосновенны. Собаке не только не полагалось нападать на кур, столь почитаемых мистером Хаггином и окружавшими его белыми богами, — напротив, ей вменялось в обязанность охранять их. А это создание — безусловно не курица, а скорей пернатый обитатель джунглей, то есть законная добыча всякого пса, — вдруг заговорило с ним голосом бога.

— Убери лапу! — скомандовало таинственное существо так повелительно, так по-человечески, что Майкл опять стал озираться вокруг: кто же это все-таки говорит?

— Убери лапу! — опять послышалась команда крохотного пернатого создания. Затем визгливый голос, до невозможности похожий на голос А Моя, выпалил целый поток китайских слов, так что Майкл опять, правда, в последний раз, огляделся в поисках невидимого болтуна.

Тут Кокки разразился диким, пронзительным хохотом, и Майкл, насторожив уши и склонив голову набок, уловил в этом хохоте отдельные нотки смеха множества знакомых ему людей.

И Кокки, создание в несколько унций весом, футлярчик из тончайших косточек и горсти перьев, в котором, однако, билось сердце, такое же большое и храброе, как многие сердца на «Мэри Тернер», тут же стал другом, товарищем, даже повелителем Майкла. Сплошной комочек дерзости и отваги, Кокки немедленно завоевал его уважение. Майкл, который нечаянным движением лапы мог переломить тонкую шейку Кокки и навеки угасить его светящиеся отвагой глазки, сразу же понял, что с ним следует обходиться бережно, и дозволял ему тысячи вольностей, которых никогда бы не дозволил Квэку.

В Майкле прочно укоренился, унаследованный, верно, от самой первой собаки на земле,

инстинкт «защиты пищи». Он никогда не думал об этом, и кусок мяса, до которого он уже дотронулся лапой и к которому хоть раз прикоснулся зубами, защищал так же непроизвольно, как непроизвольно билось его сердце и легкие вдыхали воздух. Одному стюарду, и то благодаря огромному усилию воли и самообладанию, он разрешал трогать пищу после того, как сам дотронулся до нее. Даже Квэк, обычно кормивший Майкла по инструкциям Доутри, знал раз и навсегда, что его пальцам не уцелеть, если он дотронется до пищи, уже поступившей в распоряжение собаки. И только Кокки, крохотный комочек перьев, мимолетная вспышка жизни и света с голосом бога, дерзко и храбро нарушал табу — неприкосновенность пищи.

Усевшись на край Майкловой миски, этот маленький храбрец, выпорхнувший из тьмы на свет жизни, этот огонек, блеснувший во мраке, взъерошив свой ярко-розовый хохолок, то расширяя, то вновь суживая черные бусинки глаз и повелительно покрикивая, как свойственно богам, заставлял Майкла отступать и неторопливо выбирал самые лакомые кусочки из его порции. А все потому, что Кокки знал, прекрасно знал, как обходиться с Майклом. Непреклонный в своих требованиях, он умел озорничать и задираться, как пьяный гуляка, но умел и неотразимо обольщать, точно первая женщина, изгнанная из рая, или последняя в поколении Евиных дочерей. Когда Кокки взбирался на Майкла и, прыгая на одной лапке, другой теребил его загривок или, прильнув к его уху, ласкался к нему, жесткая шерсть Майкла ложилась шелковыми волнами, глаза его принимали блаженно-идиотское выражение, и он готов был исполнить любое желание, любой каприз Кокки.

Кокки так сдружился с Майклом еще и потому, что А Мой быстро отказался от своей птицы. А Мой купил ее за восемнадцать шиллингов в Сиднее у одного матроса, с которым торговался битый час. Но когда в один прекрасный день он увидел, что Кокки сидит на скрюченных пальцах левой руки Квэка и неумолчно болтает, он почувствовал к нему такое отвращение, что даже позабыл о своих восемнадцати шиллингах.

— Хочешь птица? Любишь птица? — предложил А Мой.

— Менять, моя будет менять, — отвечал Квэк, считая само собой разумеющимся, что ему предлагают меновую сделку, и уже волнуясь, не льстится ли старикашка на его драгоценный варганчик.

— Нет менять, — заявил А Мой. — Хочешь птица, бери птица.

— Как бери птица? — удивился Квэк. — А если у меня нет, чего твоя надо?

— Нет менять, — повторил А Мой. — Хочешь птица, любишь птица — бери. Все.

И вот смелый пернатый комочек жизни с отважным сердцем, прозванный людьми «Кокки», да и сам так именовавший себя, родившийся на Новых Гебридах, в девственном лесу острова Санто, пойманный там в силок чернокожим людоедом и проданный за шесть палочек табаку и каменный топор умиравшему от лихорадки шотландскому купцу, который со своей стороны за четыре шиллинга перепродал его работорговцу, далее обмененный на черепаховый гребень — изделие английского кочегара по староиспанскому образцу, — проигранный потом в покер тем же кочегаром и отданный следующим своим владельцем за старый аккордеон стоимостью по меньшей мере двадцать шиллингов и, наконец, за восемнадцать шиллингов попавший в руки старого судового кока А Моя, сорок лет назад зарезавшего в Макао свою молодую жену-изменницу и скрывшегося на первом попавшемся судне, — Кокки, смертный или бессмертный, как всякая искорка жизни на нашей планете, стал собственностью Квэка, прокаженного папуаса[4], раба некоего Дага Доутри, в свою очередь, бывшего слугой других людей, которым он смиренно говорил: «слушаюсь, сэр», «никак нет, сэр» и «благодарю вас, сэр».

Майкл сыскал себе и еще одного друга, хотя Кокки не разделял его симпатий. Это был Скрэпс, неуклюжий щенок ньюфаундленд, не имевший другого хозяина, кроме шхуны «Мэри Тернер»; ни один человек из ее команды не предъявлял на него прав, не желая сознаться, что именно он привел щенка на борт. Щенка назвали Скрэпсом, и, не будучи ничьей собственностью, он был собственностью всех, — так что мистер Джексон, например, посулил снести А Мою голову с плеч, если тот будет плохо кормить щенка, а Сигурд Хальверсен попросту вздул на баке Генрика Иертсена, когда тот пнул сапогом Скрэпса, путавшегося у него в ногах. И это еще не все. Когда жирный колосс Симон Нишиканта, как барышня, любивший писать нежные и расплывчатые акварельные картинки, запустил складным стулом в Скрэпса, ненароком толкнувшего его мольберт, громадная рука Гримшоу так тяжело опустилась на плечо ростовщика, что он закрутился на месте и едва не шлепнулся на палубу, а плечо его еще долго было покрыто синяками и здорово ныло.

Майкл, хотя уже и взрослый пес, был по природе до того весел и добродушен, что наслаждался нескончаемой возней со Скрэпсом. В сильном теле Майкла жил столь сильный инстинкт игры, что под конец щенок уже изнемогал и валился на палубу, задыхаясь, смеясь и беспомощно отбиваясь передними лапами от притворно яростных атак Майкла, притворных, несмотря на то, что забияка Скрэпс был раза в три больше его, а о тяжести своих лап, да и всего тела, помышлял так же мало, как слоненок, топчущий поросшую маргаритками лужайку. Отдышавшись, Скрэпс опять принимался за свое, а уж Майкл и подавно от него не отставал. Эти игры были прекрасной тренировкой для Майкла, укреплявшей его физически и духовно.

Глава двенадцатая

Так вот и продолжалось плавание на «Корабле дураков». Майкл возился со Скрэпсом, почитал Кокки, который то помыкал им, то ласкался к нему, и пел со своим обожаемым стюардом; Доутри ежедневно выпивал шесть кварт пива, каждое первое число получал жалованье и пребывал в убеждении, что Чарльз Стоу Гринлиф — лучший человек на борту «Мэри Тернер»; Квэк, не думая о том, что кожа у него на лбу все темнеет и утолщается по мере развития страшной болезни, усердно служил своему господину и любил его; А Мой бегал от папуаса, как от чумы, мылся по нескольку раз на дню и каждую неделю кипятил свои одеяла; капитан Доун вел судно и думал только о своем доходном доме в Сан-Франциско; Гримшоу, сложив на колоссальных коленях похожие на окорока руки, издевался над ростовщиком, требуя, чтобы тот вложил в предприятие сумму, не меньшую, чем вложил он, Гримшоу, со своих пшеничных доходов; Симон Нишиканта вытирал потную шею грязным носовым платком и с утра до вечера писал акварели; помощник, вооруженный подобранным ключом, с удивительной методичностью выкрадывал вахтенный журнал из стола капитана; а Старый моряк тешил свою душу шотландским виски с содовой, курил благоуханные гаванские сигары — три штуки на доллар, — припасенные для участников экспедиции, и бормотал что-то о «геенне огненной» на баркасе, о безымянных пунктах и сокровищах, скрытых под слоем песка.

Та часть океана, которую бороздила сейчас шхуна, по мнению Доутри, ровнешенько ничем не отличалась от всего остального океана. Полоса земли нигде не прорезала водного пространства. Извечный, неизменный круг, замкнутый горизонтом, и в центре его — судно. Только компас позволял определить курс «Мэри Тернер». Солнце безусловно вставало на востоке и безусловно садилось на западе, что, разумеется, подтверждалось девиацией и склонением компаса, а по ночам светила и созвездия свершали свой неизменный путь по небосводу.

И в этой части океана матросы дежурили на марсе с рассвета до сумерек, когда «Мэри Тернер» ложилась в дрейф. Время шло, цель, по словам Старого моряка, приближалась, и трое

акционеров предприятия стали сами подниматься на мачты. Гримшоу удовольствовался тем, что стоял на салинге грот-мачты. Капитан Доун залезал выше и устраивался на фок-мачте, верхом на фор-марса-рее. А Симон Нишиканта, забросив вечное писание моря и неба во всех их оттенках, достойное кисти молоденькой пансионерки, поддерживаемый и подпираемый двумя худощавыми ухмыляющимися матросами, карабкался по выбленкам бизань-мачты и, с трудом взобравшись на салинг, подносил к глазам, затуманенным жаждой золота, лучший из невыкупленных у него биноклей, впиваясь взором в залитую солнцем водную гладь.

— Странно, — бормотал Старый моряк, — в высшей степени странно. Те самые места. Ошибки быть не может. Я полностью доверился нашему третьему помощнику. Ему едва минуло восемнадцать, но он управлял кораблем лучше самого капитана. Разве после восемнадцати дней пути он не привел баркас к коралловому острову? На утлой лодчонке, без компаса, с одним только секстаном. Он умер, но курс, который он, умирая, наметил мне, был настолько правилен, что я достиг атолла на следующий же день после того, как его тело было предано океану.

Капитан Доун пожимал плечами и вызывающим взглядом отвечал на недоверчивый взгляд армянского еврея.

— Уйти под воду остров не мог, — спешил нарушить неприятное молчание Старый моряк. — Ведь это остров, а не банка или риф. Высота Львиной Головы

— три тысячи восемьсот тридцать пять футов. Капитан и помощник при мне триангулировали ее.

— Я прочесал все море, — сердито прерывал его капитан Доун, — а гребень у меня не настолько редкий, чтобы между его зубьями мог проскочить пик и четыре тысячи футов высотой…

— Странно, странно, — бурчал Старый моряк то ли в ответ на свои мысли, то ли обращаясь к охотникам за сокровищами, и вдруг с просветлевшим лицом воскликнул: — Ну конечно же, капитан Доун, изменилось склонение! Приняли ли вы во внимание изменения, которые неизбежно должны были произойти за полстолетия? Насколько я понимаю, хотя мало что смыслю в навигации, в ту пору склонение магнитной стрелки не было так подробно и точно изучено, как в наши дни.

— Широта всегда была широтой, а долгота долготой, — отвечал капитан.

— Склонение и девиация принимаются в расчет при прокладке курса и счислении пути.

Поскольку для Симона Нишиканты все это было китайской грамотой, он предпочел встать на сторону Старого моряка.

Но Старый моряк был человеком учтивым. Согласившись с мнением еврея, он спешил воздать должное и словам капитана.

— Какая жалость, — заметил он, — что у вас, капитан, только один хронометр. Возможно, что тут все дело в хронометре. Как это вы вышли в море, не запасшись вторым хронометром?

— Что касается меня, то я был согласен на два, — защищался еврей. — Вы свидетель, Гримшоу!

Фермер нехотя кивнул, а капитан злобно воскликнул:

— На два, но не на три!

— Да, но если два все равно что один, как вы сами сказали, — Гримшоу может это подтвердить, — то три все равно что два, только расход лишний.

— Но если у вас два хронометра, как вы определите, который из них врет? — осведомился капитан Доун.

— Понятия не имею, — отвечал ростовщик, скептически пожимая плечами.

— Если вы не можете определить, который из двух врет, так как же вы определите, какой врет из двадцати? С двумя по крайней мере пятьдесят процентов вероятности, что врет либо тот, либо другой.

— Но неужели вы не в состоянии понять…

— Я отлично понимаю, что все ваши навигационные разговоры — сущий вздор. У меня в ссудных кассах работают четырнадцатилетние мальчишки, которые больше вас смыслят в мореплавании. Спросите их: если два хронометра — все равно что один, то почему две тысячи хронометров лучше, чем один? Они вам в секунду ответят, что если два доллара не лучше одного, так и две тысячи не лучше. Тут достаточно простейшего здравого смысла.

— Нет, вы не правы в основном, — вмешался Гримшоу. — Я уж тогда говорил, что если мы принимаем в долю капитана Доуна, то только потому, что нам нужен опытный моряк; мы с вами в навигации ни черта не смыслим. Вы со мной согласились, а как дошло до покупки трех хронометров, так сделали вид, что не хуже его разбираетесь в мореплавании. На самом деле вы просто испугались расхода. Боязнь потратиться — единственная идея, которую вмещает ваша башка. Вы только и думаете, как бы не переплатить несколько центов за лопату, которой вы будете вырывать из земли клад в десять миллионов долларов.

Дэг Доутри поневоле слышал иногда эти разговоры, походившие скорей на перебранку, чем на деловое совещание. Кончались они непременно тем, что в Симона Нишиканту, по морскому выражению, «вселялся черт». Обозленный, он часами ни с кем не разговаривал и никого не слушал. Засев по обыкновению за свои акварели, он внезапно приходил в ярость, рвал их в клочья и топтал ногами, затем вдруг доставал свое крупнокалиберное автоматическое ружье, усаживался на носу шхуны и пытался подстрелить какого-нибудь отбившегося от стаи дельфина, тунца или гринду. Видно, у него становилось легче на душе, когда, всадив пулю в тело плещущегося на волнах пестроокрашенного морского животного, он навек прекратил буйную, радостную игру этого существа и смотрел, как оно, перевернувшись на бок, медленно погружается в смертный мрак морской пучины.

Когда вблизи резвилось стадо китов и Нишиканте удавалось причинить боль хотя бы одному из них, он был на верху блаженства. Его пуля, словно бич, впивалась в тело левиафана[5], и тот, как жеребенок, которого нежданно огрели кнутом, подскакивал в воздух или, вдруг взмахнув могучим хвостом, исчезал под водой и бешено мчался прочь, вспенивая поверхность океана, пока, наконец, не скрывался с глаз.

Старый моряк только грустно покачивал головой, а Дэг Доутри, который тоже страдал от этого бесцельного мучительства безобидных животных, спешил для успокоения старика принести ему его любимую сигару. Гримшоу презрительно кривил губы и бормотал:

— Экий мерзавец! Вот уж подлец так подлец! Ни один человек, в котором еще осталось что-то человеческое, не станет вымещать свою злобу на этих безобидных созданиях. Я с детства знаю

таких типов: если он вас невзлюбит или обидится за то, что вы посмеялись над его плохим ответом по грамматике или арифметике, так он способен в отместку убить вашу собаку… или — еще того лучше — отравить ее. В доброе старое время в Колусе мы таких типов просто-напросто вздергивали на сук — для оздоровления воздуха.

Однажды и капитан Доун решительно запротестовал против подобных забав.

— Послушайте-ка, Нишиканта, — побледнев, проговорил он трясущимися от гнева губами. — То, что вы делаете, — пакость, и ничего, кроме пакости, из этого не получится. Я знаю, что говорю. Вы не имеете права всех нас подвергать опасности из-за ваших дурацких затей. Лоцманское судно «Анни Майн», входившее в гавань Сан-Франциско, было потоплено китом у Золотых ворот. Я сам, будучи вторым помощником на бриге «Бернкасль», по две вахты простаивал у насоса на пути в Хакодате, откачивая воду, потому что кит пробил борт нашего судна. А разве трехмачтовое китобойное судно «Эссекс» не пошло ко дну у западных берегов Южной Америки только потому, что кит разнес его в щепы, так что команде пришлось тысячу двести миль добираться на шлюпках до земли?

Симон Нишиканта, злобствуя и не удостаивая капитана ответом, продолжал донимать пулями последнего кита, не успевшего скрыться из его поля зрения.

— Я помню эту историю с китобоем «Эссекс», — обратился Старый моряк к Дэгу Доутри. — Они подранили самку кита с детенышем. На «Эссексе» было еще две трети запаса воды. Он затонул в течение часа. А судьба одной из шлюпок так и осталась неизвестной.

— Другую, кажется, занесло на Гавайи, сэр? — почтительно осведомился Доутри. — Помнится, лет тридцать назад я встретил в Гонолулу одного старикашку, который утверждал, что служил гарпунером на судне, потопленном китом у берегов Южной Америки. С тех пор я больше ничего об этой истории не слышал, пока вы, сэр, сейчас не заговорили о ней. Как вы полагаете, сэр, ведь речь, вероятно, шла именно об этом судне?

— Да, если только два разных судна не были потоплены китами у Западных берегов, — отвечал Старый моряк. — Что касается «Эссекса», то это не подлежит сомнению и стало уже историческим фактом. Так что человек, которого вы встретили, скорей всего принадлежал именно к команде «Эссекса».

Глава тринадцатая

Капитан Доун работал с утра до ночи, ловя солнце, колдуя над уравнением времени, рассчитывая аберрацию, вызванную движением земли по ее орбите, и прокладывая Сомнеровы линии до тех пор, пока у него голова не начинала идти кругом.

Симон Нишиканта открыто издевался над навигационными талантами капитана, продолжал писать акварели, когда находился в безмятежном настроении, и стрелять китов, морских птиц и все, что вообще можно подстрелить, когда состояние духа у него было подавленное и злобное оттого, что пик Львиная Голова — остров сокровищ Старого моряка — упорно не показывался над волнами

— Я вам докажу, что я не скряга, — заявил однажды Нишиканта, после того как он добрых пять часов жарился на мачте, наблюдая за морем. — Скажите-ка, капитан, какую сумму, по-вашему, мы должны были истратить в Сан-Франциско на покупку хороших хронометров, разумеется, подержанных?

— Примерно долларов сто, — отвечал капитан.

— Отлично. Я неспроста этим заинтересовался. Расход должен был быть поделен между нами тремя. А теперь я целиком беру его на себя. Объявите матросам, что я, Симон Нишиканта, плачу сто золотых долларов тому, кто первый увидит землю на широте и долготе, указанных мистером Гринлифом.

Но матросам, облепившим мачты, суждено было испытать горькое разочарование: всего два дня и пришлось им наблюдать за водными просторами в надежде на щедрую награду. И произошло это не только по вине Дэга Доутри, — хотя того, что он намеревался сделать, и того, что он сделал, тоже было бы достаточно, чтобы прекратить наблюдения.

Однажды, спустившись в трюм под кормовыми каютами, он вздумал пересчитать ящики с пивом, доставленные на борт специально для него. Пересчитав их, он усомнился в правильности своего счета, чиркнул несколько спичек, опять пересчитал, затем излазил весь трюм в надежде обнаружить еще несколько куда-то запропастившихся ящиков.

Доутри уселся под люком и с добрый час просидел погруженный в размышления. «Это все штуки еврея, — решил он. — Того самого, который согласился снабдить „Мэри Тернер“ двумя хронометрами, но не тремя и сам же подписал контракт с ним, Доутри, где черным по белому стояло, что „стюард должен быть обеспечен пивом на все время плавания из расчета шесть кварт в день“. Потом он еще раз пересчитал ящики, чтобы убедиться окончательно. Ящиков было три. И поскольку в каждом из них хранилось две дюжины кварт, а его ежедневная порция составляла полдюжины, то с полной очевидностью выяснилось, что этого запаса ему достанет не более как на двенадцать дней. А за двенадцать дней они только-только доберутся из этих неведомых морских просторов до ближайшего порта, где можно обновить запас пива.

Приняв решение, стюард не стал даром терять времени. Часы показывали без четверти двенадцать, когда он вылез из трюма, закрыл люк и стал торопливо накрывать на стол. Обнося кушанья во время обеда, он едва удержался от соблазна вывернуть миску горохового супа на голову Симона Нишиканты. И удержало его только решение, принятое им: безотлагательно приступить к действиям в трюме, где хранились бочки с пресной водой.

В три часа, когда Старый моряк, вероятно, дремал в своей каюте, а капитан Доун, Гримшоу и половина вахтенных влезли на мачты в надежде вырвать наконец у сапфировых вод океана пресловутую Львиную Голову, Дэг Доутри спустился в главный трюм. Здесь, оставляя лишь узкий проход, вдоль борта длинными рядами лежали заклиненные бочки с пресной водой.

Доутри вытащил из-за пазухи коловорот, а из кармана штанов полудюймовую перку. Затем, опустившись на колени, принялся сверлить дно первой бочки, пока вода, хлынув на пайол, не начала утекать сквозь доски настила. Он работал быстро, продырявливая бочку за бочкой по всему ряду, уходившему в глубину трюма. Дойдя до конца первого ряда, он остановился и прислушался к журчанию множества маленьких ручейков. И тут его острый слух уловил такое же журчание справа, в направлении следующего ряда. Прислушавшись повнимательнее, он уже мог бы поклясться, что слышит, как и там перка впивается в неподатливое дерево.

Минутой позже, тщательно спрятав свои собственные инструменты, он опустил руку на плечо человека, которого не мог разглядеть в потемках. Человек этот, стоя на коленях и тяжело дыша, сверлил дно бочки. Преступник не сделал ни малейшей попытки к бегству, и, когда Доутри зажег спичку, он увидел перед собой Старого моряка.

— Вот так штука! — пробормотал опешивший стюард. — Скажите на милость, какого черта вы

выпускаете воду?

Он почувствовал, что все тело старика сотрясается от нервной дрожи, и его сердце немедленно смягчилось.

— Ладно, — прошептал он, — меня вам нечего бояться. Сколько бочек вы уже обработали?

— Весь этот ряд, — послышался тихий ответ. — Вы не выдадите меня тем… наверху?

— Выдать вас? — добродушно засмеялся Доутри. — Ведь мы, что греха таить, ведем одну и ту же игру, хотя зачем это вам понадобилось, не понимаю. Я только что расправился со своим рядом. А теперь, сэр, мой совет

— уносите-ка отсюда ноги, пока проход свободен. Сейчас все наверху, и вас никто не заметит. Я здесь справлюсь один… воды останется… ну, скажем, дней на двенадцать.

— Я хотел бы поговорить с вами… объяснить… — прошептал Старый моряк.

— Хорошо, сэр, должен признаться, что я просто сгораю от любопытства. Я приду к вам в каюту минут через десять, и мы с вами спокойно побеседуем. Во всяком случае, что бы вы ни задумали — я с вами. Во-первых, потому, что мне важно поскорей добраться до порта, а во-вторых, потому, что я вас уважаю и люблю. А теперь поторапливайтесь, я буду у вас через десять минут.

— Я вас очень люблю, стюард, — дрожащим голосом проговорил старик.

— И я вас, сэр; поверьте, много больше, чем этих трех мошенников. Но об этом после. Ступайте скорее отсюда, а я выпущу оставшуюся воду.

Четверть часа спустя, когда три мошенника все еще торчали на мачтах, Чарльз Стоу Гринлиф сидел у себя в каюте, попивая виски с содовой, а Дэг Доутри стоял по другую сторону стола и тянул пиво прямо из бутылки.

— Может быть, вы и не догадываетесь, — начал Старый моряк, — но я уже четвертый раз отправляюсь за этими сокровищами.

— Вы хотите сказать… — перебил его Доутри.

— Вот именно. Никаких сокровищ нет. И никогда не было, так же как не было ни Львиной Головы, ни баркаса, ни безымянных пунктов.

Доутри растерянно почесал в своей седеющей шевелюре и заметил:

— Подумать только, что вы и меня провели. Ей-богу, я поверил в эти сокровища.

— Признаюсь, мне приятно это слышать. Значит, я еще достаточно хитер, если мне удалось провести такого человека, как вы. Нетрудно надувать людей, которые только и думают, что о деньгах. Но вы другой породы. Вы не живете одной только мечтой о наживе. Я наблюдал, как вы обходитесь с вашей собакой, и с вашим слугой негром. Я наблюдал, как вы пьете свое пиво. И потому, что вам не мерещатся днем и ночью погребенные сокровища, вас труднее обмануть. Ничего нет легче, как одурачить корыстолюбцев. Они все одного поля ягода. Посулите им дело, дающее сто процентов прибыли, и они, как голодные щуки, кинутся на наживку. А если поманить их возможностью за доллар получить тысячу или десять тысяч долларов, так они и

вовсе рехнутся. Я старый, очень старый человек. И я хочу только дожить свой век, но дожить не как-нибудь, а прилично, покойно, почтенно.

— И вдобавок вы любите дальние путешествия? Я начинаю понимать, сэр. Когда судно будто бы приближается к острову, где скрыты сокровища, случается что-нибудь непредвиденное — утечка пресной воды, например, — следовательно, возникает необходимость вернуться в порт, ну, а потом, потом… все сначала.

Старый моряк кивнул, его выцветшие глаза заблестели.

— Так было с «Эммой-Луизой». При помощи разных происшествий с водой и прочих ухищрений я заставил ее пробыть в плавании полтора года, не говоря уже о том, что они четыре месяца до отплытия еще содержали меня в одной из лучших гостиниц Нового Орлеана и аванс мне выплатили щедро, да, да, очень щедро.

— Расскажите подробнее, сэр; мне очень интересно, — попросил Дэг Доутри, закончив свою несложную повесть о трех ящиках пива. — Это, ей-богу, недурная затея. Может, она и мне пригодится на старости лет; впрочем, даю вам слово, сэр, я вам поперек дороги не стану. Пока вы живы, сэр, я за такие штуки не возьмусь.

— Прежде всего надо напасть на след денежных, очень денежных людей, чтобы никакие убытки не разорили их. Да и заинтересовать таких людей много легче.

— Потому что они скоты, — перебил его стюард. — Чем больше денег, тем больше жадности.

— Правильно, — продолжал Старый моряк. — Но в конце концов и они внакладе не остаются. Морские путешествия полезны для здоровья. Вот и выходит, что я не только не делаю им зла, а, напротив, пекусь об их благополучии.

— Ну, а шрам у вас на лице и отрубленные пальцы? Значит, это не боцман полоснул вас ножом в той свалке на баркасе? Где же вы тогда, черт подери, обзавелись такими рубцами?.. Погодите минуточку, сэр. Сначала я долью ваш бокал.

И вот, с полным бокалом в руке, Чарльз Стоу Гринлиф принялся рассказывать историю своих шрамов.

— Прежде всего надо вам знать, стюард, что я джентльмен. Мое имя значилось в истории Соединенных Штатов еще задолго до того, как они стали Соединенными Штатами. Я был вторым по успехам в своем выпуске университета, какого именно, я умолчу. Кстати сказать, имя, под которым вы меня знаете, вымышленное. Я тщательно составил его из имен других людей. Мне очень не повезло. В дни юности я служил на корабле, но не на «Бдительном», его я просто выдумал, а теперь, на склоне лет, он кормит меня.

Вы спрашиваете о моих шрамах и отрубленных пальцах? Вот как это было. Я ехал в пульмановском вагоне, и утром, когда почти все уже встали, произошло крушение. Вагон был переполнен, и мне накануне досталось верхнее место. Случилось это несколько лет назад. Я был уж стариком. Поезд шел из Флориды. На высокой эстакаде он столкнулся с другим. Вагоны сплющило, некоторые из них свалились с высоты в девяносто футов прямо на дно высохшего ручья. От этого ручья оставалась только галька да лужа футов десять диаметром и дюймов восемнадцать глубиной, и вот в эту-то лужу я и угодил.

А случилось это так. Я успел обуться, натянуть штаны и рубашку и собирался соскочить вниз. Но в момент, когда я уселся на край койки и спустил ноги, паровозы столкнулись. Койки

напротив, верхняя и нижняя, уже были застелены и прибраны.

Сидя на койке и болтая ногами, я, конечно, понятия не имел — едем мы по эстакаде или по земле. Я сверзился с койки, как птичка, перелетел через проход, прошиб головой стекло противоположного окна и вылетел из него; сколько раз меня перевернуло в воздухе, пока я падал с высоты в девяносто футов, лучше не вспоминать, и… каким-то чудом я попал в эту самую лужу. В ней было всего восемнадцать дюймов глубины. Но я ударился о воду плашмя, и она смягчила падение. Из всего вагона в живых остался только я один. Вагон перевернуло футах в сорока от меня. И вытащили из него уже только мертвые тела. А я в своей луже был живехонек. Но когда я вышел из хирургического отделения больницы, на руке у меня недоставало четырех пальцев, а лицо было изуродовано вот этим шрамом… вдобавок, хотя ручаюсь, что вы и не подозреваете об этом, я лишился еще и трех ребер.

О, жаловаться мне не приходилось. Подумайте о других пассажирах — они все были убиты. К сожалению, я ехал по бесплатному билету и не мог предъявить иск железнодорожной компании. Но так или иначе, а я единственный человек на свете, свалившийся с высоты в девяносто футов в лужу глубиной в восемнадцать дюймов и еще рассказывающий об этом. Будьте так добры, стюард, подлейте мне в стакан.

Дэг Доутри исполнил просьбу старика и, до крайности взволнованный его рассказом, откупорил себе еще бутылку пива.

— Продолжайте, продолжайте, сэр, — хрипло пробормотал он, вытирая губы. — Ну, а охота за сокровищами? Я до смерти хочу услышать, что было дальше. Ваше здоровье, сэр!

— Можно сказать, что я родился с серебряной ложкой во рту, да только она расплавилась, и я стал точь-в-точь походить на блудного сына, ибо, кроме ложки, природа наградила меня еще шишкой гордости, которая не плавится ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что моя семья, конечно, безотносительно к этой дурацкой железнодорожной катастрофе, а в силу разных причин до и после нее предоставила мне только одно право — право умереть, а я — я предоставил ей право жить. В этом все и дело. Я предоставил моей семье право жить. Да в конце концов вина ложилась не на нее. Я никогда не жаловался и никому ничего не говорил. Я просто расплавил остатки моей серебряной ложки — хлопок в Южных морях, кокосовые рощи в Тонго, каучук и красное дерево в Юкатане. И что же? В конце концов я спал в ночлежках Бауэри, питался в обжорках Ист-Сайда[6] и нередко до полуночи простаивал в очередях за куском хлеба у дверей благотворительных организаций, гадая, выстою я или свалюсь и потеряю сознание от голода.

— И вы никогда ничего не просили у своей семьи? — с восхищением прошептал Доутри, когда старик остановился, чтобы перевести дыхание.

Старый моряк распрямил плечи, высоко закинул голову, потом склонил ее и сказал:

— Нет, никогда! Я попал в богадельню, или в сельский работный дом, как они это называют. Я жил хуже собаки. Шесть месяцев жил хуже собаки, а потом вдруг увидел луч света. Я принялся за постройку «Бдительного». Я строил его доска за доской, обшивал медью, облюбовывал мачты и шпангоуты, я набирал экипаж, размещал его на судне, затем я оснастил свой корабль с помощью богатых евреев и отплыл на нем в Южные моря — искать сокровища, погребенные под слоем песка.

Да, — пояснил он, — все это я проделал в воображении, сидя узником в работном доме, среди сломленных жизнью людей.

Лицо Старого моряка вдруг приняло мрачное, даже свирепое выражение, а тонкие пальцы стальным кольцом сдавили запястье Доутри.

— Долгий и тяжкий путь пришлось мне пройти, прежде чем я выбрался из работного дома и сколотил немного денег для этой маленькой и жалкой авантюры с «Бдительным». Знайте, что мне два года пришлось проработать в тамошней прачечной за полтора доллара в неделю — и это, собственно, с одной только рукой, потому что много ли я мог сделать второй? Я сортировал грязное белье, складывал простыни и наволочки, и тысячи раз мне казалось, что моя бедная старая спина разламывается надвое, не говоря уже о нестерпимой боли в каждом дюйме тела — там, где у меня недостает ребер. Вы человек еще молодой…

Доутри только усмехнулся и потеребил свои седые взлохмаченные волосы.

— Да, вы еще молоды, стюард, — настойчиво и не без раздражения повторил Старый моряк. — Вы не испытали, что значит быть выброшенным из жизни. А человек в работном доме — выброшенный из жизни человек. В богадельнях не уважается не только возраст, куда там, но и самая жизнь человеческая. Как бы это объяснить вам? Человек не мертв. Но он и не жив. Он то, что было некогда живым человеком и теперь находится в стадии умирания. Как прокаженный. Или душевнобольной. Я это знаю. Когда я еще молодым человеком служил на корабле, один наш лейтенант сошел с ума. Временами он буйствовал, и мы боролись с ним, скручивали ему руки, в кровь избивали его, связывали, караулили, чтобы он не причинил вреда нам, себе или судну. Он, еще живой, умер для нас. Вы понимаете? Он перестал быть одним из нас, таким, как мы. Он стал иным. Да, да, именно — иным. Так вот и в богадельнях — мы, еще не погребенные, были иными. Вы слышали, что я там плел насчет геенны огненной на баркасе. Уверяю вас, что это еще увеселительная поездка по сравнению с жизнью в богадельне. Тамошняя пища, грязь, ругань, побои — это скотская, скотская жизнь!

Два года я работал в прачечной за полтора доллара в неделю. Вы только представьте себе, Доутри, я, умудрившийся расплавить свою серебряную ложку, кстати сказать, довольно увесистую, работаю в прачечной! Представьте себе мои старые больные кости, мой старый желудок, еще помнящий гастрономические наслаждения юных лет, мое нёбо, еще не окончательно иссохшее и избалованное изысканными вкусовыми ощущениями, к которым я привык с детства, — да, да, стюард, я, привыкший транжирить, как скупец, трясся над этими полутора долларами, не позволяя себе истратить даже цента на табак, ни разу я не побаловал каким-нибудь лакомством свой желудок, измученный грубой, неудобоваримой и скудной пищей. Я выклянчивал скверный, дешевый табак у несчастных стариков, одной ногой стоящих в могиле. А когда я однажды утром обнаружил, что Самюэль Мерривэйл, мой сосед по палате, умер, я стремглав бросился обшаривать карманы его заплатанных штанов, зная, что он был обладателем полпачки табаку — все его достояние, — и только тогда сообщил о случившемся.

Да, Доутри, я дрожал над этими полутора долларами. Поймите, я был узником, пропиливающим лазейку крохотным стальным напильником. И я пропилил ее!

Он с таким торжеством выкрикнул эти слова, что голос у него сорвался.

— Доутри, я пропилил себе лазейку!

И Дэг Доутри с бутылкой пива в руках серьезно, от души проговорил:

— Честь и хвала вам, сэр!

— Благодарю вас, сэр, вы поняли меня, — просто и с достоинством отвечал Старый моряк, стукнув своим бокалом о бутылку Доутри; они выпили, глядя друг другу прямо в глаза.

— Мне причиталось сто пятьдесят шесть долларов, когда я решил уйти из работного дома, — продолжал старик. — Но две недели я прохворал инфлюэнцой, а неделю плевритом; итак, я ушел от этих живых мертвецов, имея в кармане сто пятьдесят один доллар и пятьдесят центов.

— Насколько я понимаю, сэр, — с нескрываемым восхищением перебил его Доутри, — тоненький напильник превратился в лом, и с его помощью вы сызнова проломили себе дорогу в жизнь.

Изуродованное лицо и выцветшие глаза Чарльза Стоу Гринлифа светились счастьем, когда он опять поднял свой бокал.

— Ваше здоровье, стюард. Вы хорошо это сказали. И вы все поняли. Я проломил себе вход в обитель жизни. Крохи, сколоченные мною за два года крестных мук, стали моим ломом. Подумать только! Такую сумму я в свое время, когда моя серебряная ложка еще не расплавилась, не задумываясь, ставил на карту! Но, как вы сказали, я, точно взломщик, вломился в жизнь и… попал в Бостон. Вы умеете образно выражаться, стюард. Ваше здоровье!

Они снова чокнулись бокалом и бутылкой и выпили, глядя в глаза друг другу, причем каждый был убежден, что смотрит в честные и понимающие глаза.

— Но это был непрочный лом, Доутри, и рычагом он мне служить не мог. Я снял номер в небольшом, но вполне пристойном отеле без пансиона. Я, кажется, уже сказал вам, что это было в Бостоне. О, как бережно обходился я со своим ломом! Я ел не больше, чем нужно для того, чтобы душа не рассталась с телом. Но других я потчевал вином, превосходным, умело выбранным вином, — потчевал с видом богатого человека, это внушало доверие к моим рассказам. А захмелев, притворно захмелев, Доутри, я начинал свои бредни о «Бдительном», о баркасе, о безымянных пунктах и о сокровищах, погребенных в песке, на глубине шести футов; сокровища в песке — это звучало романтично, действовало на психологию, мои рассказы имели привкус соленой морской воды, дерзких пиратских похождений в Испанских морях.

Вы, наверное, заметили самородок, который я ношу в виде брелока? В ту пору я еще не мог приобрести его, но зато сколько ж я говорил о золоте, о калифорнийском золоте, о несметных количествах золотых самородков, о россыпях, открытых в сорок девятом году. Это было романтично и красочно. Позднее, после моего первого путешествия, я уже был в состоянии купить этот самородок. Он оказался приманкой, на которую люди клевали, как рыба. И, как рыба, заглатывали ее. Эти перстни — тоже приманка. Теперь таких не найдешь. Получив деньги, я тотчас же обзавелся ими. Возьмем, к примеру, этот самородок: я рассеянно играю им, рассказывая о несметных богатствах, погребенных в песке. Внезапно он вызывает во мне прилив воспоминаний. Я начинаю говорить о баркасе, о муках жажды и голода, о третьем помощнике, прелестном юноше, чьи щеки еще не знали прикосновения бритвы, он будто бы воспользовался ею как грузилом при попытке наловить рыбы.

Но вернемся к моему пребыванию в Бостоне. Чего-чего только я не плел, будто бы под хмельком, моим новоявленным приятелям — безмозглым дуракам, людям, которых я презирал от всей души. Мои слова возымели действие, и в один прекрасный день какой-то молодой репортер явился проинтервьюировать меня относительно сокровищ и «Бдительного». Я был в негодовании, возмущался. Погодите, Доутри, погодите: в душе я ликовал, выставив за дверь этого юного репортера. Я не сомневался, что он уже выведал у моих «приятелей» множество разных подробностей. Утренние газеты на двух столбцах, снабженных интригующим заголовком, повторили мою басню. Ко мне стали являться различные посетители, которых я внимательно изучал. Многие рвались на поиски сокровищ, не имея гроша за душой. Я отделывался от них и, по мере того как таяли мои капиталы, еще больше урезывал себя в

пище.

И вот, наконец, он явился — мой славный, веселый доктор философии и изрядный богач к тому же. Сердце мое радостно забилось, когда я увидел его. Но в кармане у меня оставалось уже всего двадцать восемь долларов, а потом — смерть или богадельня. В душе я уже сделал выбор в пользу смерти,

— все лучше, чем вернуться в эту компанию живых трупов, в богадельню. Но я не вернулся туда и не умер. Кровь молодого доктора зажглась при мысли о Южных морях, я заставил его почуять благоухание напоенного цветами воздуха тех дальних краев, вызвал перед его глазами прекрасные видения пассатных облаков, неба в дни, когда дуют муссоны, островов, поросших пальмами, и коралловых рифов.

Веселый повеса, беззаботно-щедрый, бесстрашный, как львенок, гибкий и красивый, как леопард, он был немного сумасброден; его тонкий ум отличался необыкновенной затейливостью и прихотливостью. Вот послушайте, Доутри. Незадолго до отплытия «Глостера», купленной доктором рыбачьей шхуны, которая изяществом и быстроходностью превосходила многие яхты, он пригласил меня к себе — посоветоваться относительно экипировки. Мы перебирали его костюмы в гардеробной, когда он вдруг заметил:

— Интересно, как леди отнесется к моей долгой отлучке? Может, мне взять ее с собой?

А я и понятия не имел, что у него есть жена или дама сердца. На моем лице, видимо, выразилось удивление и недоверие.

— Вот потому, что вы мне не верите, я и возьму ее в плавание. — Он захохотал безумно и зло, прямо мне в лицо. — Пойдемте, я вас представлю.

Мы пришли в его спальню; он подвел меня прямо к кровати, откинул покрывало и показал спящую уже в течение многих тысячелетий мумию стройной египетской девушки.

Она сопровождала нас в долгом и бесплодном плавании по Южным морям и вернулась с нами обратно. И, верите ли, Доутри, я сам всей душой привязался к этому прелестному созданию.

Старый моряк мечтательно загляделся в свой бокал, а стюард, воспользовавшись паузой, спросил:

— Ну, а молодой доктор? Как он отнесся к неудаче?

Лицо Старого моряка просияло.

— Он похлопал меня по плечу и назвал милым старым мошенником. Да, стюард, я полюбил этого молодого человека, как сына. Все еще держа руку на моем плече, — в этом жесте было нечто большее, чем доброта, — он признался, что обнаружил обман, еще когда мы достигли Ла-Платы. Смеясь не только весело, но и ласково, он указал мне на различные несоответствия в моих рассказах (благодаря ему я внес в них поправки, весьма существенные поправки) и заявил, что наше плавание было просто великолепно и он навеки считает себя моим должником.

Что мне оставалось делать? Я открыл ему всю правду и даже назвал свое настоящее имя, которое я скрыл, чтобы спасти это имя от позора. Он опять положил руку мне на плечо и…

Старый моряк умолк, так как в горле у него пересохло; по щекам старика катились слезы.

Дэг Доутри молча чокнулся с ним, и старик, пригубив из бокала, вновь овладел собой.

— Он сказал мне, что отныне я должен жить вместе с ним, и в день нашего возвращения в Бостон привез меня в свой большой пустынный дом. И еще сказал, что переговорит со своими поверенными, так как намерен усыновить меня, — эта идея очень веселила его. «Я усыновлю вас, — уверял он, — усыновлю вместе с Иштар[7]». Иштар звали девушку, нашу маленькую мумию.

И вот, стюард, я вернулся к жизни, он собирался официально усыновить меня. Но жизнь — великая обманщица. Утром, через восемнадцать часов, мы нашли его мертвым в постели; рядом с ним лежала мумия девушки. Что это было — разрыв сердца или одного из кровеносных сосудов в мозгу, — я так и не узнал.

Я просил, умолял похоронить эту чету в одной могиле. Но его тетки и другие родственники были жестокие, холодные люди новоанглийской породы, они передали Иштар в музей, а мне предложили в течение недели покинуть дом. Я уехал ровно через час, но они все же успели обыскать мой скромный багаж.

Я отправился в Нью-Йорк и там начал ту же игру, только теперь у меня было больше денег и я лучше разыгрывал ее. То же повторилось в Новом Орлеане и в Гальвестоне. Наконец я очутился в Калифорнии. Это мое пятое плавание. Нелегко мне было уговорить этих троих, — я истратил все свои сбережения, прежде чем они подписали договор. Они страшно скаредничали. Ссудить меня авансом! Самая эта мысль казалась им несообразной. Но я своего добился, представил им солидный счет за гостиницу, а под конец даже заказал основательный запас вина и сигар и послал им счет. Что тут было! Все трое от злости едва не повырывали себе волосы, а заодно и мне. Они отказались от уплаты. Я немедленно захворал и объявил, что они истрепали мне нервы и довели меня до болезни. Чем больше они бесновались, тем хуже мне становилось. Наконец, они уступили. Здоровье мое немедленно улучшилось. И вот мы здесь, без воды, так что нам, видимо, придется взять курс на Маркизские острова, чтобы наполнить бочки. А потом они снова примутся за поиски сокровищ.

— Вы так полагаете, сэр?

— В моей памяти всплывут новые важные данные, — с улыбкой отвечал Старый моряк. — Не сомневайтесь, что эти люди вернутся. О, я их знаю! Это тупые, мелкие, корыстные дураки!

— Дураки, сплошь дураки! «Корабль дураков»! — возликовал Дэг Доутри, повторяя слова, пришедшие ему на ум еще в трюме, когда, просверлив последнюю бочку, он прислушивался к журчанию убегающей пресной воды и радовался, что Старый моряк действует с ним заодно.

Глава четырнадцатая

На следующее утро вахтенные, набиравшие дневной запас пресной воды для камбуза и кают, обнаружили, что бочки пусты. Мистер Джексон так встревожился, что немедленно побежал к капитану Доуну, и не прошло нескольких минут, как тот, в свою очередь, поднял Гримшоу и Нишиканту, чтобы сообщить им о случившемся несчастье.

Завтрак прошел в превеликом волнении. Доутри и Старый моряк тоже были взволнованы. Пресловутое трио вне себя от бешенства изрыгало жалобы и проклятия. Капитан Доун чуть не плакал. Симон Нишиканта изливал свою ярость, понося негодяя, совершившего преступление, и выдумывал кары, которым его следовало бы подвергнуть. Гримшоу то и дело сжимал свои толстые пальцы, словно уже душил кого-то.

— Помнится, в сорок седьмом году… нет, кажется, в сорок шестом… ну да, конечно же, в сорок шестом, — заговорил Старый моряк, — мы попали в такое же, только еще худшее положение… На баркасе нас было шестнадцать человек. Мы держали курс на Глистер-риф. Так он был назван после того, как наша храбрая команда открыла его темной ночью и об него же разбилась. Этот риф нанесен на карты Адмиралтейства. Капитан Доун может подтвердить…

Никто его не слушал, кроме Дэга Доутри. Подавая горячие пирожки, он от души восхищался стариком. Только Симон Нишиканта, который внезапно понял, что старик опять плетет какие-то небылицы, свирепо заорал:

— Молчать! Заткнитесь, говорят вам! Мне это «помнится» уже поперек глотки стоит.

На лице Старого моряка изобразилось удивление: неужели он и вправду допустил какую-то неточность в своем рассказе?

— Неужто я оговорился? — продолжал он. — Все мой старый язык виноват! Это был не «Бдительный», а бриг «Глистер». А я, верно, сказал «Бдительный»? Конечно, «Глистер», чудный маленький бриг, просто игрушка, обшитый медью и очертаниями напоминающий дельфина, к тому же быстрый, как ветер, и юркий, как волчок. Вахтенные на нем, бывало, с ног сбивались. Я был на «Глистере» суперкарго. Выйдя из Нью-Йоркской гавани, мы взяли курс, по-видимому, к северо-западным берегам. На руках у нас был запечатанный приказ…

— Замолчите, прошу вас, замолчите! Вы меня с ума сведете всей этой чепухой! — с неподдельным страданием закричал Нишиканта. — Побойтесь Бога, старик! Какое мне дело до вашего «Глистера» и запечатанных приказов!

— Да, запечатанный приказ, — с просветленным лицом продолжал Старый моряк. — Магические слова — запечатанный приказ. — Казалось, он смакует самые эти звукосочетания. — В те времена, джентльмены, суда, отправляясь в плавание, получали запечатанные приказы. Будучи суперкарго и имея лишь пустяковую долю в предприятии, которой соответствовала и доля в будущей наживе, я фактически командовал капитаном. Запечатанные приказы хранились не у него, а у меня. Клянусь вам, что их содержания я не знал. Я сломал печати, только когда мы, обогнув Кейп-Стифф, вошли в Тихий океан, и я узнал, что «Глистеру» приказано идти к земле Ван Димена. В те времена этот край называли землей Ван Димена…

То был день неожиданных открытий. Капитан Доун застал своего помощника отпирающим подобранным ключом стол, где хранился вахтенный журнал. Произошла сцена, впрочем, довольно сдержанная: финн был слишком дюжим мужчиной, и у капитана не возникло ни малейшего желания помериться с ним силой; он ограничился выговором, а финн отвечал только почтительными: «да, сэр», «нет, сэр» и «очень сожалею, сэр».

Но, пожалуй, самым важным открытием, хотя до поры до времени он этого не знал, было открытие, сделанное Дэгом Доутри, когда «Мэри Тернер» уже переменила курс и на всех парусах неслась к Тайохаэ на Маркизских островах, о чем стюарду по секрету сообщил Старый моряк. Доутри весело приступил к бритью. На сердце у него была только одна забота — удастся ли раздобыть в таком захолустье, как Тайохаэ, хорошее пиво.

Намылив лицо и поднеся к нему бритву, Доутри вдруг заметил темное пятно у себя между бровями. Покончив с бритьем, он потрогал пятно пальцем, удивляясь, как странно лег загар, и при этом не ощутил собственного прикосновения. Кусочек потемневшей кожи был полностью лишен чувствительности.

«Чудно!» — подумал он, вытер лицо и тут же забыл об этом.

Он не знал рокового значения пятна, так же как не знал, что раскосые глаза А Моя уже давно его заметили и изо дня в день с возрастающим ужасом всматривались в него.

Подгоняемая юго-восточным пассатом, «Мэри Тернер» скользила к Маркизским островам. На баке все были довольны. Команда, не имевшая за душой ничего, кроме жалованья, радовалась предстоящему заходу на тропический остров для пополнения запасов воды. На корме же царило мрачнейшее настроение. Нишиканта открыто глумился над капитаном Доуном, сомневаясь в его способности найти Маркизские острова. Зато в носовой каюте были счастливы все без исключения: Дэг Доутри потому, что жалованье продолжало идти, а пополнение пивных запасов было теперь обеспечено; Квэк потому, что хозяин чувствовал себя счастливым; А Мой потому, что в ближайшее время надеялся унести ноги со шхуны и спастись от соседства двух прокаженных.

Майкл разделял всеобщую радость и ретиво разучивал со стюардом шестую по счету песню — «Веди нас, свет благой». Когда Майкл пел — по существу, это, конечно, было всего-навсего музыкальное подвывание, — он искал что-то, но что именно, сам не знал. Видимо, то была утраченная стая, стая первобытного мира, когда собака еще не грелась у огня, разведенного человеком, более того, когда человек еще не разводил огня и не был человеком.

Майкл недавно появился на свет, от роду ему было всего два года, так что сам он никакой стаи не знал. От стаи его отделяли тысячи поколений. Но где-то в глубине его существа, в каждой его жилке, в каждом нерве жило неизгладимое воспоминание о временах, когда дикие предки, скрытые от него туманом тысячелетий, жили вольной стаей; стая росла и крепла, а вместе с ней росли и крепли собаки.

Иногда во сне воспоминания о стае всплывали в подсознании Майкла. Это были очень реальные сны, хотя, пробудившись, он почти не помнил их. Но во сне или наяву, когда Майкл пел со стюардом, он с тоской вспоминал утраченную стаю и пытался искать забытую дорогу к ней.

Зато, проснувшись, он находил другую стаю, вполне реальную. Ее составляли стюард, Квэк, Кокки и Скрэпс, — и Майкл бегал среди них и резвился, как его далекие предки бегали и охотились среди себе подобных. Логовищем этой стаи была каюта при камбузе, а вне ее стае принадлежал весь мир, иными словами — «Мэри Тернер», то плавно скользившая, то стремительно летевшая по поверхности изменчивого океана.

Надо сказать, что каюта и ее обитатели значили для Майкла больше, чем обыкновенная стая. Ибо эта каюта заодно была и раем — обителью бога. Люди давно стали придумывать бога из камня, из глины, из огня и поселять его в лесах, или в горах, или среди звезд. Случилось это оттого, что они поняли: человек умирает и оказывается вне своего племени или рода, — словом, вне своей привычной кучки, как бы там она ни называлась, эта человеческая стая. А человек не хотел оставаться вне стаи. И он создал в своем воображении новую, вечную стаю, с которой ему не нужно было разлучаться. Страшась мрака, скрывающего тех, что умерли, он создал за этим мраком прекрасную страну, небывало богатое охотничье поприще, небывало обширный и величественный пиршественный покой и на разных языках нарек его «раем».

Майкл никогда не помышлял, как это делали некоторые первобытные и дикие народы, об обожествлении собственной тени. Он не почитал теней. Он почитал подлинного, неоспоримого бога, отнюдь не созданного по его собственному четвероногому, мохнатому подобию, но бога во плоти и крови, двуногого, не мохнатого — стюарда.

Глава пятнадцатая

Если бы пассат не прекратился на следующий день после того, как «Мэри Тернер» взяла курс на Маркизские острова; если бы капитан Доун за обедом не стал снова брюзжать, что его снабдили одним-единственным хронометром; если бы Симон Нишиканта не пришел от этого в ярость и не отправился бы с ружьем в руках на палубу в жажде убить какого-нибудь обитателя морских глубин; и если бы этот обитатель, вынырнувший у самого борта, оказался бонитой, дельфином, тунцом или еще чем-то, но только не китовой самкой восьмидесяти футов в длину, да еще с детенышем, — словом, если бы хоть одно звено выпало из этой цепи событий, «Мэри Тернер», несомненно, достигла бы Маркизских островов и, пополнив там запас воды, отправилась бы дальше на поиски сокровищ; а тогда и судьбы Майкла, Доутри, Квэка и Кокки сложились бы иначе и, может быть, менее ужасно.

Но все звенья оказались на местах. Когда Симон Нишиканта всадил пулю в китеныша, стоял штиль, шхуна медленно скользила по необозримой гладкой поверхности океана; снасти и реи ее тихонько поскрипывали, не надутые ветром паруса полоскали в воздухе. По странной, почти невероятной случайности китеныш был смертельно ранен. Это было почти такое же чудо, как если бы слона убило игрушечное ружье, заряженное горохом. Кит издох не сразу. Он только прекратил свою затейливую игру и, содрогаясь всем телом, лежал на поверхности воды. Мать поравнялась с ним почти в тот же миг, как его поразила пуля, и люди на шхуне, наблюдавшие за нею, видели все ее смятение и отчаяние. Она пыталась подтолкнуть детеныша своим гигантским телом, потом начинала кружить вокруг него, затем опять приближалась, толкала и тормошила его.

Все население «Мэри Тернер» столпилось на палубе, со страхом следя за левиафаном, по длине не уступающим шхуне.

— А вдруг она сделает с нами то же, что та китовая матка с «Эссексом»? — сказал Дэг Доутри Старому моряку.

— Что ж, мы получим по заслугам, — отвечал тот. — Это была ничем не оправданная, бессмысленная жестокость.

Майкл, понимая, что за высоким бортом происходит что-то, чего он не видит, вскочил на крышу рубки и, разглядев чудовище, воинственно залаял. Все взоры, как по команде, с испугом обратились на него, а стюард шепотом приказал ему замолчать.

— Чтоб это было в последний раз, — сдавленным от гнева голосом проговорил Гримшоу, обращаясь к Нишиканте. — Если во время плавания вы еще раз посмеете выстрелить в кита, я сверну вам вашу толстую шею. Можете не сомневаться. Да еще и глаза вам вырву.

Еврей кисло улыбнулся и заскулил:

— Ничего не случится. Я не верю, что «Эссекс» был потоплен китом.

Понуждаемый матерью, издыхающий кит тщетно силился плыть, но только крутился на месте, перевертываясь с боку на бок.

Кружась возле детеныша, самка случайно толкнулась о левый кормовой подзор «Мэри Тернер»; шхуна редко накренилась на правый борт, а корма ее на целый ярд вылетела из воды. Кит не ограничился этим нечаянным легким толчком. Мгновение спустя, смертельно испуганный прикосновением к постороннему телу, он взмахнул хвостом. Хвост ударил по

планширу впереди фок-вант, и дерево треснуло, словно то был не борт корабля, а коробка из-под сигар.

Взмах хвоста — вот и все; люди на шхуне, затаив дыхание от страха, следили за обезумевшим от горя морским чудовищем.

В продолжение часа шхуна и оба кита медленно продвигались вперед, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Детеныш тщетно пытался не отставать от матери, но затем судорога вдруг свела все его тело, а хвост отчаянно забил по воде.

— Это агония, — прошептал Старый моряк.

— Околел, черт его возьми, — заявил капитан Доун минут пять спустя. — Ну кто бы мог подумать! Обыкновенная ружейная пуля! Эх, если бы нам хоть на полчаса попутный ветер, мы бы избавились от этого соседства.

— Мы были на волосок от гибели, — заметил Гримшоу.

Капитан Доун покачал головой, озабоченным взглядом окинул повисшие паруса и впился глазами в морскую даль, надеясь увидеть вдали белую пену барашков. Но зеркально-гладкое море выглядело так, как выглядят все моря во время штиля, — округлое, выпуклое, словно пролитая ртуть.

— Все в порядке, — заметил Гримшоу, — видите, она уходит.

— Конечно, в порядке, да все и было в порядке, — хвастливо отозвался Нишиканта, вытирая пот, струившийся по его физиономии и шее, и вместе с другими глядя вслед удалявшейся китовой матке. — Храбрецы, нечего сказать,

— насмерть перепугались большой рыбины.

— Я заметил, что ваше лицо было менее желтым, чем обыкновенно, — съязвил Гримшоу. — Не иначе, как у вас желчь отлила к сердцу.

Капитан Доун испустил вздох облегчения. Он так обрадовался избавлению от опасности, что ему было не до пререкания.

— Вы трус и больше ничего, — продолжал Гримшоу и, кивнув головой в сторону Старого моряка, добавил: — Вот настоящий человек. Он и бровью не повел, хотя можно поручиться, что отдавал себе отчет в опасности яснее, чем мы все. Если бы я потерпел кораблекрушение и мог выбирать, с кем очутиться на необитаемом острове, я бы, безусловно, выбрал его, а не вас. Если же…

Отчаянный крик, раздавшийся в кучке матросов, прервал его излияния.

— Боже милостивый! — невольно вырвалось у капитана Доуна.

Гигантский кит повернул вспять и теперь несся прямо на «Мэри Тернер». Он рассекал воду с не меньшей силой, чем дредноут или океанский пароход.

— Держись! — заорал капитан.

Каждый постарался за что-нибудь ухватиться. Генрик Иертсен, рулевой, широко расставил ноги, присел и, напружинив плечи, вцепился обеими руками в рукоятки штурвала. Одни

матросы ринулись со шкафута на полуют, другие стали карабкаться вверх по вантам. Доутри, левой рукой держась за планшир, правой крепко обхватил Старого моряка.

Все замерли. Кит ударил «Мэри Тернер» чуть позади фок-вант. Дальше события развивались с быстротой, уже неуловимой для глаза. Один из матросов на вантах, вместе с выбленкой, за которую он держался обеими руками, сорвался и упал головой вниз, но кто-то из товарищей успел на лету ухватить его за лодыжку и тем самым спасти от неминуемой гибели. Шхуна трещала, содрогалась, левый борт ее вздыбился, а правый накренился так, что вода хлынула на палубу. Майкл соскользнул с гладкой крыши рубки, его протащило вдоль правого борта, и, наконец, он, цепляясь когтями за поверхность пола и сердито ворча, скрылся а люке. В этот момент сорвало левые ванты фок-мачты, и фор-стеньга, как пьяная, качнулась на правый борт.

— Ну-ну, — сказал Старый моряк, — удар довольно чувствительный.

— Мистер Джексон, — приказал капитан своему помощнику, — замерьте уровень воды в трюме.

Помощник повиновался, не сводя, впрочем, встревоженного взгляда с кита, уже мчавшегося к востоку.

— Вот вы свое и получили, — злобно огрызнулся Гримшоу на Нишиканту.

Нишиканта кивнул и, вытирая пот, пробурчал:

— Да, и я вполне удовлетворен. Я своего добился. Никогда не думал, что кит может такое выкинуть. И больше уж я этого опыта не повторю.

— Да вам, вероятно, и случая больше не представится, — оборвал его капитан. — Пока что мы еще и с этим китом не совладали. Кит, потопивший «Эссекс», раз за разом повторял нападения, а полагать, что природа китов изменилась за последние годы, у нас, по правде сказать, не имеется оснований.

— В трюме воды нет, сэр, — доложил о результатах своего обследования мистер Джексон.

— Он возвращается! — воскликнул Доутри.

Удалившись на полмили от шхуны, кит вдруг круто повернул и устремился назад.

— Полундра, там, на носу! — громовым голосом крикнул капитан Доун одному из матросов, который как раз вылезал из люка с вещевым мешком в руках и оказался прямо под качающейся фор-стеньгой.

— Он уже собрался удирать, — шепнул Доутри Старому моряку, — как крыса с тонущего корабля.

— Все мы крысы, — послышался ответ. — Я это понял, живя среди запаршивевших крыс в работном доме.

Всеобщий испуг и возбуждение передались Майклу. Он снова вскочил на крышу рубки, чтобы получше видеть, и зарычал на приближающегося кита, тогда как люди опять схватились за что попало, лишь бы удержаться на ногах при предстоящем толчке.

Удар пришелся за бизань-вантами. Шхуна дала крен на правый борт. Майкла позорнейшим

образом сбросило на палубу, и тут же раздался громкий треск шпангоутов. Крутой, непроизвольный поворот штурвала подбросил вверх Генрика Иертсена, изо всех сил в него вцепившегося. Он полетел на капитана Доуна, которого оторвало от планшира. Оба они, задыхаясь, повалились на палубу. Нишиканта, изрыгая проклятия, прислонился к стене рубки, — ему выворотило все ногти на руках, когда он пытался удержаться за поручни.

Покуда Доутри привязывал Старого моряка к бизань-вантам, капитан Доун, пыхтя, дополз до фальшборта и с усилием поднялся на ноги.

— Ну, теперь нам крышка, — хриплым шепотом сказал он помощнику, потирая ушибленный бок. — Замерьте снова уровень воды в трюме и регулярно продолжайте замеры.

Несколько матросов, воспользовавшись передышкой, проскользнули под едва державшейся фор-стеньгой в свой кубрик и с лихорадочной поспешностью принялись укладывать вещи. Когда и А Мой появился на палубе с туго набитым мешком, Доутри тоже приказал Квэку собирать пожитки.

— В трюме воды нет, сэр, — доложил помощник.

— Продолжайте измерения, мистер Джексон. — Капитан уже несколько оправился от столкновения с рулевым, и голос его звучал тверже. — Продолжайте замеры, вот он возвращается, а таких ударов ни одна шхуна не выдержит.

Тем временем Доутри уже подхватил Майкла под мышку, а свободную руку держал наготове, чтобы уцепиться за снасти при следующем толчке.

Поворачивая, кит потерял точное направление и прошел футах в двадцати от кормы «Мэри Тернер». Однако волнение, вызванное его стремительным броском, было так велико, что корма «Мэри Тернер» поднялась, а нос окунулся в воду, словно отвешивая изысканный поклон.

— Если бы он ударил… — пробормотал капитан Доун и умолк.

— …то мы с вами распрощались бы с белым светом, — договорил за него Доутри. — Он попросту срезал бы нам корму, сэр.

Отдалившись ярдов на двести, кит резко повернул, не описав полного полукруга, и ударил шхуну в нос с правого борта. Спиной он задел форштевень и, казалось, совсем легонько, мартин-штаг. Тем не менее «Мэри Тернер» осела кормой так, что вода стала переливаться через фальшборт. Но это еще не все. Мартин-штаг, ватерштаг и все бакштаги бушприта с правого борта разлетелись, так что бушприт повернулся под прямым углом влево и задрался кверху, подтянутый уцелевшими форстень-штагами. Фор-стеньга несколько мгновений раскачивалась высоко в воздухе, затем рухнула на палубу, отчего бушприт окунулся в воду, отделился от форштевня и потащился рядом со шхуной.

— Уберите собаку! — свирепо заорал Нишиканта. — Если вы его не…

Майкл на руках у Доутри угрожающе рычал не столько на кита, сколько на грозные, враждебные силы, посеявшие панику среди двуногих богов его плавучего мира.

— А вот и не уберу, — огрызнулся Доутри, — пускай его распевает. Из-за вас затеялась вся эта кутерьма, и если вы посмеете хоть пальцем тронуть мою собаку, то уж не увидите, чем все это кончится, подлый ростовщик!

— Поделом ему, поделом, — одобрительно закивал Старый моряк. — А скажите, стюард, не могли бы вы раздобыть кусок парусины или одеяло — словом, что-нибудь помягче и пошире этой веревки? Она очень уж больно врезается, и как раз в то место, где у меня недостает трех ребер.

Доутри передал Майкла на руки старику.

— Подержите его, сэр. А если этот ростовщик хотя бы замахнется на Киллени, плюньте ему в рожу или укусите его — дело ваше. Я мигом обернусь, сэр, — раньше, чем он успеет причинить вам какую-нибудь неприятность, и раньше, чем кит еще раз подшибет нас. И пусть Киллени-бой лает сколько его душе угодно. Один волос на его шкуре дороже целой своры таких вонючих ростовщиков.

Доутри слетал в каюту и вернулся оттуда с подушкой и тремя простынями; из подушки он соорудил нечто вроде сиденья, простыни быстро связал вместе морскими узлами и, надежно устроив Старого моряка, снова взял Майкла на руки.

— Появилась вода, сэр, — объявил помощник. — Уровень — шесть… нет, уже семь дюймов, сэр.

Матросы, перепрыгивая через рухнувшую фор-стеньгу, ринулись в кубрик укладывать вещи.

— Вывалить шлюпку правого борта, — скомандовал капитан, глядя на пенный след, оставляемый китом, явно готовившимся к повторному нападению,

— но не спускать. Пусть висит на талях, а не то треклятая рыбина еще разнесет ее в щепы. Людям пока готовить вещи, грузить продовольствие и пресную воду.

Найтовы были отданы, тали закреплены, и матросы схватились за что попало, еще до того как приблизился кит. На этот раз удар пришелся точно посередине левого борта, так что с полуюта было видно и слышно, как он затрещал, прогнулся и снова выпрямился, точно лист фанеры. Шхуна зачерпнула воду правым бортом, волны перекатились через палубу, и все матросы, столпившиеся у шлюпки, на мгновение оказались по колено в воде; затем вода стремительно хлынула из шпигатов левого борта.

— Тали подобрать! — командовал капитан с полуюта. — Вываливай! Стоп травить! Тали завернуть!

Шлюпка висела за бортом, опираясь своим буртиком на планшир шхуны.

— Десять дюймов, сэр, и быстро прибывает, — доложил помощник, производивший измерения.

— Пойду за приборами, — объявил капитан Доун, отправляясь к себе в каюту. Уже наполовину скрывшись в люке, он помешкал и, глядя на Нишиканту, насмешливо добавил: — И за нашим единственным хронометром.

— Полтора фута, и прибывает непрерывно! — крикнул ему вдогонку помощник.

— Нам тоже пора подумать об укладке вещей, — следуя за капитаном, сказал Гримшоу.

— Стюард, — распорядился Нишиканта, — идите вниз и уложите мою постель. Об остальном я позабочусь сам.

— Можете убираться к черту, мистер Нишиканта, вместе со всеми вашими пожитками, —

спокойно отвечал Доутри и тут же почтительно обратился к Старому моряку: — Подержите, пожалуйста, Киллени, сэр. Я соберу ваши вещи. И скажите, что бы вы в первую очередь хотели взять с собою, сэр?

Внизу Джексон присоединился к обитателям кормовых кают, лихорадочно укладывавшим наиболее ценное из своего имущества; в это время «Мэри Тернер» получила новый удар. Застигнутые врасплох, все отлетели влево; из каюты Нишиканты послышались стоны и проклятия: он зашиб себе бок об угол койки. Но тут же все перекрыл отчаянный треск и грохот наверху.

— Могу вас заверить, что от нашей шхуны не останется ничего, кроме груды щепок, — послышался во внезапно наступившей тишине голос капитана Доуна, осторожно поднимавшегося по трапу с прижатым к груди хронометром.

Передав его на попечение одного из матросов, капитан вернулся вниз, с помощью стюарда вынес на палубу свой рундук[8] и затем подсобил Доутри вытащить рундук Старого моряка. После этого он и стюард с помощью изрядно перетрусивших матросов проникли в кладовую и начали вскрывать и передавать на руки матросам запасы провианта — ящики с рыбными и мясными консервами, банки с вареньем и галетами, бочонки масла, сгущенное молоко — словом, все консервированные, сушеные, выпаренные и концентрированные продукты, которыми в наше время питаются экипажи и пассажиры судов.

Доутри и капитан последними выбрались из кладовой, и оба одновременно взглянули вверх, на то место, где несколько минут назад высились грот— и крюйс-стеньги.

В следующую же секунду взгляд их упал на обломки, загромоздившие палубу: крюйс-стеньга, падая, порвала бизань и, поддерживаемая в стоячем положении крепкой парусиной, с шумом раскачивалась в воздухе; грот-стеньга лежала поперек люка, ведущего в каюту Доутри.

Покуда китовая самка, изживавшая свое горе в неистовой жажде мести, отплывала на расстояние, необходимое ей для новой атаки, на борту «Мэри Тернер» все хлопотали вокруг качавшейся за бортом шлюпки.

Палуба уже была завалена ящиками, бочонками с пресной водой и личными вещами. Достаточно было взглянуть на эти вещи и на людей, столпившихся на корме и на носу, чтобы понять, до какой степени будет перегружена шлюпка.

— Матросы пусть идут в нашу шлюпку, нам нужны гребцы, — объявил Симон Нишиканта.

— Но вы-то нам на что? — мрачно осведомился Гримшоу. — Вам надо слишком много места, не говоря уже о том, что вы скотина.

— Думается, я буду желанным пассажиром, — возразил ростовщик, расстегивая рубашку и от поспешности обрывая пуговицы. Под мышкой левой руки, прямо на голом теле, у него был привязан автоматический одиннадцатимиллиметровый кольт, с таким расчетом, чтобы правая рука могла моментально выхватить его. — Думается, я буду весьма желанным пассажиром, а от нежеланных мы уж сумеем избавиться.

— Как вам будет угодно, — язвительно отвечал фермер, в то время как его огромные руки непроизвольно сжимались, словно он кого-то душил. — Вдобавок, если у нас кончится провиант, вы, безусловно, окажетесь желанным, — я, разумеется, говорю только о количестве, а отнюдь не о качестве. Ну, а кого вы считаете нежелательным? Негра? Но ведь он безоружен.

Этот обмен любезностями был прерван новым нападением кита — удар в корму снес руль и вывел из строя рулевой привод.

— Уровень воды? — крикнул капитан Доун помощнику.

— Три фута, сэр, я только что замерил, — последовал ответ. — Я считаю, сэр, что пора грузить шлюпку; тогда после следующего удара мы быстро погрузим остальной багаж, погрузимся сами и тронемся в путь.

Капитан Доун кивнул.

— Да, мешкать больше нечего. Приготовиться! Стюард, вы первый прыгнете в шлюпку, и я передам вам хронометр.

Нишиканта с воинственным видом всей своей тушей надвинулся на капитана, распахнул рубашку и показал револьвер.

— Шлюпка и так будет перегружена, — заявил он, — стюарда мы не возьмем. Зарубите это себе на носу. Стюард попадает в число остающихся.

Капитан Доун хладнокровно посмотрел на внушительный кольт; в сознании его возникло прекрасное видение — доходный дом в Сан-Франциско. Он пожал плечами.

— Шлюпка и без того будет перегружена всей этой дрянью. Подбирайте себе компанию по своему вкусу, пожалуйста, но запомните раз и навсегда, что капитан — я, и если вы хотите еще когда-нибудь увидать свои ссудные кассы, то советую вам позаботиться о моей целости и сохранности! Стюард!

Доутри шагнул к нему.

— Для вас, к сожалению, не хватит места, так же как еще для двух или трех человек.

— Слава Богу! — отвечал Доутри. — А я-то боялся, что вы потащите меня за собой, сэр. Квэк, перенеси мои вещи на тот борт, в другую шлюпку.

Покуда Квэк исполнял приказание, помощник в последний раз замерил уровень воды, он достигал уже трех с половиной футов, и матросы начали грузить в шлюпку мелкую поклажу.

Мускулистый, поджарый швед, с покатыми плечами, шести с половиной футов роста, при этом худой, как щепка, с выцветшими голубыми глазами и, уж разумеется, белокурый, бросился помогать Квэку.

— Эй, Длинный Джон, — окликнул его помощник капитана, — ваша шлюпка здесь. Идите сюда.

Долговязый матрос смущенно улыбнулся и нерешительно пробормотал:

— Я лучше буду там, где кок.

— Ну и отлично, пусть отправляется с ними; чем меньше у нас народу, тем лучше, — вмешался Нишиканта. — Кто еще хочет в ту шлюпку?

— Заметьте, — вызывающе глядя ему прямо в лицо, объявил Доутри, — что все оставшееся пиво грузится в мою шлюпку, конечно, если вы не возражаете.

— За два цента! — с притворным гневом крикнул Нишиканта.

— Вы даже за два миллиона центов не рискнете поссориться со мной, подлый кровосос, — отвечал Доутри. — Этих-то вы сумели запугать, но со мной, вы знаете, шутки плохи! Я вас насквозь вижу. За два миллиарда центов вы меня к себе не заманите. Эй, Длинный Джон! Тащи-ка этот ящик пива и эти пол-ящика тоже в нашу шлюпку. Вы хотите что-нибудь возразить, Нишиканта?

Возражать Симон Нишиканта не решился, да и вообще не знал, что делать; из этой растерянности его вывел крик:

— Вот он опять!

Все снова вцепились во что попало. Новым ударом кит разнес еще несколько шпангоутов, и «Мэри Тернер» беспомощно закачалась с борта на борт.

— Спускать шлюпку! Ходом!

Приказ капитана был немедленно выполнен.

Шлюпка поднималась и опускалась на волнах у борта шхуны; с палубы стали торопливо кидать в нее еще не погруженную поклажу.

— Разрешите помочь вам, сэр, раз уж поднялась этакая суматоха, — проворчал Доутри, принимая хронометр из рук капитана Доуна и готовясь передать его обратно, как только капитан усядется в шлюпке.

— Идите же, Гринлиф, — позвал Старого моряка фермер.

— Покорно благодарю, сэр, но мне думается, что в другой шлюпке будет просторнее.

— Давайте сюда кока! — крикнул Нишиканта, устроившийся на корме. — Прыгай сюда, желтая обезьяна! Живо!

Сухонький старичок А Мой стоял, что-то соображая. Он явно пребывал в нерешительности, хотя никто не мог бы в точности догадаться, о чем он думает, глядя то на револьвер ростовщика, то на прокаженных — Квэка и Доутри и взвешивая все за и против, вплоть до загрузки обеих шлюпок.

— Моя едет та лодка, — сказал он наконец и потащил свой мешок к другому борту.

— Отваливай! — скомандовал капитан Доун.

Скрэпс, раскормленный щенок ньюфаундленд, непрерывно резвившийся среди всеобщей суматохи, увидав множество знакомых ему людей с «Мэри Тернер» в стоящей рядом со шхуной шлюпке, перескочил через фальшборт, находившийся у самой воды, и плюхнулся на груду мешков и ящиков.

Лодка качнулась, и Нишиканта, с револьвером в руке, крикнул:

— К черту! Швырните его обратно!

Матросы повиновались, и удивленный Скрэпс, взлетев в воздух, вдруг опять оказался лежащим на спине на палубе «Мэри Тернер». Сочтя это не более как грубоватой шуткой, он стал,

извиваясь от восторга, кататься по палубе в ожидании уготованных ему новых забав. Дружелюбно ворча, он подкатился было к Майклу, теперь разгуливавшему на свободе, но тот встретил его весьма неприветливым рычанием.

— Похоже, что нам придется и его принять в компанию, что вы скажете, сэр! — заметил Доутри и, улучив минутку, потрепал щенка по голове, за что разнежившийся песик с благодарностью лизнул его руку.

Первоклассный пароходный стюард непременно отличается от всех прочих людей недюжинной ловкостью и расторопностью. А Дэг Доутри был первоклассным стюардом. Пристроив Старого моряка в безопасный уголок и отдав Длинному Джону приказание готовить к спуску шлюпку, он послал Квэка в трюм наполнить бочонки скудными остатками пресной воды, а А Моя в камбуз

— собрать то, что еще оставалось от провизии.

Первая шлюпка, до отказа набитая людьми, провиантом, багажом и стремительно удалявшаяся от центра опасности, то есть от «Мэри Тернер», не отошла еще и на сотню ярдов, когда кит, стрелой промчавшийся мимо шхуны, сделал резкий поворот на полном ходу и, вздымая пенящуюся воду, прошел так близко от шлюпки, что гребцам пришлось убрать весла с этой стороны. Качаясь на волнах, поднятых китом, низко сидевшая посудина зачерпнула воды. Нишиканта, по-прежнему с револьвером в руке стоявший подле облюбованного им места, пошатнулся. Стараясь удержать равновесие, он сделал какое-то судорожное движение и... уронил револьвер за борт.

— Ха-ха! — торжествовал Доутри. — Ну что, Нишиканта? Теперь, господа, и вам его нечего бояться! Можете в случае нужды использовать его на мясо! Кушанье, конечно, незавидное, но что поделаешь. Мой совет: как начнете голодать, съешьте его первым. Правда, он грязное животное, и мясо будет с душком, ну да ведь многим честным людям приходилось есть тухлятину — и ничего, живы оставались. Советую только предварительно положить его на ночь в соленую воду.

Гримшоу, не слишком удобно устроившийся на корме, тотчас же, как и Доутри, оценил положение; он вскочил на ноги, схватил толстого ростовщика за шиворот, весьма неделикатно встряхнул его и бросил лицом вниз на дно шлюпки.

— Ха-ха! — уже издалека послышался смех Доутри.

Гримшоу неторопливо уселся на освободившееся удобное место.

— Хотите к нам? — крикнул он Доутри.

— Нет, благодарствуйте, сэр, — донесся ответ. — Нас много, и нам будет лучше разместиться в другой шлюпке.

Гребцы изо всех сил налегали на весла, другие с не меньшей энергией вычерпывали воду, и шлюпка быстро удалялась. Доутри вместе с А Моем спустился в кладовую, находившуюся под каютами, и стал выбирать оттуда остатки провианта.

Покуда они возились в трюме, кит опять ударил шхуну в левый борт и могучим взмахом хвоста начисто снес вант-путенсы и планшир у бизань-вант. Набежавшая волна снова качнула шхуну, и вся бизань-мачта с треском рухнула.

— Ну, это всем китам кит, — заметил Доутри А Мою, когда они, поднявшись на палубу, обнаружили последние разрушения. А Мой решил принести еще кое-каких продуктов, а Доутри, Квэк и Длинный Джон, всей своей тяжестью налегши на тали, подняли и приготовили шлюпку к спуску.

— Подождем следующего удара, затем спустим шлюпку, побросаем в нее поклажу и... наутек, — сказал стюард Старому моряку. — Времени у нас еще хоть отбавляй. Шхуна, даже и залитая водой, будет погружаться не скорее, чем погружается сейчас.

Когда он произносил эти слова, шпигаты были уже почти вровень с водой; судно медленно покачивалось на волнах.

— Эй! — вдруг крикнул Доутри вслед удалявшейся шлюпке капитана Доуна.

— Как держать курс на Маркизские острова? И сколько до них миль?

— Норд-норд-ост-четверть к осту, — едва слышно донесся ответ. — Курс на Нука-Хиву! Около двухсот миль. Идите с юго-восточным пассатом полный бейдевинд и дойдете.

— Благодарю вас, сэр! — успел еще крикнуть стюард. Затем он бросился на корму, разбил нактоуз, выхватил компас и перенес его в шлюпку.

Поскольку кит не возобновлял нападений, они уж было решили, что он угомонился, и выжидательно наблюдали за плавающим на расстоянии двухсот или трехсот ярдов чудовищем, тогда как «Мэри Тернер» медленно погружалась в воду.

— Надо бы, по-моему, воспользоваться минутой, — говорил Доутри, обсуждая с Длинным Джоном создавшееся положение, когда в их разговор неожиданно ворвался третий голос.

— Кокки, Кокки! — послышались жалобные звуки откуда-то снизу и тут же сменились раздраженными, злобными: — Черт подери, черт подери, черт подери!

— Ну, конечно же, возьмем! — крикнул Доутри, ринулся вперед, перебрался через путаницу снастей рухнувшей грот-стеньги, преграждавшую ему дорогу, и обнаружил, наконец, беленький комочек жизни, примостившийся на краю койки: он сидел, взъерошив перышки, нахохлившись, и на человеческом языке клял превратности судьбы, сумасбродство кораблей и мореплавателей.

Какаду вспорхнул на протянутый ему Доутри указательный палец, быстро перебирая коготками, больно царапавшими руку стюарда, вскарабкался к нему на плечо, прильнул головкой к его уху и с благодарностью и облегчением вновь прокричал:

— Кокки, Кокки!

— Ах ты сукин сын! — ласково буркнул Доутри.

— Слава Богу! — произнес Кокки голосом, до того похожим на голос Доутри, что тот вздрогнул.

— Ну и сукин сын! — повторил стюард, прижимая то к щеке, то к уху нарядный хохолок попугая. — А ведь есть люди, которые думают, что мир создан только для них.

Кит продолжал бездействовать, но вода уже начинала заливать палубу, и Доутри отдал приказ спускать шлюпку. А Мой первым вскочил в нее и уселся на носу. Доутри предположил, что

торопливость маленького китайца объясняется боязнью лишнюю минуту остаться на тонущем корабле. Но он ошибся. А Мой хотел сесть как можно дальше от Доутри и Квэка.

Оттолкнувшись, они живо сбросили вещи и продукты с банок на дно шлюпки и заняли свои места: А Мой на носу, Длинный Джон рядом с Квэком, а Доутри (Кокки все еще сидел у него на плече) загребным. Майкл, взгромоздившийся на кучу вещей, сваленных на корме, не сводил тоскливого взора с «Мэри Тернер» и сердито огрызался на дурачка Скрэпса, уже собравшегося затеять возню. Старый моряк стал на руль и, когда все расселись по местам, отдал приказ отваливать.

Майкл заворчал и ощетинился, давая знать, что кит близко. Но чудовище больше не нападало, а медленно кружило вокруг шхуны, как бы изучая и разглядывая своего противника.

— Бьюсь об заклад, что от всех этих ударов у него башка разболелась,

— засмеялся Доутри, главным образом чтобы подбодрить своих спутников.

Не успели они раз десять взмахнуть веслами, как неожиданный возглас, вырвавшийся у Длинного Джона, заставил их посмотреть по направлению его взгляда на бак шхуны, где судовая кошка гонялась за огромной крысой. Они увидели и еще множество крыс: прибывающая вода, по-видимому, выгнала их из нор.

— Неужто же мы оставим эту кошку на погибель? — вопросительно произнес Доутри.

— Конечно, нет, — ответил Старый моряк, наваливаясь на румпель, чтобы повернуть шлюпку обратно.

Кит, продолжавший неторопливо описывать круги, дважды изрядно качнул шлюпку, прежде чем им удалось отойти от судна. На них он, видимо, не обращал ни малейшего внимания. Ведь смерть настигла его детеныша с этой громадины, со шхуны, и весь его гнев, вся его ярость были направлены против нее.

Когда они отошли, кит устремился в открытое море, но, пройдя с полмили, круто повернул и снова ринулся на приступ.

— Ну, теперь, когда она полна воды, он об нее расшибется насмерть, — заметил Доутри. — Бросьте грести, давайте понаблюдаем.

Удар, сильнейший из всех, пришелся как раз по середине корабля. Обломки фальшборта и штаги взлетели в воздух, шхуну качнуло так, что медная обшивка блеснула на солнце. Покуда она медленно выпрямлялась, грот-мачта качалась, как пьяная, но не падала.

— Точка! — закричал Доутри, видя, как кит вздымает воду бессмысленными и нелепыми взмахами гигантского хвоста. — Теперь, видно, им обоим конец.

— Шхуна уже нет! — заметил Квэк, когда фальшборт «Мэри Тернер» исчез под водой. «Мэри Тернер» погружалась с такой быстротой, что не прошло и нескольких мгновений, как даже обломок грот-мачты исчез из глаз. На поверхности океана теперь виднелась только едва передвигающаяся туша кита.

— Даже похвалиться-то нечем будет, — гласило краткое надгробное слово Доутри. — Никто нам все равно не поверит. Чтобы такое прочное суденышко потопила — форменным образом потопила — старая китиха! Да, судари мои! Я никогда не верил тому старикашке в Гонолулу,

который уверял меня, что своими глазами видел гибель «Эссекса», а теперь и мне никто не поверит.

— Красавица шхуна, прелестное, умное суденышко, — причитал Старый моряк. — Никогда я не видывал более изящной оснастки на трехмачтовом судне, и никогда не бывало шхуны, которая бы лавировала так легко и красиво.

Дэг Доутри, старый холостяк, непривычный к оседлому образу жизни, всматривался в пассажиров лодки, оказавшихся теперь на его попечении. Вот они: Квэк, уродливый папуас, некогда спасенный им от прожорливости своих соплеменников; А Мой, маленький китаец, судовой кок неопределенного возраста; Старый моряк, благородный, любимый, почитаемый; Длинный Джон — юный скандинав, великан ростом и младенец душой; Киллени-бой — чудо-пес; Скрэпс, неимоверно глупый, круглый, точно шар, щенок; Кокки — белоперый комочек жизни, высокомерный, как стальной клинок, и неотразимо прелестный, как балованное дитя, и, наконец, судовая кошка — рыжая, гибкая, истребительница крыс, свернувшаяся в клубочек у ног А Моя. А от Маркизских островов их отделяли добрых двести миль! Да еще попутный ветер сейчас улегся, хотя с восходом солнца, без сомнения, должен был задуть снова.

Стюард вздохнул, и ему внезапно вспомнилась детская песенка: «Жила-была старушка в дырявом башмаке. И было у нее ребят, что пескарей в реке!» [9]. Он отер рукою пот со лба, смутно ощутил онемевшее место на лбу между бровями и сказал:

— Вот что, ребятки, до Маркизских островов нам на веслах не добраться. Для этого нужен хороший ветер. Но отойти на милю-другую от этой треклятой старой китихи надо непременно. Не знаю, оживет она или нет, но вблизи от нее я чувствую себя не в своей тарелке.

Глава шестнадцатая

Двумя днями позднее на пароходе «Марипоза», совершавшем свой обычный рейс между Таити и Сан-Франциско, пассажиры вдруг прервали игру в серсо, повскакали из-за карточных столов в курительном салоне, бросили недочитанные романы на шезлонгах и столпились у борта, не сводя глаз с маленькой шлюпки, которая приближалась к ним по волнам, подгоняемая легким попутным ветром. Когда же Длинный Джон с помощью А Моя и Квэка спустил парус и убрал мачту, в толпе пассажиров послышались смешки и хихиканье. То, что они увидели, резко противоречило их представлениям о потерпевших крушение моряках, спасающихся посреди океана на утлой лодчонке.

Совсем как Ноев ковчег, выглядела эта шлюпка, до отказа набитая постельными принадлежностями, провиантом, ящиками с пивом, имеющая на борту кошку, двух собак, белоснежного какаду, китайца, курчавого папуаса, белокурого гиганта, седовласого Дэга Доутри и Старого моряка, как нельзя лучше подходившего к роли праотца Ноя. Какой-то шутник, клерк строительной конторы, проводивший свой отпуск на море, так и приветствовал его.

— Мое почтение, дедушка Ной! — крикнул он старику. — Ну, как потоп? Скоро ли доберетесь до Арарата?

— Много рыбы наловили? — поинтересовался другой юнец, перегнувшийся через фальшборт.

— Вот здорово! Вы только посмотрите, сколько пива! Доброго английского пива! Запишите за мной один ящик.

Никогда еще потерпевших кораблекрушение не спасали с таким гамом и хохотом. Веселые молодые люди уверяли, что это сам старик Ной с остатками погибших колен Израилевых явился на «Марипозу», и рассказывали пожилым пассажиркам леденящие кровь истории о тропическом острове, погрузившемся в океан вследствие землетрясения и вулканических катастроф.

— Я стюард, — представился Дэг Доутри капитану «Марипозы», — и буду счастлив и благодарен, если вы поместите меня вместе с вашими стюардами. Длинный Джон — матрос, он отлично устроится в кубрике. Китаец — кок, а негр — моя собственность. Но мистер Гринлиф — джентльмен, сэр, и ему нужен самый лучший стол и самая лучшая каюта.

Когда же на «Марипозе» стало известно, что это люди, спасшиеся с трехмачтовой шхуны «Мэри Тернер», разнесенной в щепы и потопленной китом, то почтенные дамы поверили этой истории не больше, чем небылицам о затонувшем острове.

— Скажите, капитан Хэйворд, — полюбопытствовала одна из них, — мог бы кит потопить «Марипозу»?

— До сих пор с ней этого не случалось, — отвечал капитан.

— Я была в этом уверена, — многозначительно подчеркнула дама. — Корабли строятся не для того, чтобы их топили киты! Верно ведь, капитан?

— Вы, безусловно, правы, сударыня, тем не менее все пятеро настаивают именно на такой версии.

— Моряки ведь известны своей буйной фантазией, и вы, наверно, не станете это оспаривать, капитан? — Свое раз и навсегда сложившееся мнение о моряках леди почему-то решила облечь в вопросительную форму.

— Заправские врали, сударыня. Ей-богу, после сорока лет морской службы я бы не поверил и тому, что сам показал под присягой.

Девять дней спустя «Марипоза» вошла в Золотые ворота[10] и стала на якорь в Сан-Франциско. Юмористические статейки в местных газетах, творения желторотых репортеров, едва окончивших среднюю школу, на часок-другой потешили жителей города сообщением о том, что «Марипоза» подобрала в открытом море потерпевших кораблекрушение, которые рассказали о себе столь фантастическую историю, что даже репортеры им не поверили.

Дурацкие репортерские измышления давно уже привели к тому, что все факты, мало-мальски отклоняющиеся от обыденных, воспринимаются как вранье. Желторотые репортеры, газетчики и тупоумные обыватели, все свои впечатления черпающие из кинофильмов, попросту не подозревают о существовании бескрайних просторов реального мира.

— Потоплен китом? — переспрашивает обыватель. — Чушь и больше ничего. Форменная ерунда. Вот «Приключения Элинор» — это, доложу вам, фильм; там я видел…

Так Доутри и его команда сошли на берег во Фриско безвестными и почти не замеченными, и уже на следующее утро газеты были полны досужими выдумками морских репортеров о нападении гигантской медузы на итальянского рыбака. Длинного Джона товарищи тотчас же потеряли из виду: он поселился в одном из портовых пансионов, через неделю вступил в союз Моряков и нанялся на паровую шхуну, отправляющуюся за грузом секвойи в Бандон, штат Орегон. А Мой, едва сойдя на берег, был задержан федеральным иммиграционным

управлением и на первом же пароходе Тихоокеанской компании насильственно отправлен в Китай. Кошка с «Мэри Тернер» прижилась на баке «Марипозы» и отправилась в обратный рейс на Таити. Скрэпса взял к себе домой помощник капитана.

Итак, Дэг Доутри, очутившись на берегу, снял на свои скромные сбережения две недорогие комнатки для себя и своих подопечных — иными словами, для Чарльза Стоу Гринлифа, Квэка, Майкла и еще одной весьма значительной персоны — Кокки. Но Старому моряку Доутри не позволил долго оставаться вместе с ними.

— Этак ничего у нас не получится, сэр, — заявил он ему. — Нам нужны деньги. А приобрести их можете только вы. Вам надо сегодня же купить два чемодана, взять такси и ошвартоваться у подъезда Бронкс-отеля в роли человека, который расходами не стесняется. Это шикарный отель и не такой уж дорогой, если вести себя разумно. Номер придется взять небольшой, окнами во двор, а питаться вы будете на стороне, это выйдет много дешевле.

— Помилуйте, Доутри, да ведь у меня совсем нет денег, — запротестовал Старый моряк.

— Неважно, сэр! Я вас поддержу по мере сил.

— Но, дорогой мой, вы же знаете, что я старый мошенник. Я не могу обжуливать вас, как всех прочих. Вы… вы же друг мне, понимаете?

— Отлично понимаю и очень благодарен вам за эти слова, сэр. Потому-то я и забочусь о вас. Но когда вы подцепите новых искателей кладов и оснастите судно, вы возьмете меня с собой в качестве стюарда вместе с Квэком, Киллени-боем и всем остальным семейством. Вы меня усыновили, теперь я ваш взрослый сын, и уж извольте меня слушаться. Отель Бронкс прямо-таки создан для вас — одно название чего стоит. Такая вот обстановка нам и нужна. Люди не столько будут прислушиваться к вашим речам, сколько отмечать про себя, в каком отеле вы живете. Помяните мое слово, когда вы, развалясь в кожаном кресле, с дорогой сигарой во рту и стаканом двадцатицентового питья на столике, начнете рассказывать им про сокровища, это уж само по себе будет дорого стоить. Вам обязательно поверят. Пойдемте-ка, сэр, не мешкая, и купим чемоданы.

Старый моряк с шиком подъехал к Бронкс-отелю, старомодным почерком начертал в книге для приезжающих: «Чарльз Стоу Гринлиф» — и с новой энергией принялся за дело, которое годами спасало его от работного дома. Дэг Доутри не менее энергично взялся за поиски работы. Это было крайне необходимо при столь широком образе жизни. Его семейству, состоящему из Квэка, Майкла и Кокки, нужны были кров и пища; еще дороже обходилось содержание Старого моряка в первоклассном отеле; и вдобавок существовала его собственная неутолимая потребность в шести квартах пива.

На беду, это было время промышленного кризиса. Проблема безработицы в Сан-Франциско стояла острее, чем когда-либо. На каждое место стюарда имелось по крайней мере три кандидата. Постоянной работы Доутри найти не удалось, а случайные заработки никак не покрывали его текущих расходов. Три дня он даже пропотел с киркой и лопатой на земляных работах, производившихся муниципалитетом, но затем, согласно закону, должен был уступить свое место другому безработному, которому эти три дня помогли бы еще немного продержаться на поверхности.

Доутри охотно подыскал бы какую-нибудь работенку Квэку, но это было невозможно. Папуас, лишь однажды видевший Сидней с парохода, сроду не бывал в большом городе. В жизни он знал только пароходы, острова, затерянные в Южных морях, да свой родной остров Короля

Вильгельма в Меланезии. Итак, Квэк оставался дома стряпать, убирать две комнатки и ухаживать за Майклом и Кокки. Майклу, привыкшему к просторным палубам, к коралловым бухтам и плантациям, комнатки эти казались тюрьмой.

Правда, по вечерам он отправлялся гулять с Доутри, и Квэк иногда сопровождал их. Двуногие боги, которыми кишели тротуары, очень докучали Майклу и сильно обесценились в его глазах. Зато стюард, неизменно обожаемый бог, стал ему еще дороже. Майкл чувствовал себя потерянным в этом сонме богов и только в Доутри видел защиту от бурь и горестей жизни.

«Не позволяй наступать себе на ногу» — вот основной лозунг горожан двадцатого века. И Майкл живо усвоил его, оберегая свои лапы от тысяч обутых в кожу людских ног, вечно куда-то спешащих и нисколько не церемонящихся со скромным ирландским терьером.

Вечерние прогулки со стюардом неизменно сводились к странствию из бара в бар, где люди, толпясь у длинных стоек, на посыпанном опилками полу или сидя за столиками, пили и болтали, много пили и много болтали. То же самое делал и Доутри, но, выполнив свой ежедневный шестиквартовый урок, немедленно шел домой и заваливался спать. В эти вечера Доутри и Майкл завели немало знакомств среди моряков каботажного плавания, грузчиков и портовых рабочих.

Один из таких моряков, капитан шхуны, совершавшей регулярный рейс в бухте Сан-Франциско, а также плававшей по рекам Сан-Хоакин и Сакраменто, пообещал Доутри место кока и одновременно матроса на шхуне «Говард». Эта шхуна, водоизмещением в восемьдесят тонн, включая палубный груз, плавала днем и ночью, в любую погоду, а капитан Иоргенсен, кок и два матроса, на основах полной демократии, грузили и разгружали ее; когда один стоял у штурвала, трое остальных спали. Каждый работал за двоих, а то и за троих, но пища на «Говарде» была обильной, а заработок от сорока пяти до шестидесяти долларов в месяц.

— Даю вам слово, — заявил капитан Иоргенсен, — что я живо спроважу своего кока Гансона, и тогда вы явитесь к нам на борт вместе с вашим псом.

— Он ласково потрепал Майкла по голове своей большой, мозолистой рукой. — Славный песик, что и говорить! Он нам очень пригодится на стоянках, когда все спят как убитые.

— Спровадьте поскорей этого Гансона, — настаивал Доутри.

Но капитан в ответ только медленно покачал своей тугодумной головой.

— Сначала я должен задать ему хорошую трепку.

— Ну так задайте ему трепку сегодня и спровадьте его, — твердил Доутри. — Вон он стоит в углу у стойки.

— Нет, так не пойдет. Он должен дать мне повод. Поводов-то у меня, положим, хоть отбавляй, но нужно такой, чтобы всем все было ясно. Я задам ему трепку, а народ кругом пусть говорит: «Ай да капитан, так его, так его!» Тогда место будет за вами, Доутри.

Если бы капитан Иоргенсен не медлил так с задуманной трепкой, а Гансон поскорее дал бы повод к ней, Майкл отправился бы вместе с Доутри на шхуну «Говард» и вся его последующая жизнь резко отличалась бы от той, которую ему готовила судьба. Но чему быть, того не миновать — случайность и сочетание случайностей, над которыми Майкл был не властен и о которых не подозревал, так же как не подозревал о них Доутри, определили его дальнейшую участь. В ту пору самая безудержная фантазия не могла бы предугадать сценическую карьеру

Майкла и ту ужасающую жестокость, которую ему пришлось испытать на себе. Что же касается судьбы Дэга Доутри и Квэка, то она не могла бы привидеться даже наркоману в его кошмарном забытьи.

Глава семнадцатая

Как-то вечером Дэг Доутри сидел в салуне «Приют землекопов». Он находился в обстоятельствах весьма затруднительных. Найти работу было почти невозможно, а сбережения его подошли к концу. Перед вечером у него состоялся телефонный разговор со Старым моряком, который только и мог сообщить ему, что какой-то отставной доктор-шарлатан, видимо, клюнул на его удочку.

— Позвольте мне заложить кольца, — уже не в первый раз настаивал Старый моряк.

— Нет, сэр, — отвечал Доутри. — Ваши кольца нужны нам для дела. Это наш основной капитал. Они создают нужную нам атмосферу. Что называется, говорят красноречивее слов. Сегодня вечером я кое-что обмозгую, а завтра утром мы встретимся, сэр. Оставьте при себе кольца и не слишком энергично обрабатывайте своего доктора. Пусть он сам прибежит к вам. Это лучший способ. Итак, все идет недурно, а дураков на наш век хватит. Ни о чем не беспокойтесь, сэр. Дэг Доутри еще никогда не давал маху.

Но, сидя в «Приюте землекопов», он чувствовал себя далеко не так уверенно. В кармане у него было ровно столько денег, сколько нужно было для уплаты квартирной хозяйке за следующую неделю; он уже просрочил три дня, и хозяйка, особа весьма неприятная, шумно требовала долг. Дома у них пищи было разве что на завтрашний день, да и то при соблюдении строжайшей экономии. Отельный счет Старого моряка не оплачивался уже в течение двух недель и составлял изрядную сумму, так как отель был первоклассный; а у самого старика в кармане оставалось всего несколько долларов, бряцая которыми он пускал пыль в глаза жадному до кладов доктору.

Но самое печальное было то, что Доутри пришлось наполовину сократить свою ежедневную порцию пива, — он твердо решил не тратить квартирных денег, так как в противном случае очутился бы со всем своим семейством на улице. Поэтому он и сидел сейчас за столиком с капитаном Иоргенсеном, который только что вернулся с грузом сена из Петалумы. Иоргенсен уже дважды заказывал пиво, и жажда его, видимо, была утолена. Он то и дело зевал, устав от тяжелой работы и ночного бодрствования, да поглядывал на часы. А Доутри недоставало трех кварт! Вдобавок Гансон еще не получил своей трепки, а значит, и поступление в качестве кока на шхуну все еще оставалось туманной и отдаленном перспективой.

Внезапно Доутри, совсем уже было впавшего в отчаяние, осенила идея, как добыть еще кружку молодого пива. Он не очень-то долюбливал молодое пиво, но оно было дешевле.

— Посмотрите на моего пса, капитан, — начал он. — Вы себе даже представить не можете, до чего этот Киллени-бой умен. Считает он, например, не хуже нас с вами.

— Гм! — буркнул капитан Иоргенсен. — Я видал таких собак в балаганах. Все это обман. Собаки и лошади считать не умеют.

— А этот пес умеет, — спокойно продолжал Доутри. — И вы его ничем не собьете. Давайте поспорим: я сейчас закажу две кружки пива, громко, так, чтобы он услышал, затем шепотом велю официанту принести одну, и вы увидите, какой шум поднимет Киллени-бой, когда официант явится с одной кружкой.

— Вот это да! На что же мы будем спорить?

Доутри нащупал в кармане десятицентовик. Если Киллени подведет его, то деньги за квартиру внесены не будут. Но Киллени не может его подвести, решил Доутри и сказал:

— Давайте спорить на две кружки пива.

Они подозвали официанта и, после того как ему была дана секретная инструкция, кликнули Майкла, примостившегося в углу, у ног Квэка. Когда Доутри придвинул стул и пригласил его к столу, Майкл насторожился. Ясно, что стюард чего-то домогается от него, видимо, хочет, чтобы он показал себя в выгодном свете. И он преисполнился рвения: не показать себя в выгодном свете, а выказать свою любовь стюарду. Любовь и служение любимому

— для Майкла это было единое понятие. Готовый по первому слову Доутри прыгнуть в огонь, Майкл сейчас был готов угадать малейшее его желание. Так он понимал любовь. Любовь для него означала одно — служение.

— Эй, официант, — позвал Доутри и, когда тот приблизился, громко сказал: — Два пива!.. Ты понял, Киллени? Два пива!

Майкл заерзал на стуле, порывисто положил на стол лапу и так же порывисто лизнул своим красным языком склонившееся над ним лицо Доутри.

— Он запомнит, — сказал Доутри капитану.

— Не запомнит, если мы будем разговаривать. Сейчас мы собьем с толку вашего песика. Я скажу, что место кока за вами, как только я спроважу Гансона. А вы скажете, что мне надо спровадить его как можно скорее. Потом я скажу, что Гансон сначала должен подать мне повод для трепки. А затем мы начнем спорить и орать друг на дружку. Ну как, идет?

Доутри кивнул, они затеяли громкий спор, и Майкл стал внимательно поглядывать то на одного, то на другого.

— Я выиграл, — объявил капитан Иоргенсен, когда официант подошел к их столику с одной кружкой пива. — Песик все забыл, если только он вообще помнил. Он думает, что мы сейчас подеремся. Одна или две кружки пива — это представление уже стерлось в его мозгу, как стираются волной слова, написанные на песке.

— А я полагаю, что он своей арифметики не забудет, сколько бы мы ни шумели, — отвечал Доутри, хотя сердце у него упало. — Впрочем, что там говорить, сейчас вы сами увидите, — обнадеживающе добавил он.

Официант поставил перед капитаном высокую кружку пива, и тот немедленно потянул ее к себе. Майкл весь напрягся, как струна: сейчас потребуется его служение, он отлично знал — стюард чего-то ждет от него, и, вдруг вспомнив старые уроки на «Макамбо», взглянул на невозмутимое лицо стюарда в ожидании «знака», затем осмотрелся и увидел не две, а одну кружку пива. Он так прочно усвоил разницу между одним и двумя, что — каким образом, этого не мог бы определить самый тонкий психолог, так же как не мог бы определить, что есть мысль, — немедленно понял: здесь стоит одна кружка, тогда как заказаны были две. Он молниеносно вскочил, в горле у него запершило от злости, он уперся передними лапами в стол и залаял на официанта.

Капитан Иоргенсен ударил кулаком по столу.

— Ваша взяла! — крикнул он. — Я плачу за пиво! Официант, еще кружку.

Майкл взглянул на Доутри — для проверки; и рука, погладившая его голову, дала ему утвердительный ответ.

— Попробуем еще раз, — сказал оживившийся и очень заинтергсованный капитан, вытирая ладонью пену с усов. — Он, наверно, только и знает, что один да два, а вот как насчет трех или четырех?

— То же самое капитан. Он умеет считать до пяти. Он понимает, когда и больше пяти, но названия цифр дальше не знает.

— Эй, Гансон! — заорал на весь зал капитан своему коку. — Иди сюда, дурья башка! Выпей с нами!

Гансон подошел и придвинул себе стул.

— Я плачу за пиво, Доутри, — объявил капитан. — Но заказывать будете вы. Погляди-ка, Гансон, какие штуки выделывает эта псина. Доутри сейчас закажет три пива. Пес слышит слово «три». А я — вот так — показываю официанту два пальца. Он приносит две кружки. И псина его за это облаивает. Вот увидишь.

Представление повторилось; Майкл не умолкал, пока приказание Доутри не было исполнено в точности.

— Он считать не умеет, — заключил Гансон. — А просто видит, что один из нас остался без пива. Вот и все. Пес знает, что перед каждым человеком должна стоять кружка. А раз это не так, вот он и лает.

— Он вам покажет еще кое-что почище, — хвастливо заметил Доутри. — Нас трое? Мы закажем четыре пива. Тогда у каждого будет по кружке, но Киллени все равно будет лаять на официанта.

И правда, Майкл, теперь уже отлично смекнувший, в чем состоит игра, лаял и огрызался, покуда официант не принес четвертой кружки. К этому времени вокруг их столика уже собралась целая толпа; каждый готов был оплатить пиво Доутри, чтобы только лишний раз испытать Майкла.

— Честное слово, — пробурчал себе под нос Доутри, — чудно устроена жизнь. Только что человек пропадал от жажды, а теперь его, кажется, хотят утопить в пиве.

Многие выражали желание купить Майкла, но давали за него смехотворные суммы — пятнадцать, двадцать долларов.

— Вот что я вам предлагаю, — говорил капитан Иоргенсен Доутри, которого он заманил в дальний угол. — Отдайте мне псину, я немедленно задам трепку Гансону, и можете завтра же приходить на работу.

Владелец «Приюта землекопов», в свою очередь, отозвал Доутри в сторонку и шептал ему на ухо:

— Приходите к нам каждый вечер с вашей собачкой. Дела у меня пойдут побойчее. Пиво будете получать бесплатно и вдобавок еще пятьдесят центов наличными за вечер.

Последнее предложение и зародило великую идею в мозгу Доутри. Дома, покуда Квэк расшнуровывал ему башмаки, он обратился к Майклу со следующей речью:

— Живем, Киллени! Если хозяин этого заведения дает мне за тебя сколько хочешь пива да еще пятьдесят центов в придачу, значит, ты этого стоишь, сынок, для него… а для меня и больше, куда больше. Ведь хозяин-то уж знает сдою выгоду, раз он продает пиво, а не покупает его. И ты, Киллени, не откажешься поработать на меня, это уж я знаю. Деньги нам нужны. У нас есть Квэк, и мистер Гринлиф, и Кокки, не говоря уж о нас с тобой, и еды нам требуется немало. Да и деньги на квартиру раздобыть нелегко, а работу и того труднее. Одним словом, сынок, завтра вечером мы с тобой погуляем по городу и посмотрим, сколько нам удастся раздобыть деньжонок.

И Майкл, сидя на коленях стюарда нос к носу и глядя ему прямо в глаза, от восторга весь извивался и корчился, высовывал язык и вилял хвостом. Что бы ни говорил стюард, это было прекрасно, потому что исходило от него.

Глава восемнадцатая

Седовласый стюард и мохнатый ирландский терьер быстро сделались заметными фигурами в ночной жизни портового района Сан-Франциско. В представление со счетом Доутри после тщательной подготовки ввел и Кокки. Теперь, когда официант не приносил заказанного ему числа кружек, Майкл оставался совершенно спокоен, покуда Кокки, по неприметному знаку стюарда, не становился на одну лапку и не упирался другой в шею Майкла, словно шепча ему что-то на ухо. После чего Майкл обводил глазами стол и задавал свой обычный «разнос» официанту.

Но настоящий успех выпал на их долю, когда Доутри и Майкл впервые исполнили дуэт «Свези меня в Рио!». Это было в матросском дансинге на Пасифик-стрит. Танцы немедленно прекратились, и матросы стали шумно требовать еще песен. Впрочем, хозяин заведения на этом не прогадал: никто не уходил, наоборот, толпа, окружавшая певцов, все прибывала, по мере того как Майкл исполнял свой репертуар: «Боже, храни короля», «Спи, малютка, спи», «Веди нас, свет благой», «Родина любимая моя» и «Шенандоа».

Теперь запахло уже чем-то посущественнее дарового пива: когда Доутри собрался уходить, владелец танцевального зала, сунув ему в руку три серебряных доллара, настойчиво просил завтра зайти опять.

— За эти-то гроши? — спросил стюард, с презрением глядя на деньги.

Хозяин торопливо прибавил еще два доллара, и Доутри пообещал прийти.

— Все равно, Киллени, сынок, — говорил он Майклу, когда они укладывались спать, — мы с тобой стоим больше, чем пять долларов за вечер. Таких псов, как ты, еще на свете не было. Подумать только — поющая собака, может исполнять со мной дуэты да еще сколько песен умеет петь и без меня. Говорят, Карузо в вечер зарабатывает тысячу долларов. Ты, конечно, не Карузо, но среди собак ты все-таки Карузо, первый и единственный. Я, сынок, буду твоим импресарио. Если мы с тобой не сумеем здесь зашибить долларов по двадцати в вечер, переберемся в кварталы пошикарнее. А наш старик в отеле Бронкс переедет в комнату по фасаду. И Квэка мы оденем с головы до ног. Киллени, друг мой, мы с тобой еще так разбогатеем, что если нашему старику не удастся опять подцепить какого-нибудь дуралея, то мы и сами раскошелимся — купим шхуну и пошлем его искать клад. Это значит, что простаками будем мы, ты и я. Ну что ж, и отлично!

Портовый район, бывший матросским поселком еще в те времена, когда Сан-Франциско слыл портом самых отчаянных в мире головорезов, разросся вместе с городом и теперь добрую половину своих доходов получал с туристов

— любителей «живописных трущоб», которые напропалую сорили деньгами в этих самых трущобах. У богатых людей, в особенности когда они хотели развлечь любопытных приезжих из Восточных штатов, даже вошло в обычай после обеда разъезжать на машинах из одного матросского дансинга в другой или подряд объезжать низкопробные кабаки. Словом, портовый район сделался такой же достопримечательностью, как Китайский квартал или отель Клифф-Хаус.

Вскоре Дэг Доутри уже получал двадцать долларов в вечер за два двадцатиминутных сеанса и отказывался от такого количества предлагаемых ему кружек пива, что ими можно было напоить десяток подобных ему, вечно жаждущих людей. Никогда еще стюард так не процветал; не будем отрицать, что и Майкл радовался этой новой жизни. Впрочем, радовался он главным образом за стюарда. Он служил ему, и именно такого служения больше всего жаждало его сердце.

Собственно говоря, Майкл был теперь кормильцем семьи, все члены которой благоденствовали. Квэк, в своих рыжих башмаках, в котелке и брюках с безукоризненно заглаженной складкой, просто сиял. Кроме всего прочего, он пристрастился к кинематографу и тратил на него от двадцати до тридцати центов в день, неуклонно просиживая в зале все сеансы. Хлопоты по дому отнимали у него теперь очень немного времени, так как они столовались в ресторанах. Старый моряк не только перебрался в один из лучших номеров отеля Бронкс, но, по настоянию Доутри, иногда даже приглашал своих новых знакомых в театр или в концерт и потом отвозил их домой на такси.

— А все же век мы так жить не станем, Киллени, — говорил Майклу стюард. — Вот сколотит наш старик новую компанию денежных мешков, разохотятся они на клады и… айда — в синее море, сынок! Под ногами крепкое суденышко, брызги воды, нет-нет и волна перекатится через палубу. Мы с тобой вправду отправимся в Рио, а не будем только петь об этом всякому сброду. Пусть себе сидят в этих мерзких городах. Море — вот это нам подходит, сынок, тебе и мне, и нашему старику, и Квэку, и Кокки тоже. Городская жизнь не про нас. Нездоровая это жизнь. Да, сынок, хочешь верь, хочешь не верь, а я как-то даже состарился и гибкость свою потерял. Мочи моей нет больше болтаться без дела. У меня сердце готово выпрыгнуть, как подумаю, что старик опять скажет мне: «А неплохо, стюард, выпить перед обедом вашего великолепного коктейля». В следующее плавание мы возьмем с собой маленький ледничок, чтоб у него всегда были хорошие коктейли.

А посмотри на Квэка, друг мой Киллени. Его ведь узнать нельзя. Если он и дальше будет все вечера просиживать в кинематографе, так, пожалуй, еще чахотку схватит. Ради его здоровья, и моего, и твоего, и всех нас надо нам поскорее сняться с якоря и удирать туда, где дуют пассаты, где летят брызги морской воды и все тело твое насквозь пропитывают солью.

И правда, Квэк, не жаловавшийся ни на какое недомогание, быстро таял. Опухоль под правой рукой, вначале разраставшаяся медленно и нечувствительно, теперь причиняла ему непрестанную ноющую боль. По ночам Квэк часто просыпался от боли, хотя спал всегда на левом боку. А Мой, если бы его не схватили и не отправили в Китай чиновники Иммиграционного управления, мог бы разъяснить ему, что означает эта опухоль, так же как мог бы разъяснить Дэгу Доутри, что означает все увеличивающееся онемелое пространство между его бровями, где уже явственно обозначались вертикальные «львиные» черточки. А Мой также растолковал бы, отчего у него согнут мизинец на левой руке. Сам Доутри поначалу

определил это как растяжение сухожилия. Позднее он решил, что подхватил ревматизм в сыром и туманном Сан-Франциско. И это заставляло его еще больше рваться в море, где тропическое солнце выжигает любые ревматизмы.

Работая стюардом, Доутри привык соприкасаться с представителями высших кругов общества. Но здесь, на «дне» Сан-Франциско, он впервые встретился с ними как равный с равными. Более того, они сами стремились к общению с ним. Искали его. Домогались чести сидеть за столиком Доутри и оплачивать его пиво в любом второразрядном кабачке, где Майкл давал свои представления. Они охотно потчевали бы стюарда и самым дорогим вином, не будь он так привержен к пиву. Некоторые из них даже приглашали его к себе на дом: «С вашей замечательной собачкой, которая, надо думать, споет нам несколько песенок». Но Доутри, гордясь Майклом, ради которого и делались эти приглашения, неизменно отклонял их, ссылаясь на то, что профессиональная жизнь слишком утомляет их обоих и они не могут позволить себе подобных развлечений. Майклу же он объяснил, что вот если бы им предложили пятьдесят долларов за вечер, то они бы, конечно, «кочевряжиться не стали».

Среди многочисленных новых знакомых Доутри и Майкла двоим было суждено сыграть значительную роль в их жизни. Первый — врач и местный политик, некий Уолтер Меррит Эморн — не раз подсаживался к столику Доутри, за которым неизменно восседал на стуле и Майкл. В благодарность за оказанную ему честь доктор Эмори вручил Доутри свою визитную карточку и заявил, что будет счастлив оказать медицинскую помощь, разумеется, бесплатно, и хозяину и собаке, в случае если таковая им понадобится.

Доутри считал доктора Уолтера Меррита Эмори дельным человеком, бесспорно, хорошим врачом, но в достижении своей цели беспощадным, как голодный тигр. Однажды он с грубоватой прямотой, допустимой при ныне сложившихся обстоятельствах, объявил ему:

— Вы, док, какое-то чудо! Это видишь с первого взгляда. Вам ничего не станет поперек дороги, разве что…

— Разве что, что?

— Разве что то, чего вы добиваетесь, вколочено кольями в землю, заперто на замок или находится под охраной полиции. Не хотел бы я иметь то, что хочется иметь вам.

— А вы, кстати сказать, имеете, — заверил его доктор, указав глазами на Майкла.

— Бр-р! — У Доутри мороз пробежал по коже. — Вы меня в дрожь вгоняете. Не знай я, что вы шутите, я бы дня не остался в Сан-Франциско. — Минуту-другую он сидел в задумчивости, уставившись в свое пиво, затем вдруг успокоенно засмеялся. — Никто на свете у меня этого пса не отнимет. Я убью всякого, кто на него позарится. И я заранее скажу ему это, так же как вот вам говорю сейчас; и он мне поверит, так же как верите вы. Вы знаете, что я не хвастаюсь. Ведь это собака…

Дэг Доутри запнулся, не умея выразить всей глубины своих чувств, и до дна осушил кружку.

Совсем к иному типу принадлежал другой человек, призванный сыграть роковую роль в жизни Доутри и Майкла. Гарри Дель Мар — называл он себя; Гарри Дель Мар — значилось на афишах «Орфсума», когда он там гастролировал. Этот человек для заработка занимался дрессировкой животных, но Доутри этого не знал, так как в данное время Дель Мар отдыхал от своих трудов и ровно ничего не делал. Он тоже оплачивал пиво Доутри, сидя за его столиком. Еще молодой, лет тридцати, не более, с очень длинными ресницами, окаймлявшими большие карие глаза, которые он сам считал магнетическими, красивый, с пухлыми женственными губами, он,

вразрез со своим внешним видом, отличался необыкновенной деловитостью в разговоре.

— У вас не хватит денег купить его, — отвечал Доутри, когда Дель Мар увеличил предлагаемую за Майкла сумму с пятисот долларов до тысячи.

— Тысяча долларов у меня найдется, — возражал Дель Мар.

— Нет! — Доутри покачал головой. — Я не продам его ни за какие деньги. Да и на что он вам сдался?

— Он мне нравится, — был ответ. — Зачем, по-вашему, я сюда пришел? Почему здесь толчется столько народу? И почему вообще люди тратятся на вино, держат лошадей, похваляются своей связью с актрисами, становятся попами или буквоедами? Потому что им это нравится. Вот и все. Все мы по мере сил делаем то, что нам нравится, и гоняемся за тем, чего нам хочется, независимо от того, есть у нас шансы на успех или нет. Мне, например, нравится ваша собака. Я хочу ее иметь. Пусть за тысячу долларов. Посмотрите, какой бриллиант на пальце вон у той женщины. Несомненно, он понравился ей, она его пожелала и получила, не думая о цене. Цена значила для нее меньше, чем бриллиант. А ваша собака…

— Но вы-то ей не нравитесь, — перебил его Доутри, — и это даже странно. Обычно она со всеми приветлива. На вас же ощерилась с первого взгляда. А на что, спрашивается, человеку собака, которая его не любит?

— Это не существенно, — спокойно отвечал Дель Мар. — Мне собака нравится. А нравлюсь я ей или не нравлюсь — это уж мое дело; думаю, что я бы сумел ее перевоспитать.

И Доутри вдруг показалось, что под безмятежной и корректной внешностью этого человека кроется бесконечная жестокость, еще усугубленная холодной расчетливостью. Конечно, Доутри подумал об этом не в таких словах. Вернее, даже не подумал, а почувствовал, чувствам же не нужны слова.

— Здесь поблизости есть банк, открытый всю ночь, — продолжал Дель Мар. — Мы можем зайти туда, и через полчаса деньги будут у вас в руках.

Доутри покачал головой.

— Никуда не годится, даже с коммерческой точки зрения, — заявил он. — Посудите сами, этот пес зарабатывает двадцать долларов в вечер. Допустим, что он работает двадцать пять дней в месяц. Это составляет пятьсот долларов ежемесячно, или шесть тысяч в год. Допустим, что это пять процентов с капитала, так легче считать, — значит, капитал равняется ста двадцати тысячам долларов. Предположим, что мое жалованье и мои личные расходы равняются двадцати тысячам, — выйдет, что собака стоит сто тысяч. Ладно, возьмем даже половину этой суммы — пятьдесят тысяч. А вы предлагаете мне за нее тысячу!

— Вы, кажется, полагаете, что он будет приносить доход вечно, как земельная собственность, — со спокойной улыбкой отвечал Дель Мар.

Доутри мгновенно почуял, куда он клонит.

— Пусть он проработает пять лет — вот уже тридцать тысяч. Пусть, наконец, всего один год — это шесть тысяч. Значит, вы мне за шесть тысяч предлагаете одну. Такая сделка меня не устраивает… и его тоже. И, наконец, когда он не сможет больше работать и никто за него цента не даст, для меня он все равно будет стоить миллион; и если кто-нибудь мне этот

миллион предложит, я обязательно потребую надбавки.

Глава девятнадцатая

— Мы еще встретимся, — так закончил Гарри Дель Мар свой четвертый разговор относительно продажи Майкла.

Но Гарри Дель Мар ошибся. Он никогда больше не встретился с Доутри, потому что Доутри встретился с доктором Эмори.

Квэк, спавший все более и более беспокойно из-за своей опухоли под мышкой, мешал спать Доутри. После целого ряда тревожных ночей стюард подумал-подумал и решил, что Квэк теперь уже достаточно болен, чтобы можно было обратиться к врачу. Потому-то однажды, часов в одиннадцать утра, он явился вместе с Квэком к Уолтеру Мерриту Эмори и дождался своей очереди, сидя в переполненной пациентами приемной.

— Боюсь, что у него рак, доктор, — заметил Доутри, покуда Квэк снимал рубашку и фуфайку. — Он ведь ничего не подозревал, покуда он не начал вертеться и стонать во сне. Вот смотрите! Что это, по-вашему? Рак или просто опухоль? Во всяком случае — одно из двух.

Но острый глаз Уолтера Меррита Эмори, скользнув по Квэку, тотчас же приметил скрюченные пальцы на левой руке. Впрочем, взгляд у доктора Эмори был не только острый, но и особо наметанный на проказу. В свое время он одним из первых добровольно отправился на Филиппины, где специально занимался изучением проказы, и насмотрелся такого множества прокаженных, что с первого взгляда мог определить эту болезнь, если только она не была в самой начальной стадии. От скрюченных пальцев, симптома безболезненной формы проказы, объясняющейся распадом нервов, и «львиных» складок на лбу его взгляд скользнул к опухоли под мышкой, и диагноз был поставлен молниеносно: бугорковая форма проказы.

И так же молниеносно мелькнули в его мозгу две мысли: первой была аксиома: когда и где бы ты ни встретил прокаженного — ищи второго; и вторая: вожделенный ирландский терьер, собственность Доутри, долгое время находившийся на попечении Квэка. В ту же секунду доктор Уолтер Меррит Эмори отвернулся от своего пациента. Неизвестно, что знает стюард о проказе и знает ли вообще что-нибудь, а пробуждать в нем подозрения весьма нежелательно. Взгляд его как бы случайно упал на часы, и он обратился к Доутри:

— Я бы сказал, что у него кровь не в порядке. Он очень истощен. Не привык к беспокойной городской жизни и к нашей пище. Я, конечно, произведу исследование опухоли на рак, хотя почти уверен, что результат будет отрицательный.

Говоря это, он впился глазами в лицо Доутри, вернее, в маленький клочок кожи между его бровями повыше переносицы. Этого было достаточно. Опытный глаз мгновенно различил «львиную» печать проказы.

— Да вы и сами порядком утомлены, — спокойно продолжал он. — Держу пари, что и вы чувствуете себя не в своей тарелке.

— Пожалуй, так оно и есть, — согласился Доутри. — Надо мне поскорее отправиться в море, в тропики, и там хорошенько прогреть свой ревматизм.

— Где у вас ревматизм? — как бы рассеянно спросил доктор Эмори, притворяясь, что хочет вновь заняться исследованием опухоли Квэка.

Доутри протянул ему левую руку со слегка скрючившимся мизинцем, беспокоившим его.

Уолтер Меррит Эмори из-под опущенных ресниц с притворной небрежностью взглянул на мизинец Доутри, чуть припухший, слегка искривленный, с блестящим, атласистым кожным покровом, и опять почти мгновенно повернулся к Квэку, но взгляд его еще раз испытующе остановился на «львиных» складках между бровей Доутри.

— Ревматизм — все еще загадка для нас, врачей, — произнес Эмори и, как бы увлеченный этой мыслью, обернулся к Доутри. — Очень индивидуальное заболевание, проявляющееся в самых различных формах. У каждого по-своему. Вы, наверно, чувствуете онемение?

Доутри усиленно сгибал и разгибал свой мизинец.

— Да, сэр, — отвечал он. — Палец потерял гибкость.

— Ага, — сочувственно пробормотал доктор Эмори. — Сядьте, пожалуйста, вон в то кресло. Если мне даже не удастся вас вылечить, то я во всяком случае направлю вас в наилучшее место для такого рода больных… Мисс Джадсон!

Покуда молодая особа в костюме сестры милосердия соответствующим образом устанавливала выкрашенное эмалевой краской врачебное кресло и усаживала в него Доутри, а доктор Эмори погружал кончики пальцев в сильнейший из имевшихся у него антисептических растворов, в мозгу его вновь всплыл вожделенный образ мохнатого ирландского терьера, показывавшего разные штуки в матросских кабачках и откликавшегося на кличку Киллени-бой.

— У вас ревматизм не только в левом мизинце, — заметил доктор Эмори.

— Лоб у вас тоже поражен. Одну минуточку, прошу прощения. Скажите, если будет больно. Я только хочу проверить свой диагноз… Ну да, конечно! Повторяю: скажите, когда что-нибудь почувствуете. Ревматизм — капризная болезнь… Обратите внимание, мисс Джадсон, держу пари, что вы еще не видели этакой формы ревматизма. Видите, больной не реагирует, полагает, что я еще не приступил…

Не переставая болтать и что-то рассказывать, он проделал нечто такое, что не могло бы и во сне присниться Дэгу Доутри, а Квэку, наблюдавшему за его манипуляциями, показалось дьявольским наваждением.

Доктор Эмори с помощью большой иглы исследовал темное пятнышко между «львиными» складками. Он не зондировал больное место, а попросту всадил в него иглу с одной стороны и, ведя ее параллельно кожному покрову, вытащил с другой. Квэк смотрел на все это, вытаращив глаза, но хозяин его не вздрогнул, не дернулся, не шелохнулся во время этой операции.

— Что же вы не начинаете? — нетерпеливо спросил Дэг Доутри. — А кроме того, дело вовсе не в моем ревматизме, а в опухоли негра.

— Вам надо пройти курс лечения, — внушительно заявил доктор Эмори. — Ревматизм — упорная штука. Нельзя допускать, чтобы он сделался хроническим. Я назначу вам лечение. Теперь вставайте, сейчас я посмотрю вашего негра.

Но, прежде чем уложить Квэка, доктор Эмори набросил на кресло простыню, насквозь пропитанную каким-то едко пахнущим раствором. Еще не приступив к исследованию Квэка, он, словно вдруг вспомнив что-то, взглянул на часы и тотчас же с укоризненной миной повернулся к ассистировавшей ему сестре.

— Мисс Джадсон, — холодно и резко проговорил он. — Вы меня подвели. Сейчас без двадцати двенадцать, а вы отлично знали, что ровно в половине двенадцатого у меня консилиум с доктором Хэдли. Могу себе представить, как он меня клянет. Вы же знаете его сварливый характер.

Мисс Джадсон кивнула головой с видом смиренным и раскаянным; казалось, она сознает свою вину и понимает, как важен был этот консилиум, на самом же деле она только отлично знала своего патрона, о встрече же, назначенной на половину двенадцатого, сейчас услыхала впервые.

— Доктор Хэдли принимает в этом же самом здании, — объяснил Доутри доктор Эмори. — На разговор нам потребуется минут пять, не более. Мы с ним разошлись во мнениях. Он поставил диагноз — хронический аппендицит и настаивает на операции, я же считаю, что это пиорея[11], из полости рта перекинувшаяся на желудок, и что смазывание рта эметином окажет целительное действие и на желудок. Вы, конечно, во всех этих вещах не разбираетесь, но дело в том, что я уговорил доктора Хэдли вызвать еще и доктора Гренвилля, зубного врача, специалиста по пиорее. Теперь они оба вот уже десять минут дожидаются меня! Мне надо бежать!

— Я вернусь через пять минут! — крикнул он уже в дверях. — Мисс Джадсон, скажите, пожалуйста, пациентам, ожидающим в приемной, чтобы они не беспокоились.

Он вошел в кабинет доктора Хэдли, где и в помине не было больного, страдающего то ли аппендицитом, то ли пиореей, снял телефонную трубку и позвонил сначала председателю городского санитарного управления, потом начальнику полиции. Ему повезло: он застал обоих на месте и, называя их запросто, по имени, сделал тому и другому какое-то секретное сообщение.

Вернулся он к себе в превосходном расположении духа.

— Я ему так прямо и сказал, — доверительно обратился он к мисс Джадсон, а заодно и к Доутри. — Доктор Гренвилль поддержал меня. Разумеется, типичная пиорея. Операция отменяется. Сейчас они уже смазывают ему эметином гнойники на деснах. А приятно, когда подтверждается твоя правота. Теперь я заслужил сигару. Верно ведь, мистер Доутри?

Доутри утвердительно кивнул, и доктор Эмори закурил толстую гавану, продолжая похваляться своим вымышленным торжеством над собратом по профессии. За этой болтовней он, видимо, позабыл про сигару и, небрежно облокотившись о кресло, не заметил, что горящий кончик ее уперся в один из скрюченных пальцев Квэка. Быстрый кивок в сторону мисс Джадсон, единственной, от кого это не укрылось, послужил ей предупреждением — не удивляться, что бы ни произошло.

— Вы понимаете, мистер Доутри, — оживленно повествовал Уолтер Меррит Эмори, гипнотизируя стюарда взглядом и не отнимая кончика сигары от пальца Квэка, — чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что к операциям у нас часто прибегают непродуманно и чересчур поспешно.

Огонь продолжал жечь живое человеческое тело, и тоненькая струйка дыма, поднимавшаяся от пальца Квэка, по цвету резко отличалась от дыма сигары.

— Возьмем хотя бы этого пациента доктора Хэдли. Я спас его не только от риска, связанного с операцией аппендицита, но также от расходов на врачей и лечебницу. Я, конечно, ничего с него за это не возьму. Доктор Хэдли ограничится весьма скромным гонораром. Доктор

Гренвилль будет лечить его пиорею эметином за какие-нибудь несчастные пятьдесят долларов. Итак, я не только спас его от опасности и волнений, связанных с операцией, но сохранил этому человеку по меньшей мере тысячу долларов, которые пошли бы на оплату хирурга, лечебницы и сиделок.

Покуда он говорил, по-прежнему не сводя с Доутри гипнотизирующего взгляда, в воздухе запахло горелым мясом. Доктор Эмори с удовлетворением вдыхал этот запах. Мисс Джадсон тоже почуяла его, но, памятуя о полученном предупреждении, не подала виду. Она не оглядывалась на Квэка, хотя этот запах явственно говорил о том, что сигара по-прежнему жжет его палец.

— Пахнет чем-то паленым! — вдруг спохватился Доутри, втягивая ноздрями воздух и озираясь вокруг.

— Дрянь сигара, — отвечал доктор Эмори. Он отнял ее от пальца Квэка и принялся неодобрительно разглядывать, потом поднес к носу, и физиономия его приняла брезгливое выражение. — Только что не капустные листья, но вообще какая-то пакость, которой я не знаю да и знать не хочу. Черт знает что! Выпускают новый сорт сигар из действительно прекрасного табака, а как только он получает распространение, начинают подмешивать низкопробный табак. Благодарю покорно! С сегодняшнего дня я меняю марку!

С этими словами он швырнул сигару в плевательницу. А Квэк, полулежавший в самом удивительном кресле, которое ему когда-либо пришлось видеть, понятия не имел, что палец его прожжен на полдюйма в глубину, и только ждал, когда же этот доктор кончит наконец болтать и приступит к осмотру опухоли, от которой у него ломит всю руку.

И тут впервые в жизни, но уже навек, Дэг Доутри потерпел поражение, поражение окончательное и непоправимое. Вольная жизнь с плаванием по бурным морям, где дуют пассаты, колеблющаяся палуба под ногами, недолгие стоянки в портах — все это кончилось здесь, во врачебном кабинете Уолтера Меррита Эмори, покуда невозмутимая мисс Джадсон удивлялась, как это может человек даже не поморщиться, когда его руку жарят на медленном огне.

Доктор Эмори, продолжая свои разглагольствования, закурил новую сигару и, несмотря на то, что приемная его была переполнена ожидающими своей очереди пациентами, даже произнес пространный и в высшей степени поучительный монолог о табачных плантациях и о способах обработки табака в странах, где он лучше всего произрастает.

— Что касается опухоли, — начал он, наконец-то приступая к осмотру Квэка, — то на первый взгляд это, по-моему, не доброкачественная опухоль, не рак и даже не фурункул. Я считаю…

Стук в запертую боковую дверь заставил его выпрямиться с откровенной поспешностью. Мисс Джадсон, которую он кивком головы послал открыть дверь, впустила в кабинет двух полисменов, сержанта полиции и какого-то усатого субъекта в сюртуке и с гвоздикой в петлице.

— Добрый день, доктор Мастерс, — приветствовал доктор Эмори усатого субъекта. — Мое почтение, сержант! Здравствуй, Тим! Здравствуй, Джонсон, давно ли тебя перевели к нам из Китайского квартала?

Затем Уолтер Меррит Эмори, погруженный в рассматривание опухоли Квэка, продолжил прерванную сентенцию:

— Как уже было сказано, я считаю, что это самая типичная, созревшая язва, вызванная bacillus leprae, которую какой-либо врач имел честь продемонстрировать органам санитарного надзора в Сан-Франциско.

— Проказа! — крикнул доктор Мастерс.

При этом слове все вздрогнули.

Сержант и оба полисмена отпрянули от Квэка, мисс Джадсон, подавляя крик, обеими руками схватилась за сердце; ошеломленный, но все еще не веря своим ушам, Дэг Доутри спросил:

— Что это вы там плетете, док?

— Стоп! Ни с места! — повелительно крикнул ему Уолтер Меррит Эмори. — Заметьте себе, прошу вас, — обратился он к остальным, прикасаясь кончиком зажженной сигары к темному пятнышку между бровями стюарда.

— Сидеть смирно! — скомандовал он ему. — Подождите! Я еще не кончил.

И покуда Доутри, потрясенный, растерянный, дожидался, когда же доктор приступит к каким-нибудь манипуляциям, огонь жег его лоб так, что запах горелого мяса уже начал щекотать ноздри присутствующих. Доктор Эмори торжествующе рассмеялся и отступил на несколько шагов.

— Ну, делайте же скорей, что вам надо, — буркнул Доутри; события развертывались с такой быстротой и так странно, что он не успел собраться с мыслями. — А когда кончите, объясните мне, ради Бога, что вы там говорили насчет проказы и моего негра. Это мой негр, и я не позволю клепать на него и на меня…

— Джентльмены, вы сами видели, — сказал доктор Эмори. — Два несомненных случая — хозяин и слуга: у слуги более поздняя стадия, при соединении двух форм, у хозяина — безболезненная форма, — у него тоже поражен мизинец. Уберите их. Доктор Мастерс, я настаиваю на тщательной дезинфекции кареты, после того как они будут доставлены на место.

— Да послушайте… — заносчиво начал Дэг Доутри.

Доктор Эмори предостерегающе взглянул на доктора Мастерса, доктор Мастерс, в свою очередь, с начальнической строгостью поглядел на сержанта, сержант бросил повелительный взгляд на обоих полисменов. Однако те не только не ринулись на Доутри, но, напротив, попятились от него, подняв свои дубинки, и метнули на него грозный взгляд. Поведение полисменов было для Доутри убедительнее всяких слов. Они явно боялись прикоснуться к нему. Когда он шагнул к ним, они вытянули свои дубинки и ткнули Доутри под ребра, чтобы удержать его на должном расстоянии.

— Не приближаться! — скомандовал один из них, замахиваясь дубинкой. — Стоять на месте и ждать приказаний!

— Надень рубаху и встань рядом со своим хозяином, — приказал Квэку доктор Эмори; он внезапно поднял кресло, и Квэк поневоле соскользнул с него.

— Ради всего святого, скажите… — начал было Доутри.

Но недавний друг, не слушая его, обратился к доктору Мастерсу:

— Чумной барак пустует с тех пор, как умер тот японец. Я знаю, что ваш департамент — банда трусов, и поэтому советую дать этим двум дезинфицирующие средства, — пусть сами потрудятся.

— Ради Господа Бога, — взмолился Доутри; ошеломленный ужасом, который свалился на него, стюард утратил всю свою заносчивость. Он прикоснулся пальцем к онемелому месту на лбу, потом понюхал палец и почуял запах горелого мяса, хотя не чувствовал, когда его жгли. — Ради Господа Бога, не спешите так. Раз уж я подцепил эдакую штуку — ничего не поделаешь. Но ведь это не значит, что мы не можем договориться, как белый с белым. Дайте мне два часа, и я смотаюсь из Сан-Франциско. А через сутки меня уже не будет в этой стране. Я сяду на корабль и…

— И будете представлять угрозу общественному здоровью, где бы вы ни находились, — перебил его доктор Мастерс, которому уже мерещились столбцы вечерних газет с сенсационными заголовками, прославляющие его как героя, как святого Георгия, во имя спасения человечества пронзающего своим копьем дракона проказы.

— Уведите их, — проговорил Уолтер Меррит Эмори, стараясь не смотреть Доутри в глаза.

— Вперед! Марш! — скомандовал сержант.

Полисмены с резиновыми дубинками подступили к Доутри и Квэку.

— Живей поворачивайся! — свирепо гаркнул один из них. — Слушать команду, а не то голову размозжу! Пошли! Живо вон отсюда! Прикажите черномазому идти рядом с вами.

— Док, дайте хоть слово сказать! — умоляюще воскликнул Доутри.

— Время разговоров прошло, — услышал он в ответ. — Вы изолированы от людей. Доктор Мастерс, когда сбудете их с рук, не забудьте о дезинфекции кареты.

И вот процессия двинулась к выходу. Во главе врач из санитарного управления и сержант, сзади два полисмена, в целях самозащиты вытянувшие перед собой дубинки.

В дверях Доутри, рискуя, что ему размозжат голову, вдруг круто обернулся и крикнул:

— Док! Моя собака! Вы ее знаете!

— Я пришлю ее вам, — быстро согласился доктор Эмори, — скажите ваш адрес.

— Клей-стрит, меблированные комнаты Баухэд, номер восемьдесят семь; вы знаете этот дом — за угол от салуна Баухэд. Пришлите его мне, куда бы они меня ни засадили. Идет?

— Ну, конечно, пришлю, — отвечал доктор Эмори. — У вас, кажется, есть еще и попугай?

— Да, да. Кокки! Пришлите мне обоих, будьте так добры, сэр!

— Бог мой! — в тот же вечер говорила мисс Джадсон, сидя за обедом с неким молодым врачом из больницы святого Иосифа. — Доктор Эмори прямо-таки кудесник. Не удивительно, что он преуспевает в жизни. Подумать только: сразу два гнусных прокаженных в нашем кабинете! Один из них негритос. Не успел доктор взглянуть на них, как уже понял, в чем дело. Он ужасный человек. Если бы вы только знали, что он проделывал своей сигарой! И какая находчивость! Мне он подал знак! Они и не подозревали, что он с ними вытворяет. Нет, вы

только себе представьте, берет сигару и…

Глава двадцатая

Собака, равно как и лошадь, подлеца делает еще подлее. Уолтер Меррит Эмори был подлецом, а желание завладеть Майклом приумножило меру его подлости. Если бы не Майкл, все его поведение было бы иным. Он поступил бы с Доутри, говоря словами последнего, «как белый с белым». То есть, сказав Доутри о его болезни, предоставил бы ему возможность уехать в Южные моря или в Японию, — иными словами, в страны, где прокаженные не подвергаются изоляции. Это не явилось бы неблаговидным поступком по отношению к тамошним жителям, ибо таков закон и обычай их родины, а Доутри и Квэк избегли бы ада чумного барака в Сан-Франциско, на пожизненное пребывание в котором обрек их этот подлец.

И далее, если учесть расходы по содержанию вооруженной охраны, на протяжении долгих лет день и ночь стерегущей чумной барак, то Уолтер Меррит Эмори сберег бы много тысяч долларов налогоплательщикам города и округа Сан-Франциско, а эти деньги, истраченные на другие цели, дали бы возможность расширить тесные школьные помещения, напоить детей бедняков неразбавленным молоком или же разбить парки, в которых могли бы вольнее вздохнуть жители душных трущоб. Но если бы Уолтер Меррит Эмори обо всем этом подумал, то за море уехал бы не только Доутри и Квэк, а, без всякого сомнения, и Майкл.

Никогда еще врач с такой быстротой не выпроваживал пациентов, как доктор Эмори, после того как дверь его кабинета закрылась за полисменами, уводившими Дэга Доутри. Не успев даже позавтракать, он сел в свою машину и покатил в портовый район, к меблированным комнатам Баухэд. По пути доктор, имевший немалые политические связи, захватил с собой капитана сыскной полиции. Его присутствие оказалось весьма нужным, так как хозяйка меблированных комнат решительно запротестовала против увода собаки, принадлежащей ее недавнему жильцу. Но, поскольку капитан Миликен был ей хорошо известен, она склонилась перед законом, олицетворением которого он ей казался, хотя о том, что такое закон, точного представления не имела.

Когда Майкла на веревке выводили из комнаты, с подоконника, где сидел крохотный белоснежный какаду, послышалось жалобное напоминание:

— Кокки! Кокки!

Уолтер Меррит Эмори оглянулся, и нерешительность на мгновение овладела им.

— Мы пришлем за птицей немного погодя, — сказал он, и хозяйка, которая, все еще громко сокрушаясь, провожала их вниз по лестнице, не заметила, что Миликен по небрежности неплотно закрыл дверь в комнаты Доутри.

Но Уолтер Меррит Эмори был не единственный подлец, которого желание завладеть Майклом сделало еще подлее. В яхт-клубе Гарри Дель Мар, развалившись в глубоком кожаном кресле и положив вытянутые ноги на другое такое же кресло, полусонный после весьма плотного завтрака, лениво просматривал свежие дневные газеты. Но вот его взгляд упал на заголовок, набранный крупными буквами над маленькой заметкой строчек в пять. Ноги его мигом соскользнули с кресла, и он вскочил. Подумав секунду, не более, он снова опустился на прежнее место, нажал кнопку электрического звонка и в ожидании прихода лакея перечитал заголовок и пять коротеньких строчек под ним.

В такси, несшемся в портовый район, перед внутренним взором Гарри Дель Мара вставали

золотые видения. Они принимали образ то золотых монет ценностью в двадцать долларов, то желтых банковых билетов Соединенных Штатов Америки, то чековых книжек или купонов, к которым надо было только прикоснуться ножницами; но все это преломлялось сквозь одно видение — жестокошерстного ирландского терьера на залитой огнями эстраде, который, задрав морду кверху, пел, все время пел так, как до него не пел ни один пес на свете.

Кокки первый заметил, что дверь приотворена, и смотрел на нее в раздумье (если «раздумьем» можно назвать душевное состояние птицы, когда в ее сознании каким-то таинственным образом откладываются новые впечатления и она готовится к действию или к воздержанию от действия, в зависимости от того, как эти внешние впечатления на нее влияют). Когда то же происходит с людьми, они именуют это «свободной волей».

Кокки, уставившись на приоткрытую дверь, как раз решал: стоит или не стоит поподробнее обследовать эту щелочку в большой мир и, в зависимости от результатов этого обследования, либо воспользоваться ею, либо нет, но тут его глаза встретились с глазами другого обследователя этой же щелки.

То были хищные желто-зеленые глаза, они рыскали среди света и тени комнаты, и зрачки их то расширялись, то суживались. Кокки мгновенно понял опасность — опасность неминуемой насильственной смерти. Но он ничего не предпринял. Сердце его не забилось сильнее. Не шевелясь и скосив один глаз, он пристально смотрел этим одним глазом на голову тощей уличной кошки, просунувшуюся в щель.

Настороженные, то расширяющиеся, то суживающиеся, быстрые, бдительные и хитрые, эти глаза с вертикальными зрачками, прорезанными на изумительном зелено-желтом фоне, шарили по комнате. При виде Кокки они остановились. По выражению морды ясно было видно, что кошка замерла, прижалась к земле и изготовилась к прыжку. Взгляд ее уподобился взгляду сфинкса, устремленному вдаль, поверх извечных и нескончаемых песков пустыни. Казалось, она смотрит так уже века, тысячелетия.

Кокки тоже замер. Он не прикрыл пленкой свой скошенный глаз и головку по-прежнему держал склоненной набок, ни одно перышко на нем не шелохнулось, не выдало ужаса, охватившего его. Оба эти существа окаменели, глядя друг на друга взглядом охотника и затравленного зверя, хищника и жертвы, мясника и предназначенной к убою скотины.

Так смотрели они долгие минуты, покуда голова, просунувшаяся в дверь, не дернулась слегка и не исчезла. Умей птица вздыхать, Кокки бы вздохнул с облегчением. Но он, не шевелясь, прислушивался к неторопливым шаркающим шагам человека, раздавшимся в коридоре и скоро замершим в отдалении.

Прошло несколько минут, и призрак с такою же внезапностью возник снова; но на этот раз показалась не только голова — в дверь пролезло извивающееся туловище, и зверь улегся на середине комнаты. Взгляд его опять вонзился в Кокки, вытянутое тело застыло, и только длинный хвост сердито, отрывисто и монотонно барабанил по полу.

Не спуская глаз с Кокки, кошка медленно подкрадывалась к подоконнику и футах в шести от него замерла вновь. Только хвост ее ходил из стороны в сторону да глаза, восприняв яркий свет, струившийся из окна, искрились, словно драгоценные камни; зрачки их сузились в почти неприметные черные полоски.

И Кокки, который не мог, конечно, иметь ясного человеческого представления о смерти, тем не менее понял, что конец неумолимо приближается. Заметив, что кошка изготовилась к

прыжку, Кокки, этот храбрый комочек жизни, впервые обнаружил свой отчаянный и, конечно, вполне простительный страх.

— Кокки, Кокки! — жалостно крикнул он глухим, бесчувственным стенам.

Крик этот, обращенный ко всем сильным в этом мире, к могущественным двуногим созданиям и прежде всего к стюарду, к Квэку, к Майклу, означал: «Это я, Кокки, я так мал и так хрупок, чудовище хочет поиграть меня, а я люблю свет, волю, и я хочу жить, хочу продолжать жизнь в этом светлом мире, я ведь так мал, и я доброе создание, с добрым сердечком, где уж мне бороться с этим огромным, косматым, голодным зверем, который сейчас сожрет меня. Я прошу: помогите, помогите, помогите! Я Кокки! Все знают меня. Я Кокки!»

Это и еще многое другое значил его двукратный вскрик: «Кокки! Кокки!»

Глухие стены не откликнулись, не откликнулся и пустой коридор и весь остальной мир; но миг отчаянного страха уже прошел, и Кокки вновь стал храбрым маленьким какаду. Он недвижно сидел на подоконнике, склонив головку набок, одним немигающим глазом уставившись в пол, где до ужаса близко сидел извечный враг его племени.

Звук его голоса, столь похожего на человеческий, поразил кошку; она помедлила с прыжком, прижала уши и распласталась на полу.

В наступившей тишине слышалось только назойливое жужжание большой мясной мухи да время от времени громкие удары ее тельца об оконное стекло

— свидетельство того, что и она переживала трагедию: трагедию узника, которого прозрачная преграда отрешает от светлого мира, сияющего так близко.

Но и у кошки были свои страдания, и ей трудно давалась жизнь. Голод мучил ее и иссушал ее сосцы, которые должны были питать семерых слабеньких, едва попискивающих котят, точного повторения ее самой, если не считать того, что они еще слепы и до смешного неуверенно ступают на своих тоненьких младенческих лапках. Почувствовав режущую боль в пустых сосцах, она инстинктивно вспомнила о котятах и благодаря какому-то таинственному процессу в мозгу словно воочию увидела их сквозь сломанную решетку вентилятора, в самом темном углу погреба, на куче тряпья под лестницей, где она устроила свое логовище и произвела на свет детенышей.

Воспоминание о котятах и новый приступ голода стряхнули с нее оцепенение; она вся подобралась и глазами измерила расстояние для прыжка. Но Кокки уже опять был самим собой.

— Черт побери! Черт побери! — крикнул он громко и воинственно, точно театральный злодей, так что кошка от испуга ниже припала к земле, плотно прижала уши, забила хвостом и завертела головой, стараясь взглядом проникнуть в самые темные уголки комнаты, где, видно, спрятался вскрикнувший сейчас человек.

Тощая кошка проделала все это, хотя человеческий голос явно исходил от беленькой птички на подоконнике.

Мясная муха еще раз ударилась о невидимую стену своей тюрьмы. Отощавшая кошка изготовилась и прыгнула на то самое место, где секунду назад сидел Кокки. Кокки отпрянул, но в это самое мгновение кошка зацепила его лапой, и Кокки взлетел, беспомощно трепыхая в воздухе своими непривычными к полету крылышками. Кошка поднялась на задние лапы и

передней лапкой сделала движение, похожее на движение ребенка, когда он шляпой пытается поймать бабочку. Но лапка ее имела немалый вес и когти, цепкие, как крючки.

Схваченный в воздухе этой лапкой, Кокки, рассыпающийся комок белых перышек, упал. Легчайшие перышки, как снежные хлопья, закружились в воздухе и стали падать медленно, медленно, но на спину кошки они ложились свинцовой тяжестью. Некоторые из них застревали в шерсти, раздражая ее и без того натянутые нервы, так что она еще ниже припадала к земле и пугливо озиралась — не грозит ли из-за угла какая-нибудь опасность.

Глава двадцать первая

Гарри Дель Мар не нашел в комнате Дэга Доутри ничего, кроме нескольких белых перышек, а от хозяйки узнал, что сталось с Майклом. Первым делом Гарри Дель Мар, предусмотрительно не отпустивший такси, поехал к дому доктора Эмори и убедился, что Майкл действительно заперт там в маленьком сарайчике на заднем дворе. Затем он взял билет на пароход «Уматилла», отходивший на рассвете следующего дня в Сиэтл, и наконец расплатился по счетам и упаковал свой багаж.

Тем временем в кабинете Уолтера Меррита Эмори происходила словесная баталия.

— Этот человек прямо волком воет, — твердил доктор Мастерс. — Полицейским пришлось дубинками загонять его в санитарную карету. Он был вне себя, требуя свою собаку. Так не годится. Это слишком жестоко. Вы не имеете права, пользуясь обстоятельствами, присваивать себе его собаку. Он поднимет крик в газетах.

— Фью! — свистнул Уолтер Меррит Эмори. — Хотел бы я посмотреть на репортера, у которого хватит храбрости отправиться в чумной барак для собеседования с прокаженным, и хотел бы я также посмотреть на редактора, который тотчас же не швырнет в огонь письмо, узнав, что оно пришло из чумного барака (если даже допустить, что этому Доутри удастся как-нибудь обойти охрану и отправить его). Так что, док, не волнуйтесь. В газетах шум не поднимется.

— Ну, а проказа? Общественная безопасность? Собака долгое время с ним соприкасалась. Она сама является ходячим источником заразы…

— Инфекции, док. Это термин, да и звучит лучше, — с видом превосходства перебил его Уолтер Меррит Эмори.

— Пусть инфекции, — согласился доктор Мастерс. — Мы обязаны заботиться об общественном благе. Население не должно подвергаться опасности заражения…

— Инфекции, — спокойно поправил его собеседник.

— Называйте как хотите. Население…

— Чепуха! — заявил Уолтер Меррит Эмори. — То, чего вы не знаете о проказе и чего не знают все остальные работники санитарного управления, может дать материал для большего количества книг, чем до сих пор написано людьми, специально посвятившими себя изучению этой болезни. А им известно, что все попытки привить проказу животному неизменно кончались и кончаются полной неудачей. Они тысячи, сотни тысяч раз пытались привить ее лошадям, кроликам, крысам, ослам, обезьянам, мышам, собакам — все тщетно! Более того, им ни разу не удалось привить проказу от одного человека другому. Вот читайте сами.

И Уолтер Меррит Эмори стал доставать из книжного шкафа труды специалистов по проказе.

— Удивительно… В высшей степени интересно!.. — то и дело восклицал доктор Мастерс, просматривая, по указанию доктора Эмори, те или иные страницы. — Никогда не предполагал… такое количество ученых трудов… и тем не менее, — заключил он, — все ваши книги не переубедят профанов. Мне тоже не удастся переубедить наших жителей. Да я и пытаться не буду. Не говоря уже о том, что человек этот обречен до конца своих дней жить живым мертвецом в чумном бараке. Вы-то знаете, что это за местечко. Он любит своего пса, он прямо помешан на нем. Отдайте ему собаку. Это низость, жестокость, и я вам в таком деле помогать не стану.

— Нет, станете, — холодно заверил его Уолтер Меррит Эмори, — и я вам даже скажу, почему.

И он сказал. Сказал то, что ни один врач не должен был бы говорить другому, но что зачастую говорят друг другу политиканы. Повторять эти разговоры не стоит хотя бы потому, что они слишком унизительны и уж никак не могут способствовать развитию чувства собственного достоинства у среднего американца; это внутренние дела, секреты муниципальных управлений, которые выбираются средними американцами, убежденными в том, что это «свободные выборы»; такие дела редко, очень редко всплывают на поверхность, да и то лишь затем, чтобы тотчас же быть похороненными в многотомных отчетах всевозможных комитетов Лексо и федеральных комиссий.

Итак, во-первых, Уолтер Меррит Эмори, не посчитавшись с доктором Мастерсом, присвоил Майкла; во-вторых, в ознаменование своего торжества повез жену обедать к Жюлю, а потом в театр смотреть Маргарет Энглен и, в-третьих, вернувшись домой в час ночи, вышел в пижаме еще раз взглянуть на Майкла, но Майкла уже не обнаружил.

Чумной барак в Сан-Франциско, как и все чумные бараки во всех американских городах, был построен на самом грязном отдаленном заброшенном пустыре, на самой дешевой из всех принадлежащих городу земель. На этом почти не защищенном с моря пространстве среди песчаных дюн выли холодные ветры, и береговой туман затягивал все вокруг. Веселые компании не приезжали сюда на пикники, мальчишки не искали здесь птичьих гнезд и не играли в диких индейцев. Если кто-нибудь и забредал сюда, то разве что самоубийцы: устав от жизни, они выискивали ландшафт попечальнее, декорацию, подходящую для окончательных расчетов с жизнью. А совершив задуманное, уже, разумеется, своих посещений не повторяли.

Вид из окон барака был безрадостный. На четверть мили в обе стороны Доутри не видел ничего, кроме однообразных песчаных холмов да будок, в которых размещалась вооруженная охрана; каждый из этих солдат, безусловно, скорее застрелил бы сбежавшего чумного, чем дотронулся до него руками, и, уж конечно, не стал бы его уговаривать вернуться в неволю.

Напротив окон, в некотором отдалении, росли деревья. Это были эвкалипты, но до чего же непохожие на своих царственных собратьев, произрастающих на родимой почве! Редко посаженные, неухоженные, искалеченные в тяжелой борьбе с чуждыми климатическими условиями, они, точно агонизируя, протягивали в воздух свои кривые, уродливые сучья. Вдобавок они были еще и низкорослы, так как значительная часть скудной влаги, выпадавшей на их долю, поглощалась корневищами, глубоко вросшими в песок, для того, чтобы деревья могли противостоять штормам.

Доутри и Квэку не разрешалось доходить даже до будок. Пограничная линия для них проходила в ста ярдах от барака. Стражники торопливо приносили сюда запасы продовольствия, лекарства, письменные врачебные предписания и еще торопливее удалялись.

Здесь же находилась грифельная доска, на которой Доутри разрешалось — крупными буквами, чтобы видно было издали, — писать свои пожелания и требования. И на этой доске уже много дней кряду он писал не просьбы о доставке пива, хотя его шестиквартовый режим и был внезапно нарушен, а воззвания вроде следующих:

Где моя собака?

Это ирландский терьер!

Жесткошерстный!

Кличка — Киллени-бой!

Я хочу получить свою собаку!

Мне нужно переговорить с доктором Эмори!

Пусть доктор Эмори напишет мне, что с собакой.

А однажды Доутри написал:

Если мне не вернут собаку, я убью доктора Эмори.

После чего газеты сообщили, что печальный случай с двумя прокаженными в чумном бараке усугубился еще одним трагическим обстоятельством: белый больной сошел с ума. Люди с сильно развитыми гражданскими чувствами писали письма в газеты, протестуя против опасной близости прокаженных, и требовали от правительства Соединенных Штатов постройки национального лепрозория на каком-нибудь из дальних островов или на уединенной горной вершине. Впрочем, через три дня всякий интерес к этому происшествию угас, и желторотые репортеры принялись развлекать публику рассказами об удивительной собаке — помеси аляскинской лайки с медведем, обсуждением того, действительно ли Криспи Анжелотти разрезал на мелкие куски труп убитого им Джузеппе Бартольди и в мешке из-под зерна бросил его в море с Рыбацкой пристани, а также известием о будто бы подготовляющейся японской агрессии против Гавайских островов, Филиппин и Тихоокеанского побережья Северной Америки.

А в стенах чумного барака уныло и однообразно текла жизнь Доутри и Квэка, пока темной осенней ночью не наступила перемена. Надвигалась буря. С моря задул штормовой ветер. В корзине с фруктами, будто бы присланной девицами из пансиона мисс Фут, Доутри в тот день обнаружил записку, искусно запрятанную в сердцевину яблока: в этой записке его просили в ночь на пятницу держать на окне зажженную лампу. В пять часов утра к Доутри пришел гость.

Это был Чарльз Стоу Гринлиф, Старый моряк, собственной персоной. Выбившись из сил от двухчасового хождения по глубоким пескам эвкалиптового леса, он свалился у самого входа в чумной барак. Когда Доутри открыл дверь, старика, можно сказать, внесло в барак порывом сырого, холодного ветра. Доутри подхватил его и повел, но, вспомнив о своей болезни, так внезапно разжал руки, что Старый моряк мешком шлепнулся на стул.

— Ей-богу, сэр, — начал Доутри, — нелегко вам было добраться сюда… Эй ты, Квэк, господин промок насквозь, живо снимай с него башмаки.

Но еще прежде, чем опустившийся на колени Квэк притронулся к шнуркам на ботинках старика, Доутри пришло на ум, что Квэк тоже носитель заразы, и он оттолкнул его.

— Ей-богу, не знаю, что и делать, — пробормотал Доутри, беспомощно озираясь вокруг; его только сейчас осенило, что это — жилище прокаженных, что все, все здесь заражено проказой — и стул, на котором сидел старик, и даже пол, на котором покоились его измученные ноги.

— Я рад, более того — счастлив видеть вас, — тяжело дыша, проговорил Старый моряк, протягивая Доутри руку.

Но Доутри не принял ее.

— Ну, как охота за сокровищами? — беспечно спросил он. — Что-нибудь наклевывается?

Старый моряк кивнул и наконец, с трудом переведя дыхание, отвечал:

— Мы уходим в море сегодня в семь часов утра, как только начнется отлив. Наша шхуна «Вифлеем», надо сказать, превосходнейшая, уже стоит наготове. Красивое, ходкое и отлично оборудованное судно. До того как парусный флот вытеснил пароходы, оно ходило с грузом на Таити. Провизия запасена первосортная. Да и вообще все там в полном порядке. Я сам проследил за погрузкой. Капитан мне, правда, не очень по душе. Такой тип людей я уже встречал. Отличный моряк, в этом я уверен, но пират по призванию и злюка. Главный наш акционер тоже не лучше. Это человек средних лет, с неважной репутацией и отнюдь не джентльмен, зато денег у него — не счесть. Сначала он изрядно заработал на калифорнийской нефти, затем, войдя в долю с одним старателем в Британской Колумбии, надул его при дележе доходов с золотой жилы, открытой его компаньоном, и раз в шесть увеличил свой первоначальный капитал. Неприятный тип, я бы даже сказал — отталкивающий. Но он верит в свою звезду и убежден, что наживет на этой авантюре по меньшей мере пятьдесят миллионов и вдобавок лишит меня моей доли. В душе он такой же пират, как и нанятый им капитан.

— Поздравляю вас, мистер Гринлиф, — проговорил Доутри. — Вы меня растрогали, сэр, растрогали до глубины души! В такую ночь, подвергая себя всевозможным опасностям, пройти этот долгий путь, чтобы проститься с несчастным Дэгом Доутри. Я никому ничего худого не сделал, да вот не повезло…

Но покуда он взволнованно говорил эти слова, перед ним сияющим видением возникла шхуна, несущаяся по просторам Южных морей, и сердце его больно сжалось от сознания, что ему в жизни не осталось ничего, кроме чумного барака, песчаных дюн и унылых эвкалиптов.

Старый моряк выпрямился.

— Сэр, вы наносите мне оскорбление, большое оскорбление.

— Не обижайтесь на меня, сэр, не обижайтесь, — пробормотал Дэг Доутри, в душе недоумевая: чем мог он оскорбить старого джентльмена.

— Вы мой друг, сэр, — с упреком проговорил старик. — И я ваш друг, сэр. А вы, судя по вашим словам, полагаете, что я притащился в этот чертов ад, чтобы с вами проститься. Я пришел за вами, сэр, и за вашим негром. Шхуна ждет вас. Все предусмотрено. Вы официально приняты в состав экипажа и зарегистрированы в морском агентстве. Вы оба. Вчера ваши контракты были подписаны подставными лицами. Один из них — барбадосский негр[12]. Я раздобыл и его и белого в матросской ночлежке на Коммерческой улице и заплатил им по пяти долларов за подпись.

— Бог мой, мистер Гринлиф, но вы, кажется, совсем упустили из виду, что мы с ним прокаженные!

Старый Моряк вскочил, как ужаленный; гнев и благородное негодование изобразились на его лице.

— А по-моему, это вы, сэр, упустили из виду, что мы с вами друзья! — Он гневным движением вытянул руку. — Слушайте, стюард Доутри, мистер Доутри, друг мой или сэр, как бы там я вас ни величал, это уже не сказки о баркасе, о безымянных пунктах и сокровищах под слоем песка. Это сущая правда. У меня есть сердце. А вот моя рука, — он ткнул свою руку чуть ли не под нос Доутри. — Вам остается сейчас сделать только одно взять эту руку в свою и пожать ее так же от всего сердца, как я пожимаю вашу.

— Но… но… — бормотал Доутри.

— Если вы этого не сделаете, я не уйду отсюда. Я здесь останусь до самой смерти. Я знаю, что у вас проказа. Об этом толковать нечего. Вот моя рука. Возьмете вы ее или нет? Мое сердце бьется в каждом ее пальце, в каждой жилке. Если вы ее не возьмете, предупреждаю: я останусь сидеть на этом стуле до самой своей смерти. Пора вам наконец уразуметь, сэр, что я мужчина и джентльмен. Я умею быть другом и товарищем. Я не дрожу за свою шкуру. Я живу сердцем и разумом, сэр, а не этой жалкой временной оболочкой. Возьмите мою руку. После этого мы начнем говорить.

Дэг Доутри нерешительно протянул ему руку, но старик схватил ее и до боли сжал своими худыми узловатыми пальцами.

— Теперь я могу говорить! Я все обдумал. Мы пойдем в море на «Вифлееме». Когда злой старик поймет, что из моих сказочных сокровищ ему не выжать и пенни, мы его покинем. Да он и сам будет рад от нас избавиться. Мы, то есть вы, я и ваш негр, высадимся на Маркизских островах. Там прокаженные ходят на свободе. По отношению к ним особых законов не существует. Я сам их видел. Мы будем свободными людьми. А края эти — сущий рай. Мы обзаведемся собственным домиком. Тростниковая хижина — большего ведь нам и не нужно. Работать в поте лица там не придется. Морской берег, горы — все будет наше. Вы будете ходить под парусом и плавать, ловить рыбу, охотиться. Там полно горных коз, диких кур и разного зверья. Над нашими головами будут расти бананы, апельсины, и груши «авокадо», и яблоки, у дверей — красный перец. Домашней птицы и яиц у нас будет хоть отбавляй. Квэк сойдет за стряпуху. И пива у вас будет вдосталь. Я давно заметил, что вы страдаете неутолимой жаждой. Шесть кварт в день вам будет обеспечено, — да что там, больше, гораздо больше!

Живо! Нам надо идти. Увы, я должен сказать, что тщетно искал вашу собаку! Я даже нанял сыщиков, — ну и обдиралы! Доктор Эмори украл у вас Киллени-боя, но в тот же день собака была кем-то украдена у него. Я все перевернул вверх дном, но Киллени-бой исчез, как исчезнем сейчас и мы из этого проклятого города.

Нас ждет машина. Шоферу хорошо заплачено. Вдобавок я пообещал убить его, если он не выполнит своего обязательства. Нам надо пройти дюны в северо-восточном направлении и выбраться на дорогу, которая огибает этот дурацкий лес… Итак, пора двигаться. Мелочи мы обсудим потом. Смотрите, уже светает. Надо незаметно пройти мимо стражи…

Они вышли в бушующую непогоду; Квэк, обезумевший от счастья, замыкал процессию. Поначалу Доутри старался идти в отдалении, но когда бурный порыв ветра едва не свалил старика, рука Дэга Доутри обвилась вокруг его руки; поддерживая его на подъемах и увлекая вниз при спусках, он шел бок о бок с ним через дюны, по зыбучему песку.

— Благодарствуйте, Доутри, благодарствуйте, друг мой, — прошептал Старый моряк, когда

ветер на мгновение утих.

Глава двадцать вторая

Темной ночью Майкл сравнительно охотно последовал за Гарри Дель Маром, хотя и не любил этого человека. Неслышно, с бесконечными предосторожностями, словно вор, прокрался Дель Мар к сарайчику на заднем дворе доктора Эмори, где сидел в плену Майкл. Дель Мар достаточно знал сцену, чтобы прибегать к дешевым мелодраматическим эффектам вроде карманного электрического фонарика. В потемках он ощупью отыскал дорогу к двери сарайчика, отпер ее и тихонько вошел, стараясь руками нащупать жесткую шерсть Майкла.

И Майкл, собака-человек и собака-лев по всем своим повадкам, ощетинился при этом неожиданном вторжении, но не издал ни звука. Он только обнюхал вошедшего и немедленно признал его. Не любя Дель Мара, он тем не менее дал обвязать себе шею веревкой и тихо пошел за ним по тротуару за угол, где их ожидало такси.

Рассуждал Майкл — если признать за ним способность рассуждать — очень просто. Этого человека он не раз видел в обществе стюарда. Стюард дружил с этим человеком: они сидели за одним столом и вместе пили. Стюард исчез. Майкл не знал, где искать его, да и сам попал в плен и сидел на заднем дворе какого-то незнакомого дома. То, что однажды случилось, может повториться. Случалось ведь, что стюард, Дель Мар и Майкл вместе сидели за столом. Возможно, что это повторится, повторится сейчас, и опять они окажутся в ярко освещенном кабачке, и он, Майкл, будет сидеть на стуле — по одну его сторону Дель Мар, по другую обожаемый стюард, перед которым стоит неизменная кружка пива. Вот к какому «умозаключению» пришел Майкл, и согласно этому умозаключению он и действовал.

Разумеется, Майкл не мог додуматься до такого логического вывода, и тем более не мог додуматься в словах. Слова «дружба» в его сознании не существовало. А что привело его к этому выводу — быстро сменяющиеся в воображении образы и картины или мгновенный сплав образов и картин, — это проблема, которая еще не разрешена человеком. Важно одно: он думал. Если отрицать в нем способность мышления, то, следовательно, он действовал чисто инстинктивно, а это в данном случае было бы еще более удивительно, чем то, что в его мозгу происходил какой-то неясный нам мыслительный процесс.

Так или иначе, но в такси, мчавшемся по лабиринту улиц Сан-Франциско, Майкл настороженно лежал на полу у ног Дель Мара, не проявляя какого-либо дружелюбия по отношению к нему, но и не подавая вида, что этот человек внушает ему отвращение. Гарри Дель Мар был подлецом — он желал завладеть Майклом в целях наживы; и Майкл с первой минуты почуял его подлость. В первую же встречу, состоявшуюся в кабачке портового района, когда Дель Мар положил руку ему на голову, Майкл ощетинился и замер в воинственной позе. Майкл вовсе не думал о нем тогда и не пробовал разобраться в своем отношении к нему, — просто что-то было неладно с рукой, небрежно и с виду так ласково его коснувшейся. Нехорошее ощущение вызвала в нем эта рука. Ее прикосновение было лишено теплоты и сердечности; передатчик мыслей и душевных движений человека, она свидетельствовала об его неискренности. Одним словом, сигнал, ею переданный, или чувство, ею вызванное, было нехорошим сигналом, нехорошим чувством, — и Майкл весь сжался и ощетинился не от своих мыслей, а от «знания», или, как говорят люди, «по интуиции».

Электрические фонари, пристань под навесом, горы багажа и груза, суета грузчиков и матросов, громкое пыхтение лебедок, скрип подъемных кранов, стюарды в белых куртках, несущие ручной багаж, помощник капитана у сходней, сходни, круто взбегающие на верхнюю палубу «Уматиллы», опять штурманы и офицеры с золотыми нашивками, толпа, сутолока и

неразбериха на узком пространстве палубы — все это окончательно убедило Майкла в том, что он вернулся к морю, на судно, а ведь на судне он впервые встретил стюарда и уже не разлучался с ним до этих кошмарных дней в большом городе. Образы Квэка и Кокки тоже продолжали жить в его сознании. Повизгивая от нетерпения, он рвался на сворке, не боясь, что равнодушные, торопливо шагающие, обутые в кожу людские ноги отдавят его нежные лапы, он искал, разнюхивал следы Кокки и Квэка, но прежде всего, конечно, стюарда.

Не встретив их, Майкл покорно принял чувство разочарования, ибо понятие о том, что собака должна служить человеку, внушенное ему с младенчества, облеклось в форму бесконечного терпения. Он научился терпеливо ждать, когда ему хотелось домой, а стюард продолжал сидеть за столом, болтать и пить пиво, так же как научился покорно сносить веревку вокруг шеи, останавливаться перед изгородью, слишком для него высокой, и смиряться с сидением в комнате, снабженной дверью, которую он никогда не сумел бы отпереть и которую с такой легкостью отпирали люди. Поэтому он позволил увести себя судовому мяснику, которому на «Уматилле» была поручена забота о пассажирских собаках. В низком межпалубном пространстве, заваленном ящиками и тюками, привязанный веревкой, обвивавшей его шею, он с минуты на минуту ждал, что вот сейчас распахнется дверь и перед ним предстанет ослепительное видение — стюард, мечта о котором владела его сознанием.

Но вместо стюарда — позднее Майкл усмотрел в этом некое проявление могущества Дель Мара — появился поощренный солидными чаевыми судовой мясник, отвязал его и передал с рук на руки не менее щедро награжденному служителю, который и отвел Майкла в каюту Дель Мара. До последнего мгновения Майкл был убежден, что его ведут к стюарду, но, увы, в каюте сидел Дель Мар.

— Нет, нет стюарда! — вот как можно было бы выразить мысль Майкла; но терпение, как долг и основа поведения собаки, заставило его покорно отнестись к новой отсрочке встречи со своим божеством, своим возлюбленным, своим стюардом, который был его собственным богом в образе человеческом среди всей этой толпы богов.

Майкл повилял хвостом, прижал одно ухо, по мере сил даже второе, сморщился и улыбнулся — словом, сделал все, что полагается делать в знак приветствия; потом он обнюхал каюту и, окончательно убедившись в отсутствии стюарда, улегся на палубе. Когда Дель Мар заговорил, он внимательно уставился на него.

— Итак, друг мой, настали иные времена, — холодным, резким тоном объявил Дель Мар. — Я собираюсь сделать из тебя актера и заодно вправить тебе мозги. Начнем с самого простого… Поди сюда! Поди сюда!

Майкл приблизился к нему не торопливо, не слишком медленно, но явно неохотно.

— Придется тебе смириться, голубчик, и живей пошевеливаться, когда я с тобой разговариваю, — заметил Дель Мар; и в том, как он произнес эти слова, Майкл уже расслышал угрозу.

— Ну, а сейчас посмотрим, удастся ли нам номер. Слушай меня и пой, как ты пел для того прокаженного.

Он достал из кармана гармошку, приложил ее к губам и заиграл «В поход, в поход по Джорджии».

— Сидеть! — скомандовал Дель Мар.

И Майкл опять повиновался, хотя все его существо негодовало. Он затрепетал, когда резкие, но сладостные звуки коснулись его ушей. Его горло, его грудь уже приготовились запеть, но он сдержал себя, так как не хотел петь для этого человека. Он хотел от него только одного — стюарда.

— Э-ге, да ты, кажется, упрямишься? — Дель Мар уже явно глумился над ним. — Ну, конечно, ты ведь чистопородный пес, а с вашим братом это часто случается. Но я все-таки полагаю, что справлюсь с тобой, и ты будешь работать на меня, так же как работал на того дурака. А теперь за дело!

На этот раз он заиграл «На биваке». Но Майкл упорствовал. И только когда трогательная мелодия «Мой старый дом в Кентукки» пронизала все его существо, он потерял самообладание и издал мягкий, мелодичный вой, вой, который звучал как призыв, сквозь тысячелетия обращенный к утраченной собачьей стае. Под гипнотизирующим воздействием этих звуков он не мог не испытывать жгучей тоски по далекой, позабытой стайной жизни, когда мир был молод и стая была стаей, еще не потерявшейся в нескончаемой чреде столетий, прожитых собакой подле человека.

— Ага! — насмешливо протянул Дель Мар, ничего не подозревавший о том, какие глубины седой древности всколыхнули серебряные трубочки его гармошки.

Громкий стук в стену из соседней каюты дал ему знать, что они мешают спать какому-то пассажиру.

— На сегодня хватит, — резко объявил он, отнимая гармошку от губ. Майкл умолк, полный ненависти. — Я тебя, голубчик мой, раскусил. И не воображай, пожалуйста, что я оставлю тебя здесь ночевать, чтобы ты искал блох и не давал мне покоя.

Он позвонил и, когда явился служитель, велел ему отвести Майкла вниз, в темную и тесную дыру.

За несколько дней и ночей на «Уматилле» Майкл разобрался в том, какого рода человек был Гарри Дель Мар. Можно, пожалуй, сказать, что он изучил всю генеалогию Дель Мара, хотя ничего о нем не знал. Так, например, он не знал, что настоящее имя Дель Мара Персиваль Грунский и что в начальной школе девочки называли его «шатенчиком», а мальчики «чернявчиком», так же как не знал, что Грунский, еще не окончив школы, попал в колонию для малолетних преступников, откуда по истечении двух лет был взят на поруки Гаррисом Коллинзом, который зарабатывал себе на жизнь — кстати сказать, весьма недурную — дрессировкой животных. И уж подавно он не мог знать, что, работая в продолжение шести лет ассистентом при дрессировщике Коллинзе, Дель Мар не только научился дрессировать зверей, но и сам непрестанно подвергался дрессировке.

Зато Майкл отлично знал, что у Дель Мара нет родословной и что он полное ничтожество в сравнении с такими породистыми существами, как стюард, капитан Келлар и мистер Хаггин в Мериндже. Вывод этот напросился сам собой. Днем Майкла приводили на верхнюю палубу к Дель Мару, постоянно окруженному восторженными молодыми девицами и пожилыми дамами, которые буквально осыпали Майкла ласками и всевозможными выражениями нежности. Он покорно принимал их докучливые ласки, но когда с ним нежничал Дель Мар, ему становилось невмоготу. Он знал холодную неискренность этих ласк: ведь по вечерам, когда его приводили в каюту Дель Мара, голос этого человека был холоден и резок, от всего его существа веяло бедой и жестокостью, а руку Дель Мара Майкл ощущал как неодушевленный предмет, как кусок стали или дерева: ни души, ни теплого человеческого участия не чувствовалось в ее

прикосновении.

Этот человек был двуличен и двоедушен. Породистое существо с горячей кровью всегда искренне. А в этом ублюдке не было ни тени искренности. Породистому существу, в жилах которого течет горячая кровь, свойственна страстность; этот ублюдок не ведал страсти. Его кровь была холодна, и каждый поступок заранее обдуман и рассчитан. Конечно, Майкл всего этого не думал. Он просто постигал это, как всякое существо постигает себя в любви и нелюбви.

Надо еще добавить, что в последнюю ночь на «Уматилле» этот лишенный человечности человек заставил Майкла изменить своим повадкам породистого животного. Дело дошло до битвы. И Майкл был побежден. Он царственно гневался и царственно сражался, ринувшись на приступ уже после того, как ему дважды был нанесен удар кулаком пониже уха. Несмотря на всю стремительность Майкла, поражавшего негров Южных морей своим умом и увертливостью, он так и не сумел вонзиться зубами в тело этого человека, в течение шести лет приобретавшего сноровку дрессировщика в заведении Гарриса Коллинза. Когда Майкл, оскалившись, бросился на Дель Мара, тот молниеносно вытянул правую руку, схватил его уже в воздухе за нижнюю челюсть, перекувырнул и изо всей силы бросил на спину. Майкл еще раз ринулся в атаку и снова был одним ударом брошен наземь с такой силой, что у него перехватило дыхание. Следующий прыжок едва не стал его последним прыжком. Майкла схватили за глотку. Большими пальцами правой и левой руки Дель Мар сдавил его дыхательное горло возле сонной артерии, приток крови к мозгу прекратился, Майклу показалось, что это смерть, и он потерял сознание быстрее, чем его теряют под действием наркоза. Тьма заволокла все вокруг. Лежа на полу и весь дрожа мелкой дрожью, он лишь по прошествии некоторого времени стал вновь видеть свет, предметы в комнате и человека, небрежно подносящего спичку к сигарете и при этом исподтишка за ним наблюдающего.

— Продолжай в том же духе, — подстрекал его Дель Мар. — Я вашу породу знаю. Тебе меня не осилить. Может, конечно, и мне тебя не осилить, но работать на меня ты будешь. Валяй дальше!

И Майкл дал подстрекнуть себя. Чистопородный пес, знавший, что в этом двуногом, который прибил его, не было ничего человеческого и что нападать на него так же бессмысленно, как грызть зубами стены комнаты, пень или скалу, он тем не менее сделал попытку вцепиться клыками ему в горло. Но то, против чего возмутился Майкл, было дрессировкой, законом укрощения. Опыт повторился. Большие пальцы человека сдавили горло Майкла, отогнали кровь от его мозга, и он опять погрузился во тьму.

Будь Майкл не обыкновенным чистопородным псом, а чем-то большим, он продолжал бы яростно нападать на неуязвимого врага, нападать, покуда его сердце не разорвалось бы в груди или с ним не сделался бы нервный припадок. Но он был обыкновенным псом. Перед ним было существо неприступное и несокрушимое. Он так же не мог одержать над ним победу, как не мог бы одержать победу над асфальтовым тротуаром. Возможно, что это был сам черт, — ведь обладал же он жестокосердием и невозмутимостью, злобой и мудростью черта. Дель Мар был настолько же зол, насколько стюард был добр. Оба они были двуногими. Оба были богами. Но этот был богом зла.

Конечно, Майкл так не рассуждал. Но на языке человеческой мысли то, что он испытывал по отношению к Дель Мару, звучало бы именно так. Будь Майкл вовлечен в битву с богом, у которого в жилах струится горячая кровь, он бы, беснуясь и не помня себя, набрасывался на противника, который, сам плоть и кровь, в свою очередь, давал бы и получал тумаки. Но этот двуногий бог-черт не знал ни слепой ярости, ни горячей страсти. Он был только хитроумной

стальной машиной и проделывал то, чего Майкл не мог и заподозрить, так как на это способны лишь очень немногие люди, если не считать дрессировщиков: он предвосхищал каждую мысль Майкла и, следовательно, каждым своим действием предупреждал его действие. Этому искусству его научил Гаррис Коллинз — нежнейший, преданнейший супруг и отец, но с животными сущий дьявол, полновластно царящий в зверином аду, который он сам создал и обратил в доходное предприятие.

Сбегая по сходням в Сиэтле, Майкл от нетерпения так натягивал сворку, так задыхался и кашлял, что Дель Мар холодно обругал его. Майкл надеялся на встречу со стюардом и начал искать его за первым же углом, а потом и за всеми углами с неослабевающим рвением. Но среди огромной толпы людей стюарда не было. В подвале отеля «Вашингтон», где круглые сутки горело электричество, Майкла отдали под надзор кладовщика и крепко-накрепко привязали среди гор сундуков и чемоданов, которые то и дело уносили и приносили, загоняли наверх, сбрасывали вниз, передвигали и устанавливали.

Три злосчастных дня просидел он в этом подвале. Носильщики сдружились с ним и в изобилии приносили ему остатки пищи из ресторана. Но Майкл был слишком разочарован и убит горем, чтобы объедаться; а Дель Мар, однажды заглянувший туда в сопровождении директора отеля, учинил носильщикам форменный скандал за нарушение его инструкций по кормлению собаки.

— Никудышный человек, — сказал старший носильщик своему помощнику, когда Дель Мар вышел. — Сам заелся так, что даже лоснится. Терпеть не могу жирных брюнетов. У меня жена хоть и брюнетка, да, слава Богу, не жирная.

— Что верно, то верно, — подтвердил помощник. — Я таких негодников знаю. Пырни его ножом — и из него не кровь потечет, а сало.

После такого обмена мнениями они притащили Майклу двойную порцию мяса, к которому он не притронулся, ибо его снедала тоска по стюарду.

Дель Мар же тем временем отправил две телеграммы в Нью-Йорк, первую Гаррису Коллинзу, в заведении которого он на время отпуска оставил своих собак:

«Продайте моих собак. Вы знаете, что они умеют делать и сколько за них можно взять. Мне они больше не нужны. Удержите что следует за их содержание. Остаток вручите мне при встрече. Моя новая собака верх совершенства, а все мои прежние номера ничто. Небывалый успех обеспечен. Скоро убедитесь сами».

Вторая телеграмма была адресована его антрепренеру:

«Приступайте к делу. Ничего не жалейте на рекламу. Гвоздь сезона. Небывалый номер. Назначайте цены выше праздничных. Подготовляйте публику. Номер превзойдет все ее ожидания. Вы меня знаете. Я даром слов не трачу».

Глава двадцать третья

Клетка! Поскольку ее внес в подвал Дель Мар, Майкл немедленно заподозрил недоброе. Не прошло и минуты, как выяснилось, что его подозрения были не напрасны. Дель Мар предложил ему войти в клетку, Майкл отказался. Быстрым движением схватив Майкла за ошейник, Дель Мар дернул его вверх и сунул в клетку, вернее, сунул его голову и шею, так как Майкл изо всех сил уперся передними лапами. Дрессировщик времени терять не любил. Левым кулаком он хватил Майкла по лапам — раз-раз! Майкл от боли ослабил упор и в следующее

мгновение уже оказался в клетке; покуда он, рыча от негодования, тщетно пытался перегрызть прутья, Дель Мар уже запер тяжелую дверцу.

Затем клетку вынесли и поставили в фургон, среди груды багажа. Дель Мар немедленно исчез, а двоих людей, которые остались в фургоне, уже подпрыгивавшем по булыжной мостовой, Майкл видел впервые. Он едва помещался в клетке и не мог даже поднять головы. Когда фургон встряхивало на ухабах, Майкл больно стукался головой о прутья. Вдобавок клетка была коротка, так что морда его тоже упиралась в прутья. Автомобиль, внезапно выскочивший из-за угла, заставил возчика резко нажать на тормоз. Майкла рвануло вперед. У него, увы, не было тормоза, чтобы задержать свое тело, если не считать тормозом его нежный нос, который, уткнувшись в железные прутья, остановил движение туловища.

Майкл попытался лежать на этом ограниченном пространстве и почувствовал себя несколько лучше, хотя губы его, во время толчков с силой прижимавшиеся к зубам, были рассечены и кровоточили. Но худшее было еще впереди.

Правая передняя лапа Майкла высунулась из клетки и легла на пол фургона, по которому со скрипом и грохотом перекатывались чемоданы. При следующем толчке один из чемоданов качнулся и сдвинулся с места, а когда его поволокло обратно, придавил Майклу лапу. Майкл взвыл от испуга и боли и инстинктивно попытался втащить лапу обратно в клетку. Это судорожное движение привело к вывиху плеча, боль в застрявшей между прутьями лапе стала нестерпимой.

Слепой страх охватил Майкла — страх перед западней, одинаково свойственный как животным, так и людям. Майкл больше не выл, но, как безумный, метался и бился в клетке, еще больше напрягая связки и мускулы вывихнутого плеча и ноги. В своем ослеплении он тщился зубами перегрызть прутья, чтобы добраться до чудовища, цепко державшего его лапу. Спас Майкла следующий толчок; чемодан качнуло, и ему удалось наконец высвободить из-под него пораненную лапу.

У вокзала клетку стали вытаскивать из фургона, не то чтобы сознательно грубо, но так небрежно, что она, едва не выскользнув из рук грузчика, перевернулась набок; по счастью, грузчик успел подхватить ее, прежде чем она ударилась о цементный пол. Майкл же беспомощно покатился по клетке и всей своей тяжестью навалился на раненую лапу.

— Вот так так! — несколькими минутами позднее говорил Дель Мар, подошедший к концу платформы, где стояла тележка с клеткой и прочим приготовленным к отправке багажом. — Повредил себе лапу? Не беда, в следующий раз будешь умнее.

— Этот коготь, пожалуй, пропал, — сказал один из приемщиков багажа, внимательно рассматривавший сквозь клетку лапу Майкла.

Дель Мар, в свою очередь, приступил к обследованию.

— Пропал не только коготь, а весь палец, — объявил он, вытаскивая из кармана складной нож и открывая лезвие. — Я мигом с этим разделаюсь, если вы мне поможете.

Он отпер клетку и, как всегда, за шиворот вытащил Майкла. Майкл извивался, противился, бил воздух всеми четырьмя лапами, отчего боль становилась еще невыносимее.

— Держите ему лапу, — командовал Дель Мар. — Я живо управлюсь, секунда, не больше!

И правда, операция была произведена в одно мгновение. Только у неистовствующего Майкла,

водворенного обратно в клетку, оказалось на один палец меньше, чем при рождении. Кровь ручьем лилась из раны, нанесенной жестокой, но умелой рукой; Майкл зализывал рану, убитый и подавленный предчувствием ожидающей его страшной участи. Никто и никогда с ним так не обращался, а тут еще эта клетка, до ужаса напоминающая западню. Да, он, Майкл, беспомощный, сидел в западне, а со стюардом, видимо, случилось самое страшное на свете — его поглотило небытие, ранее уже поглотившее Мериндж, «Евгению», Соломоновы острова, «Макамбо», Австралию и «Мэри Тернер».

Вдруг издали донесся какой-то отчаянный шум. Майкл навострил уши и ощетинился в предчувствии новой беды. Это был вой, визг и лай целой своры собак.

— Черт возьми! Опять эти проклятые цирковые псы, — буркнул приемщик багажа, обращаясь к своему подручному. — Хорошо бы вышел закон, запрещающий дрессировку собак. Это же сущее безобразие!

— Труппа Петерсона, — отозвался подручный. — Я видел, как их привезли на прошлой неделе. Одна из собак околела в клетке, похоже, что ее избили до смерти.

— Наверно, Петерсон исколотил ее в последнем городе, где они выступали, а потом сунул со всеми остальными в багажный вагон и предоставил ей околевать в дороге.

Шум еще значительно возрос, когда собак стали высаживать из фургона на тележку. Минуту спустя тележка поравнялась с Майклом, и он увидел множество клеток с собаками, нагроможденных одна на другую. В клетках было тридцать пять собак всевозможных пород, но главным образом дворняжек, — по их поведению было ясно, каково им приходится. Одни выли, другие визжали или, злобно огрызаясь, пытались укусить обитателя соседней клетки, многие хранили горестное молчание. Некоторые лизали свои пораненные лапы. Маленькие и менее злые собаки сидели по двое в тесной клетке. Полдюжины борзых были размещены в несколько больших, но отнюдь не достаточно просторных клетках.

— Это собаки-прыгуны, — заметил приемщик. — Погляди только, как сельди в бочке. Петерсон удавится, лишь бы не заплатить лишний цент за провоз. Им надо бы по крайней мере вдвое больше места. Переезды из города в город для этих бедняг просто пытка.

Приемщик не подозревал, что пытка не прекращается и во время гастролей в городах, что собак и там не выпускают из тесных клеток, и многие из них фактически находятся в пожизненном заключении. Свободу собаки Петерсона получали только в часы спектакля. С коммерческой точки зрения хороший уход за животными оказывался нерентабельным. Поскольку дворняжка стоила недорого, то дешевле было заменить околевшую собаку, чем заботливым попечением сохранять ей жизнь.

Приемщик не подозревал еще и другого обстоятельства, хорошо известного Петерсону, — а именно, что из тридцати пяти собак труппы, сколоченной им четыре года назад, ни одной уже не было в живых и ни одна не была отпущена на волю за непригодностью. Из труппы Петерсона и тесной клетки имелась только одна дорога — смерть. А Майкл не знал даже того, что знал приемщик. Он знал только, что здесь царят страдания и муки и что ему предстоит разделить участь этих несчастных.

Визжащих, воющих собак погрузили в багажный вагон, туда же втиснули и клетку с Майклом. Поезд шел на восток. День и без малого две ночи провел Майкл в этом собачьем аду. Затем собак выгрузили в каком-то большом городе, Майкл же продолжал свой путь уже в несколько более спокойной обстановке, хотя лапа его болела и рана при резких толчках открывалась

снова.

Что происходит, почему его везут в тесной клетке, в душном вагоне, Майкл себя не спрашивал. Он принимал это как беду, как свое злосчастье, но объяснить себе не мог, как не мог объяснить, почему у него раздроблена лапа. Такие беды случались. Он жил, а в жизни много зла. Проникнуть в сущность явлений он был не в состоянии.

Почему происходит то или иное явление, Майкл не знал. Как происходит, иногда догадывался. Что есть, то есть. Вода мокрая, огонь горячий, железо твердое, мясо вкусное. Все это он принимал так же, как принимал извечное чудо света и мрака; ведь и оно для него было не большим чудом, чем его жесткая шерсть, его бьющееся сердце, его мыслящий мозг.

В Чикаго клетку Майкла поставили на грузовик, провезли по грохочущим улицам огромного города и снова погрузили в багажный вагон, следовавший на восток. Это значило — опять новые лица, новые приемщики багажа. В Нью-Йорке повторилось все то же самое: Майкла перегрузили вместе с клеткой в багажный фургон и прямо с вокзала отправили в заведение некоего Гарриса Коллинза на Лонг-Айленде.

Прежде всего Майкл увидел самого Коллинза, полновластного хозяина звериного ада. Далее… но об этом надо сказать в первую очередь, Майкл никогда больше не видел Гарри Дель Мара. Наподобие других знакомых Майклу людей, которые уходили из жизни, Гарри Дель Мар ушел из поля зрения Майкла и из жизни тоже. Понимать это следует буквально. Катастрофа на эстакадной железной дороге, паника среди уцелевших пассажиров, попытки спуститься на улицу по фермам эстакады, прикосновение к третьему рельсу — и небытие, которое люди называют смертью, поглотило Дель Мара. Небытие — поскольку люди, им поглощенные, никогда уже не возвращаются на дороги жизни.

Глава двадцать четвертая

Гаррису Коллинзу недавно исполнилось пятьдесят два года. Он был строен, подвижен и с виду так ласков и благожелателен, что казался даже несколько слащавым. Его можно было принять за учителя воскресной школы, директора женской гимназии или председателя благотворительного общества.

Цвет лица у него был бело-розовый, руки нежные, почти такие, как у его дочерей, весил он сто двенадцать фунтов. Ко всему он еще боялся своей жены, боялся полисменов, боялся физического насилия и жил в вечном страхе перед ночными грабителями. Единственное, что не внушало ему страха, — это дикие звери, даже наиболее свирепые из них — львы, тигры, леопарды и ягуары. Он знал свое ремесло и мог палкой от метлы укротить самого строптивого льва, при этом находясь с ним один на один в запертой клетке.

Ремесло свое он перенял у отца, человека на вид даже более щуплого, чем он сам, и еще более робевшего перед всем на свете, кроме диких зверей. Отец Гарриса, Ноэль Коллинз, до эмиграции в Америку был весьма преуспевающим дрессировщиком в Англии. В Америке он тоже быстро преуспел и основал в Сидеруайльде школу дрессировщиков, которую его сын впоследствии перестроил и расширил. Гаррис Коллинз с таким умением повел дело отца, что его школа вскоре стала считаться образцом санитарного благоустройства и гуманного обращения с животными. Многочисленные посетители уходили оттуда, восхищаясь удивительной атмосферой мягкости и доброты, царившей в заведении Коллинза. Правда, никто из них никогда не присутствовал при дрессировке. Время от времени посетителям показывали уже готовое представление, и тогда они еще больше восторгались гуманным обхождением с животными в этой школе. Доведись им увидеть дрессировку — дело другое. Возможно, что

результатом было бы открытое возмущение. Но так школа представлялась им зоологическим садом, где к тому же не надо было платить за вход. Кроме собственных животных Коллинза, которых он покупал, учил и перепродавал, там помещалось еще множество всякого зверья, принадлежащего дрессировщикам, в данное время не имевшим ангажемента, или таким, которые еще только организовывали собственное дело. Коллинз мог по первому требованию раздобыть любое животное — от крыс и мышей до верблюдов и слонов, а не то и носорогов или парочку гиппопотамов включительно.

Когда имущество «Бродячих братьев», прославившихся своими грандиозными пантомимами на трех аренах, должно было пойти с молотка в неудачный сезон, Коллинз приютил весь их зверинец и манеж и в три месяца заработал на этом деле пятнадцать тысяч долларов. Более того, накануне торгов он заложил все, что имел, и скупил дрессированных лошадей, пони, стадо жирафов, даже ученых слонов, а затем в течение полугода всех их распродал, за исключением пони-прыгуна, — опять-таки с барышом в пятнадцать тысяч долларов. Что же касается пони, то он был продан полугодом позднее и принес Коллинзу две тысячи долларов чистой прибыли. Если банкротство «Бродячих братьев» дало Коллинзу возможность совершить блистательнейшую из всех его финансовых операций, то надо сказать, что немалую выгоду он извлекал и из временно находившихся у него животных; зимой он посылал их давать представления на ипподром, делясь барышами с их владельцами; но, отдавая тех же животных на прокат в киностудии, почему-то, как правило, забывал о дележе.

В цирковой среде он слыл не только самым богатым человеком, но и самым отважным укротителем, когда-либо входившим в клетку дикого зверя. Все наблюдавшие его за работой в один голос утверждали, что Коллинз — человек без души. Зато жена, дети и еще несколько близких ему людей придерживались как раз обратного мнения. Никогда не видя его со зверями, они полагали, что нет на свете более добросердечного и чувствительного человека. Голос у Коллинза был тихий, движения мягкие, его отношение к жизни, а также политические и религиозные убеждения отличались крайней терпимостью. Он таял от любого ласкового слова, и не было ничего легче, чем его разжалобить. Коллинз состоял жертвователем всех местных благотворительных обществ и после гибели «Титаника» [13] с неделю ходил сам не свой. Тем не менее коллеги считали его наиболее жестоким и хладнокровным из всех дрессировщиков. А ведь он дрожал при мысли, что его рослая, дородная супруга, разозлившись, швырнет ему в голову тарелку супа. В первые годы брака это случилось дважды. Впрочем, он не только боялся повторения подобной сцены, но искренне и преданно любил жену, так же как и детей, которых у него было семеро и для которых он ничего на свете не жалел.

Нежнейший отец, Коллинз не допускал, чтобы сыновья видели его за работой, и мечтал для всех четверых о более аристократической жизни. Старший, Джон, избравший карьеру литератора, числился в Йейлском университете, но больше разъезжал на собственном автомобиле и вел такой же образ жизни, какой вели в Нью-Хэвене прочие молодые люди, имеющие собственные автомобили. Гарольда и Фредерика Коллинз определил в колледж в Пенсильвании, где учились сынки миллионеров; младший, Кларенс, готовился к поступлению в колледж в Массачусетсе и все еще не сделал выбора между карьерой врача и пилота. Три дочери — две из них были двойняшки — воспитывались, как настоящие леди. Элси заканчивала курс в колледже Васар, Мэри и Мадлен подготовлялись в одном из самых дорогих пансионов к поступлению туда же. Для всего этого требовались деньги. Гаррис Коллинз отнюдь не был скуп, но ему приходилось с удвоенной энергией выколачивать их из своего заведения. Он работал не щадя сил, хотя его жена и дети были твердо убеждены, что он лично не занимается дрессировкой. Уверенные, что Коллинз, как человек незаурядного ума и способностей, лишь руководит своим заведением, они были бы до крайности смущены, увидев,

как он с палкой в руке расправляется с сорока дворняжками, вышедшими из повиновения во время очередного урока.

Правда, большую часть работы выполняли помощники Коллинза, но он неустанно указывал им, как действовать, какие приемы применять в том или ином случае, и сам демонстрировал эти приемы на наиболее интересных животных. Помощники его были сплошь зеленые юнцы, которых он благодаря своей интуиции почти безошибочно выбирал из воспитанников колоний для малолетних правонарушителей. Коллинз брал их на поруки и потому неусыпно контролировал, от них же требовал прежде всего ума и хладнокровия, то есть качеств, которые в сумме обычно дают жестокость. Горячая кровь, благородные порывы и чувствительные сердца — для его предприятия это не годилось; школа дрессировки в Сидеруайльде была коммерческим, и только коммерческим, предприятием. Короче говоря, Гаррис Коллинз со своими сотрудниками причинял животным больше мук и страданий, чем все вивисекционные институты, вместе взятые.

В этот ад и низринулся Майкл, — хотя его прибытие совершилось не по вертикали, а по горизонтали, — проделав три с половиной тысячи миль пути все в той же клетке, в которую он был посажен в Сиэтле. За долгую дорогу его ни разу не выпустили на свободу, он весь перепачкался и чувствовал себя разбитым. Благодаря его природному здоровью рана после ампутации пальца благополучно заживала. Но он был с ног до головы облеплен грязью, и блохи одолевали его.

С виду Сидеруайльд меньше всего походил на ад. Бархатистые лужайки, посыпанные гравием дорожки, заботливо разбитые цветники — вот что представлялось взгляду посетителя, направлявшегося к ряду продолговатых строений из дерева или бетона. Майкла принял не Коллинз, — в момент его прибытия Коллинз сидел у себя в кабинете и писал записку секретарю, в которой поручал ему осведомиться на железной дороге и в конторе городских перевозок относительно собаки в клетке, отправленной из Сиэтля неким Гарри Дель Маром в адрес Сидеруайльда. Майкла встретил светлоглазый юнец в рабочем комбинезоне; расписавшись в получении собаки, он втащил клетку в бетонированное помещение с покатым полом, насквозь пропахшее дезинфекцией.

Эта необычная обстановка произвела на Майкла сильное впечатление, но юнец, засучивший рукава и облачавшийся в клеенчатый фартук, прежде чем открыть клетку, ему не понравился. Майкл выскочил и пошатнулся, — ноги, отвыкшие от движения, едва держали его. Новый белый бог не имел в себе ничего примечательного. Он был холоден, как бетонный пол, и методичен, как машина. Холодно и методично он приступил к мытью, чистке и дезинфекции Майкла. Коллинз требовал, чтобы с животными обходились по последнему слову и науки и гигиены, и Майкл подвергся научному мытью — нельзя сказать, чтобы особенно жестокому, но отнюдь не ласковому.

Майкл, разумеется, не отдавал себе столь точного отчета в происходящем. После всего, что ему пришлось пережить, эта голубая, пропахшая дезинфекцией комната могла показаться ему, ничего не знавшему о палачах и застенках, местом его окончательной гибели; а этот юнец — богом, который спровадит его во тьму, уже поглотившую всех, кого он знал и любил. Но одно Майкл понимал: все здесь страшно и враждебно ему. Он кое-как стерпел, что юный бог, сняв ошейник, схватил его за шиворот; но, когда на него направили струю воды, возмутился и запротестовал. Молодой человек, работавший по раз навсегда установленному шаблону, приподнял Майкла за загривок и тут же другой рукой направил струю из брандспойта ему прямо в пасть, при этом предельно увеличив напор воды. Майкл боролся, покуда, весь измокнув, не ослабел и не начал задыхаться.

Больше он уже не сопротивлялся; его вымыли, вычистили и продезинфицировали с помощью брандспойта, большой жесткой щетки и огромного количества карболового мыла, которое щипало ему глаза и нос, так что он чихал и проливал обильные слезы. Ежесекундно опасаясь беды, Майкл тем не менее понял: сейчас этот юнец не причинит ему ни добра, ни зла — и покорно дождался минуты, когда его, чисто вымытого и отчасти успокоенного, отвели в опрятное светлое помещение, где он быстро заснул, так как никто его больше не тревожил. Это был лазарет, или, вернее, изолятор; там Майкл провел целую неделю, прежде чем выяснилось, что он не болен никакой заразной болезнью. Ничего плохого за это время с ним не случилось; он получал хорошую пищу и чистую воду, но был отрешен от всего остального мира, и только юнец, как автомат, ухаживал за ним.

Теперь Майклу предстояло встретиться с Гаррисом Коллинзом, чей голос, негромкий, но повелительный, уже не раз доносился до него. Услышав этот голос, Майкл сразу понял, что обладатель его является очень важным богом. Только важный бог, господин над другими богами, мог говорить так повелительно. В этом голосе слышалась непреклонная воля и привычка властвовать. Любая собака смекнула бы это не хуже Майкла и так же, как Майкл, решила бы, что бог, говорящий таким голосом, чужд доброты и мягкости, а следовательно, поклоняться ему и любить его невозможно.

Глава двадцать пятая

В одиннадцать часов утра бледный юноша-бог надел на Майкла ошейник с цепью, вывел его из изолятора и передал смуглому юноше-богу, который даже и не поздоровался с Майклом. Тащившийся на цепи, как пленник, Майкл по дороге встретил трех других пленников, которых вели в том же направлении. Он никогда еще не видел медведей — тяжеловесных, неуклюжих громадин, а потому ощетинился и зарычал что было мочи; голос крови помог ему узнать в них (так корова узнает врага в первом же встретившемся ей волке) исконных врагов древней собачьей стаи. Но он уже довольно объездил свет, довольно видел, да и вообще был слишком благоразумен, чтобы напасть на них. Вместо этого он, осторожно ступая, шел на цепи за своим властелином, и только ноздри его напряженно втягивали незнакомый запах чудовищ.

А между тем все новые и новые запахи дразнили его обоняние. Хоть он и не мог видеть сквозь стены, но чуял, а позднее научился и различать запах львов, леопардов, мартышек, павианов, тюленей и морских львов. Все это ошеломило бы заурядную собаку, но Майкл только весь как-то подобрался и насторожился. Ему казалось, что он в джунглях, населенных неведомыми страшными зверями.

Едва ступив на арену, он отскочил в сторону, весь ощетинился и зарычал. Навстречу ему двигались пять слонов. Это были отнюдь не крупные слоны, но Майклу они показались гигантскими чудовищами и напомнили ему мельком виденную им китовую матку, которая разнесла в щепы «Мэри Тернер». Слоны, не обращая на него ни малейшего внимания, гуськом, неторопливо покинули арену, причем каждый держал хоботом хвост идущего впереди, — это был специальный трюк «на уход».

Непосредственно вслед за Майклом на арену вышли медведи. Арена — посыпанный опилками круг величиной с обыкновенную цирковую арену — помещалась в квадратном здании со стеклянной крышей, но амфитеатра вокруг не было, зрители сюда не допускались. Только Гаррису Коллинзу с его ассистентами, покупателям и продавцам зверей да профессионалам-дрессировщикам разрешалось смотреть, как здесь мучают животных, обучая их трюкам, на которые публика потом смотрит, разинув рот от изумления или покатываясь со смеху.

Медведи немедленно приступили к «работе» на противоположной стороне арены, и Майкл

позабыл о них. Внимание его отвлекли люди, выкатывавшие громадные пестро раскрашенные бочки такой прочности, что они выдерживали тяжесть сидящих на них слонов. Когда молодой человек, ведший его на цепи, остановился, Майкл с живейшим интересом принялся рассматривать пегого шетлендского пони. Пони лежал на боку и, то и дело поднимая голову, целовал сидящего на нем человека. Вот и все, что видел Майкл, но при этом он ясно почувствовал: что-то тут не так. Сам не зная почему и, собственно, ничего подозрительного не заметив, Майкл понял, что за всем здесь происходящим кроется жестокость, насилие, несправедливость. А он ведь не видел длинной булавки в руке человека, сидящего на пони. Человек вонзал эту булавку в тело пони и, когда тот рефлекторно поднимал голову, наклонялся к нему, отчего создавалось впечатление, что пони его целует. Зрители были уверены, что лошадка выражает хозяину свою любовь и приверженность.

Шагах в десяти от Майкла стоял другой, черный шетлендский пони. С этим уж и вовсе творилось что-то неладное. Передние его ноги были опутаны веревками, концы которых держали два стоявших по бокам человека; третий, стоявший впереди, ударял пони по ногам коротким хлыстом из индийского тростника, в то же мгновение двое других дергали за веревки — и выходило, что пони преклоняет колени перед человеком с хлыстом. Пони оказывал сопротивление: упирался широко расставленными ногами, гневно мотал головой, кружился на месте, пытаясь освободиться от опутывавших его веревок, и тяжело валился на бок, когда ему удавалось ослабить их. Но его опять поднимали и ставили перед человеком, который бил его хлыстом по ногам. Так пони обучали преклонять колени — трюк, неизменно вызывающий восторг зрителей, видящих только результаты дрессировки и не подозревающих о том, чем эти результаты достигаются. Но Майкл быстро смекнул, что умение здесь приобретают ценою муки и что Сидеруайльд — это школа страданий.

Гаррис Коллинз кивком головы подозвал смуглого молодого человека и окинул Майкла испытующим взглядом.

— Собака Дель Мара, сэр, — доложил молодой человек.

Глаза Коллинза загорелись, и он еще внимательнее всмотрелся в Майкла.

— Ты знаешь, что эта собака умеет делать? — осведомился он.

Тот покачал головой.

— Гарри был малый не промах, — продолжал Коллинз, казалось, обращаясь к ассистенту, но, в сущности, просто думая вслух. — Он считал эту собаку редкостной находкой. Но что она делает? Вот в чем вопрос. Бедняга Гарри скончался, и теперь мы ничего о ней не знаем. Сними с нее цепь.

Майкл выжидательно взглянул на главного бога: что-то будет дальше? В это мгновение пронзительно взвыл от боли один из медведей, как бы предупреждая Майкла о том, что его ждет.

— Чертовски породистый пес, — усмехнулся Коллинз. — Эй ты, надо бы двигаться поживее. Ладно, мы тебя научим. Вставай! Ложись! Вставай! Ложись! Вставай!

Команда его звучала резко, отрывисто, как револьверные выстрелы или удары бича; и Майкл повиновался, но все так же медленно и неохотно.

— По крайней мере хоть понимает, что ему говорят, — заметил Коллинз.

— Уж не обучен ли этот пес двойному сальто-мортале, — предположительно добавил он; двойное сальто-мортале — заветная мечта всех дрессировщиков, работающих с собаками. — Сейчас испытаем! Надень на него цепь. А ты, Джимми, давай сюда сбруйку.

Второй юнец из колонии малолетних правонарушителей надел на Майкла сбруйку с прикрепленным к ней тонким поводком.

— Поставь его прямо, — командовал Коллинз. — Готово? Начали!

И Майклу было нанесено тяжкое и жестокое оскорбление. При слове «начали» его одновременно дернули вверх и назад за цепь, идущую от ошейника, и вперед и вниз за поводок от сбруйки, при этом Коллинз хлыстом полоснул его под нижнюю челюсть. Будь Майкл хоть немного знаком с таким маневром, он избавил бы себя от лишней боли, подпрыгнув и перекувырнувшись в воздухе. Но сейчас ему казалось, что ему выворачивают члены, разрывают его на части, а удар под нижнюю челюсть окончательно ошеломил его. Насильственно перевернутый в воздухе, Майкл грохнулся затылком на арену.

Вскочил он весь в опилках, разъяренный, со вздыбившейся шерстью и непременно вцепился бы зубами в главного бога, если бы его не держали согласно всем хитроумным правилам дрессировки. Молодые люди знали свое дело. Один до отказа натянул поводок, другой — цепь, и Майклу осталось только рычать и щериться в бессильной ярости. Он ничего не мог сделать — ни прыгнуть, ни отступить, ни даже податься в сторону. Молодой человек, стоявший впереди, не давал ему броситься на того, кто стоял сзади, а тот, в свою очередь, удерживал его от нападения на стоявшего впереди, и оба вместе охраняли от него Коллинза — властителя этого мира зла и страданий.

Ярость Майкла была так же велика, как и его беспомощность. Он рычал, в бессильной злобе надрывая свои голосовые связки. Но для Коллинза все это было только старым, наскучившим приемом дрессировки. Он даже воспользовался передышкой и окинул взглядом всю арену, проверяя, как идет работа с медведями.

— Эх ты, породистый пес! — осклабился Коллинз, снова переводя глаза на Майкла. — Отпустите его!

Освобожденный от уз Майкл взвился и прыгнул на Коллинза, но многоопытный дрессировщик, точно рассчитавший время и расстояние, новым ударом под челюсть далеко отшвырнул его.

— Держите! — распорядился он. — Поставьте его прямо!

И молодые люди, дернув в разные стороны цепь и поводок, снова привели Майкла в состояние полнейшей беспомощности.

Коллинз взглянул по направлению форганга, откуда в этот момент появились две парных упряжки тяжелых ломовых лошадей, а вслед за ними молодая женщина, одетая в чрезмерно элегантный и сверхмодный английский костюм.

— По-моему, он никогда сальто-мортале не делал, — заметил Коллинз, снова возвращаясь к разговору о Майкле. — Сними с него поводок, Джимми, и поди помоги Смиту. А ты, Джонни, отведи его в сторонку, да смотри береги ноги! Вот идет мисс Мари. Мне надо с ней позаняться, этот идиот, ее муж, не умеет растолковать ей, что надо делать.

Майкл ровно ничего не понял из последовавшей за этим сцены, свидетелем которой он поневоле стал, ибо молодой человек, отойдя с ним в сторонку, помедлил, чтобы посмотреть на

приготовления к «занятиям». Понял он по поведению женщины только одно — и она страдала, и она была пленницей. Ее тоже заставляли проделывать сложный и непонятный трюк. До решительного момента женщина держалась храбро, но при виде двух пар лошадей, тянущих в разные стороны, которые вот сейчас, когда она накинет крючки на вагу, казалось, неминуемо разорвут ее надвое, вдруг утратила самообладание, пошатнулась и, вся сникнув, закрыла лицо руками.

— Нет, нет, Билликенс, — взмолилась она, обращаясь к мужу, полному, хотя еще молодому человеку. — Я не могу. Я боюсь! Боюсь!

— Пустяки, сударыня, — вмешался Коллинз. — Абсолютно безопасный номер. И притом эффектный и весьма доходный… Погодите минуточку! — Он начал руками ощупывать ее плечи и спину под английским жакетом. — Аппарат в полном порядке! — Он провел ладонью по ее рукам от плеча до кисти. — Хорошо! Теперь выпускайте крючки. — Она тряхнула руками, и из-под изящных кружевных манжет выскочили железные крючки, насаженные на тонкую стальную проволоку, видимо, укрепленную под рукавами. — Не так! Публика не должна их видеть! Уберите обратно! Давайте еще раз. Они должны незаметно скользнуть в ладонь. Так! Понятно? Вот-вот, очень хорошо.

Овладев собой, она старалась точно выполнять приказания, но все же бросала умоляющие взгляды на Билликенса, хмуро стоявшего поодаль.

Оба возницы, правившие запряжками, подняли ваги так, чтобы женщина могла зацепить их крючками. Она пыталась это сделать, но силы опять изменили ей.

— Если ваш аппарат откажет, лошади вырвут мне руки, — жалобно воскликнула она.

— Никоим образом, — уверял ее Коллинз. — Пострадает разве что ваш жакет. А в самом худшем случае публика поймет, в чем тут дело, и посмеется над вами. Но аппарат отказать не может. Еще раз объясняю вам: лошади тянут не вас — одна запряжка тянет другую; это только публика воображает, что они тянут вас. Попробуйте-ка еще раз. Беритесь за ваги, одновременно выпускайте крючки и закрепляйте их! Пошли!

Он говорил резко и повелительно. Она вытряхнула крючки из рукавов, но отшатнулась от ваг. Коллинз, ничем не выдавая своего недовольства, посмотрел на уходящих с арены шетлендских пони. Но муж пришел в ярость:

— Черт подери, Джулия, ты, видно, хочешь испортить мне все дело!

— Я постараюсь, Билликенс, — пролепетала женщина. — Даю тебе слово. Смотри! Я уже не боюсь.

Она вытянула руки и захватила ваги. Коллинз с едва заметной усмешкой на губах проверил, правильно ли она держит руки и хорошо ли закреплены крючки.

— Теперь упритесь крепче! Расставьте ноги! Прямее. Вот так! — Он придал правильное положение ее плечам. — Не забудьте вытянуть руки еще до первого рывка. Иначе вам это уже при всем желании не удастся, и проволока обдерет вам кожу. Еще раз повторяю: вытянуть руки на уровне плеч. Так, так! Начали!

— Подождите минутку, — умоляла женщина, снова опустив руки. — Я сделаю, я все сделаю; только поцелуй меня, Билликенс, и я больше не буду думать, вырвут они мне руки или нет.

Смуглый молодой человек, державший Майкла на цепи, и все прочие осклабились. Коллинз подавил усмешку и пробурчал:

— Мы будем ждать, сколько вам угодно, сударыня. Самое важное, чтобы первая проба удалась, это придаст вам уверенности. Подбодрите же ее, Билл, прежде чем она возьмется за дело.

Билликеис повиновался; рассерженный, угрюмый и смущенный, он подошел к жене, обнял ее и поцеловал довольно, впрочем, небрежно и равнодушно. Жена его была прехорошенькая женщина, лет двадцати, с детски-чистым выражением лица и стройным, прекрасно развитым телом.

Поцелуй мужа ободрил ее. Она вся собралась, сжала губы и проговорила:

— Готово!

— Пошли! — скомандовал Коллинз.

Четыре лошади, понукаемые возницами, двинулись с места.

— Дайте-ка им кнута, — отрывисто крикнул Коллинз, не сводя глаз с женщины, чтобы убедиться в правильном положении аппарата.

Под ударами кнута лошади стали рваться, скакать, бить громадными, как тарелки, копытами, вздымая тучи опилок.

И Билликенс утратил все свое спокойствие. Нескрываемый страх за жену овладел им при виде этой страшной картины. А на лице женщины отразился целый калейдоскоп чувств. Напряжение и страх вначале сделали его похожим на лицо христианской мученицы, брошенной на растерзание львам, или преступницы, попавшей в расставленную ей ловушку. Но эти чувства сменились удивлением и радостью, когда первый момент прошел благополучно. Затем в глазах ее промелькнула гордость, на губах заиграла торжествующая улыбка. Казалось, этой улыбкой она хотела выразить Билликенсу свою любовь и нежную преданность. У него стало легко на душе, и он так же горделиво и любовно улыбнулся ей в ответ.

Но Коллинз грубо крикнул:

— Нечего тут улыбаться! Уберите улыбки. Публика должна думать, что вы едва сдерживаете лошадей. Убеждайте ее в этом, стисните зубы. Решительность и сила воли! Изобразите огромное напряжение мускулов. Ноги расставьте шире. Мускулы должны играть так, точно вы совершаете большое физическое усилие. Сделайте вид, что лошади чуть-чуть потащили вас в одну сторону, потом в другую. Еще шире ноги! Вот так! Пусть публика думает, что вам очень страшно, что они разрывают вас на части и вы держитесь на ногах только отчаянным усилием воли… Вот-вот, так уже лучше. Ваш номер будет настоящим гвоздем сезона, Билли! Самым настоящим! Огрейте-ка их кнутом! Пусть взовьются еще выше. Пусть изматывают друг друга!

Бичи хлестнули по коням, огромные звери стали бешено рваться, стремясь избегнуть боли. Поистине такое зрелище должно было привести публику в восторг. Каждый из этих коней весил тысячу восемьсот фунтов. У зрителей создавалось впечатление, что семь тысяч двести фунтов живого, бьющегося лошадиного мяса разрывают на куски стройную, хрупкую молодую женщину в изящном английском костюме. От такого зрелища женщины в цирке вскрикивают, охваченные ужасом, и закрывают лицо руками.

— Отпустите вожжи! — скомандовал Коллинз возницам. — Леди победила, — объявил он на

манер шталмейстера. — Билл, это настоящий гвоздь сезона! Отцепляйте крючки, сударыня, отцепляйте скорей!

Мари повиновалась и с крючками, свисающими из рукавов, бросилась в объятия Билликенса; руки ее обвились вокруг его шеи; целуя мужа, она восклицала:

— О Билликенс, я всегда знала, что справлюсь с этим номером! Я ведь вела себя молодцом. Правда, Билл?

— Вы себя выдаете, — прервал ее восторги холодный голос Коллинза. — Публика видит ваши крючки. Они должны уйти в рукава в ту же секунду, как вы кончаете номер. Попробуем еще раз. И запомните: нельзя себя разоблачать. Нельзя показывать, что номер легко дался вам; сделайте вид, что это была адская работа, что вы изнурены до потери сознания. Колени у вас подгибаются, плечи никнут. Вы теряете сознание, и шталмейстер подбегает, чтобы подхватить вас. Но вы отвергаете его помощь. Вы берете себя в руки и усилием воли выпрямляетесь, сила воли — основное содержание вашего номера. Затем со слабой, возбуждающей жалость улыбкой вы посылаете воздушный поцелуй публике; ей должно казаться, что у вас сердце выскакивает из груди, что вас нужно немедля везти в больницу, а вы вот собрались с силами и еще посылаете ей воздушные поцелуи. Публика будет вскакивать с мест, не зная уж, как выразить вам свое восхищение. Вы меня поняли, сударыня? А вы, Билл? Последите, чтобы она точно выполняла мои указания. Готово? Вы с трепетом взглядываете на лошадей... Так, хорошо! Никто не догадается о крючках. Стойте прямо!.. Начали!

И снова три тысячи шестьсот фунтов с одной стороны, казалось, перетягивали три тысячи шестьсот фунтов с другой, разрывая Мари на части.

Номер был прорепетирован в третий и затем в четвертый раз, а в промежутке Коллинз послал служителя к себе в кабинет за телеграммой Дель Мара.

— Теперь дело пойдет на лад, Билл, — объявил он мужу Мари. В руках Коллинз уже держал телеграмму, и мысли его вернулись к Майклу.

— Заставьте ее еще прорепетировать раз пять-шесть и имейте в виду: если какой-нибудь дурень-фермер вообразит, что его запряжка одолеет вашу, немедленно заключайте с ним пари. Придется, конечно, заранее об этом объявлять и тратиться на рекламу, но игра стоит свеч. Шталмейстер подыграет вам, и ваша запряжка, несомненно, окажется лучшей. Будь я помоложе и посвободнее, я почел бы себя счастливым выступить с таким номером.

В перерывах между репетициями Коллинз, то и дело поглядывая на Майкла, еще раз перечитал телеграмму Дель Мара:

«Продайте моих собак. Вы знаете, что они умеют делать и сколько за них можно взять. Мне они больше не нужны. Удержите что следует за их содержание. Остаток вручите мне при встрече. Моя новая собака — верх совершенства, а все мои прежние номера ничто. Небывалый успех обеспечен. Скоро убедитесь сами».

Коллинз, отойдя в сторону, продолжал рассматривать Майкла.

— В нашем деле Дель Мар и сам был верхом совершенства, — обратился он к Джонни, державшему Майкла на цепочке. — Раз он телеграфировал: «продайте собак» — значит, у него был заготовлен лучший номер, а здесь налицо одна-единственная собака, да и то, черт бы ее побрал, самых чистых кровей. Он утверждает, что она верх совершенства. Так оно, наверно, и есть. Но что, спрашивается, она умеет делать? Ясно, что она никогда в жизни не делала

сальто-мортале, тем более двойного. Как ты полагаешь, Джонни? Поразмысли-ка хорошенько. Хоть бы ты меня надоумил.

— Может, она умеет считать, — предположил Джонни.

— Считающие собаки в наши дни не товар. Впрочем, попробуем.

Но Майкл, отлично умевший считать, отказался продемонстрировать свои способности.

— Если это обученная собака, она должна ходить на задних лапах, — вдруг осенило Коллинза. — А ну-ка, попытаемся!

И Майкл прошел через унизительное испытание. Джонни вздергивал его вверх и ставил на задние лапы, а Коллинз ударял хлыстом под нижнюю челюсть и по коленям. В ярости Майкл стремился укусить главного бога, но цепочка не пускала его. Когда же он попытался сорвать свою злобу на Джонни, этот невозмутимый юноша вытянул руку и так дернул Майкла кверху, что его чуть не задушил ошейник.

— Нет, не то, — устало заметил Коллинз. — Раз он не умеет стоять на задних лапах, значит, и в бочонок не сумеет прыгнуть. Ты, верно, слышал о Руфи, Джонни? Вот это была собака! Она по восемь раз кряду прыгала из одного утыканного гвоздями бочонка в другой, ни разу не становясь на все четыре лапы. Я помню, как она у нас тут репетировала. Это была поистине золотоносная жила, да только Карсон не умел обходиться с ней, и она у него околела от воспаления легких.

— Может, он жонглирует тарелками на носу? — продолжал вслух размышлять Джонни.

— Куда уж там, раз он даже на задних лапах стоять не умеет, — прервал его Коллинз. — А кроме того, этот трюк никого уже удивить не может. Он, безусловно, умеет делать что-то из ряда вон выходящее, и наша задача доискаться, что именно. Надо же было Гарри так внезапно отправиться на тот свет, оставив мне в наследство эту загадку! Придется-таки поломать себе голову. Уведи его, Джонни. В восемнадцатый номер. Со временем мы переведем его в отдельное помещение.

Глава двадцать шестая

Под номером восемнадцать числилось большое помещение, вернее, клетка в так называемом «собачьем ряду», достаточно обширная для дюжины ирландских терьеров, так как в заведении Коллинза все было поставлено на строго научную основу и приспособлено для того, чтобы временно находившиеся там собаки могли отдохнуть от тягот и мучений более чем полугодового бродяжничества из цирка в цирк. Поэтому-то дрессировщики, уезжавшие на отдых или временно оставшиеся без ангажемента, так охотно и помещали сюда своих животных. Здесь они находились в чистоте, в полной безопасности от инфекций и пользовались отличным уходом. Короче говоря, Гаррис Коллинз умел восстанавливать их силы для новых странствий и представлений.

Слева от Майкла, в номере семнадцатом, сидели пять забавно остриженных французских пуделей. Правда, Майкл видел их, только когда его вели на прогулку мимо этой клетки, но слышал их, чуял их запах и от скуки даже затеял нечто вроде перебранки с Педро, самым рослым из пуделей, исполнявшим в этой собачьей труппе роль клоуна.

Пудели являлись аристократами среди дрессированных животных, и самая свара Майкла с

Педро была скорее игрой. Если бы их свели вместе, они немедленно стали бы друзьями. Они рычали и скалились друг на друга, чтобы скоротать томительно тянущееся время, отлично понимая, что никакой вражды между ними нет.

Справа, в номере девятнадцатом, помещалась унылая, более того, трагическая компания. Это были дворняжки, содержавшиеся в безукоризненной чистоте, но еще незнакомые с дрессировкой. Они служили как бы запасным сырьем: если из уже сформированной труппы выбывала какая-нибудь собака, сырье немедленно отправлялось в переработку для замены выбывшей. А это значило: ад на арене в часы дрессировки. Кроме того, когда у Коллинза выбиралось свободное время, он со своими ассистентами испытывал способности этих собак к тем или иным трюкам. Так, например, одну собачонку, похожую на кокер-спаниеля, в течение многих дней обучали держаться на спине мчащегося по арене пони, прыгать на скаку через обручи и снова возвращаться ему на спину. После многократных падений и увечий она была признана негодной; ее стали испытывать в другом амплуа, а именно в качестве жонглера тарелками. Поскольку она и в этом не преуспела, собачонку заставили качаться на доске, то есть отвели ей самую ничтожную роль в труппе из двадцати собак.

Обитатели девятнадцатого номера были истинными страдальцами и к тому же постоянно грызлись между собой. Собаки, покалеченные во время тренировки, зализывали раны, скулили, выли и по малейшему поводу начинали драку. Как только взамен отправленной в какую-нибудь труппу собаки к ним вводили новую (а это случалось сплошь и рядом), в клетке поднималась свалка, продолжавшаяся до тех пор, покуда несчастная пленница силой не завоевывала себе место или же покорно не довольствовалась тем, которое ей предоставляли сильнейшие.

Майкл не обращал никакого внимания на обитателей девятнадцатого номера. Они могли сколько угодно рычать и задирать его при встрече, он интересовался только разыгрыванием свар и потасовок с Педро. Кроме того, Майклу приходилось проводить на арене куда больше времени, чем кому-либо из его соседей.

— Не может быть, чтобы Гарри ошибся в оценке этого пса, — объявил Коллинз, решив во что бы то ни стало выяснить, за какие именно таланты Майклу «обеспечен небывалый успех».

С этой целью Майкла подвергли немыслимым унижениям. Его принуждали прыгать через препятствия, ходить на передних лапах, ездить верхом на пони, кувыркаться и изображать клоуна. Пробовали установить, не танцует ли он вальс, для чего ему на все четыре лапы накидывали веревочные петли и помощники Коллинза дергали и подтаскивали его кверху за веревки. Для некоторых трюков на него надевали парфорсный ошейник, чтобы не дать ему отклониться в сторону или упасть. Его били по носу хлыстом и тростниковой тростью. Пробовали заставить его изображать голкипера в футбольном матче между двумя «командами» забитых и замученных дворняг. Его гоняли по лестнице на вышку, откуда он должен был прыгать в бассейн с холодной водой.

Наконец, Майкла заставили проделывать «мертвую петлю». Подгоняемый ударами хлыста, он должен был взбежать вверх по внутренней стороне вертикально поставленного обода, по инерции пробежать верхнюю его часть вниз головой, как муха на потолке, и, спустившись по противоположной стороне, выбежать из него. Пожелай этого Майкл, и ему бы ничего не стоило справиться с такой задачей, но он не хотел ни за что и, едва ступив на обод, всякий раз старался спрыгнуть с него, а если это не удавалось, то грузно вываливался на арену и больно ушибался.

— Нет, бедняга Гарри явно имел в виду другие номера, — говорил Коллинз, всегда

старавшийся на практике обучать своих ассистентов. — Но таким путем я все же надеюсь дознаться, в чем секрет этой собаки.

Из любви к своему обожаемому стюарду и повинуясь его желанию, Майкл безусловно постиг бы все эти фокусы и отлично справился бы с ними. Но здесь, в Сидеруайльде, ни о какой любви не могло быть и речи, а натура Майкла, натура чистопородного пса, заставляла его упорно отказываться от насильственного выполнения того, что он охотно сделал бы из любви. Поэтому между ним и Коллинзом, безусловно не чистопородным человеком, поначалу происходили яростные стычки. Из этих стычек Майкл быстро понял, что ему не одержать верх над Коллинзом и что его удел — покорность. Согласно законам дрессировки, поражение Майкла было предопределено еще до начала боя. Ни разу ему не удалось вцепиться зубами в ногу Коллинза или Джонни. У него было достаточно здравого смысла, чтобы не продолжать борьбу, которая неминуемо сломила бы его душевные и физические силы. Он замкнулся в себе, стал угрюмым, вялым и хотя, даже и побежденный, никогда не трусил и в любую минуту готов был ощетиниться и зарычать — свидетельство того, что он остался самим собой и что внутренне он не был сломлен, — но приступы ярости на него больше не находили.

В скором времени Джонни был отставлен, а Коллинз хотя больше и не испытывал Майкла в новых трюках, но почти все время держал его подле себя на арене. На горьком опыте Майкл понял, что должен всюду следовать за Коллинзом, и он выполнял свой долг, ненавидя Коллинза и постепенно, медленно отравляя свой организм выделениями желез, отказывавшихся нормально работать из-за ненависти, душившей его.

Впрочем, у Майкла был достаточно крепкий организм, и на его физическом состоянии это существенно не отражалось. Зато тем горше была эта отрава для его ума, или души, или натуры, или мозга, или сознания — как угодно. Майкл все больше и больше замыкался в себе, мрачнел, ходил как в воду опущенный. И это, конечно, не способствовало его душевному здоровью. Майкл, такой веселый и задорный, еще более веселый и задорный, чем его брат Джерри, становился все более угрюмым, брюзгливым и озлобленным. Ему уже не хотелось играть, возиться и прыгать. Тело его стало малоподвижным и скованным, как и его мозг. Такое состояние овладевает узниками в тюрьме. Усталый и бесконечно равнодушный, он мог часами простаивать рядом с Коллинзом, покуда тот мучил какую-нибудь дворняжку, обучая ее новому трюку.

Как часто видел Майкл эти пытки! При нем борзых обучали прыгать в высоту и в длину. Они старались изо всех сил, но Коллинз и его ассистенты стремились добиться от них чуда, — если чудом можно назвать то, что превосходит силы живого существа. Все, что они делали в меру своих сил, было естественно. Большее было противоестественно, а потому многих из них убивало или сокращало им жизнь. Высоко прыгнувшую с трамплина собаку еще в воздухе настигал страшный удар длинного бича, который, подстерегая этот момент, держал в руках помощник Коллинза. И собака старалась прыгнуть с трамплина выше, чем это было в ее силах, лишь бы избежать удара, настигавшего ее в воздухе и, словно жало скорпиона, впивавшегося в натянутое, как струна, тело.

— Собака никогда как следует не прыгнет, если ее не заставить, — говорил Коллинз своим ассистентам. — А заставить ее — ваше дело. Потому-то собаки-прыгуны, выпущенные из моей школы, и отличаются от собак, проходивших дрессировку у какого-нибудь любителя, — эти проваливаются даже в самых захолустных городишках.

Коллинз заботливо обучал своих ассистентов. Молодой человек, окончивший школу в Сидеруайльде и получивший рекомендательное письмо от Коллинза, очень высоко котировался в цирковом мире.

— Ни одна собака не умеет от рождения ходить на задних лапах, а тем более на передних, — любил говорить Коллинз. — Они для этого не созданы, их надо заставить — вот и все. Заставить — в этом весь секрет дрессировки. Их долг — повиноваться. Ваш — принуждать их к повиновению. Это ваша профессия. Заставьте их повиноваться. Тому, кто этого не сумеет, здесь не место. Раз навсегда зарубите себе это на носу и принимайтесь за дело.

Майкл видел, хотя толком и не понимал, что тут происходит, как дрессировали мула при помощи утыканного гвоздями седла. В первый день на арену вышел раскормленный и добродушный мул. До того, как острый глаз Коллинза приметил его, он был баловнем целой семьи, смешившим детей своим нелепым упорством, и не знал в жизни ничего, кроме добра и ласки. Но Коллинз сразу понял, какое это здоровое, сильное и выносливое животное и сколь комический эффект произведет появление на арене эдакого длинноухого благодушного создания.

В день трагического перелома в его жизни мул получил новую кличку — Барней Барнато. Он нимало не подозревал о гвоздях в седле, — покуда на нем никто не сидел, они не давали себя чувствовать. Но едва только негр-акробат Сэмюэль Бэкон вскочил в седло, как колючки впились в спину мула. Негр знал об этом и был наготове. Но Барней, пораженный неожиданностью и болью, впервые в жизни вскинул задом, и притом так высоко, что глаза Коллинза блеснули удовлетворением. Сэм же отлетел вперед футов на двенадцать и шлепнулся в опилки.

— Здорово, — одобрительно заметил Коллинз. — Когда я продам мула, вы тоже получите ангажемент, или я ничего не смыслю в своем деле. Это будет первоклассный номер. Надо найти и натренировать еще двух опытных наездников, которые сумеют хорошо падать. А ну, еще раз!

И для Барнея начались муки дрессировки. (Впоследствии человеку, купившему его, предлагали больше ангажементов, чем он в состоянии был принять.) Каждый день Барней был обречен на невыносимые страдания. Правда, седла, утыканного гвоздями, да и вообще седла, на него больше не надевали, негр вскакивал ему прямо на спину, а брыкался и вздыбивался мул потому, что колючки были теперь прикреплены ремнями к ладоням наездника. В конце концов Барней стал так чувствителен, что достаточно было кому-нибудь взглянуть на его спину, как он уже приходил в неистовое волнение и, едва наездник приближался к нему, начинал брыкаться, вскидываться и вертеться на месте в предчувствии мучительной боли.

К концу четвертой недели пребывания Барнея в Сидеруайльде, при участии еще двух, уже белых, акробатов был устроен просмотр номера для наметившегося покупателя — стройного французика с нафабренными усами. В результате он, не торгуясь, отдал за Барнея запрошенную сумму и предложил ангажемент не только Сэму, но и обоим белым, Коллинз сумел «подать» номер покупателю со всеми атрибутами настоящего циркового представления и даже сам выступил в роли шталмейстера.

Жирного, лоснящегося, добродушного с виду Барнея ввели в огороженное стальными тросами пространство и сняли с него недоуздок. Почувствовав себя свободным, он забеспокоился, прижал уши: словом, повел себя, как норовистое животное.

— Запомните, — обратился Коллинз к покупателю, — что, если вы его купите, вам придется взять на себя обязанности шталмейстера, и вы сами никогда не должны причинять ему боли. Когда он это поймет, вы получите полную власть над ним и сможете в любую минуту его успокоить. Он самый добродушный и благодарный мул из всех, какие мне когда-либо попадались. Он будет любить вас и ненавидеть тех троих. Но на всякий случай предупреждаю:

если он озлобится и начнет кусаться — вырвите ему зубы и кормите его только отрубями и дробленой распаренной крупой. Я дам вам рецепт питательных веществ, которые следует добавлять в его пойло. А теперь — внимание!

Коллинз спустился на арену и погладил Барнея; мул стал ласкаться к нему, заодно пытаясь выбраться из загородки и спастись от того, что — он это знал по горькому опыту — неизбежно должно было воспоследовать.

— Видите, — пояснил Коллинз, — он мне доверяет. Он знает, что я не только никогда не обижаю его, но в конце номера всякий раз являюсь в качестве спасителя. Я для него — добрый самаритянин, и вам придется взять на себя ту же роль. Ну, а сейчас мы вам покажем этот номер. Впоследствии вы, разумеется, сможете изменить или дополнить его по своему усмотрению.

Великий дрессировщик вышел за канаты, шагнул к воображаемой публике, затем как бы окинул взглядом оркестр, весь амфитеатр в целом и раек в отдельности.

— Леди и джентльмены, — бросил он в зияющую пустоту так, словно обращался к битком набитому цирку, — разрешите представить вам Барнея Барнато, весельчака мула. Он ласков, как щенок-ньюфаундленд, и… прошу убедиться!

Коллинз отступил к канатам и, протянув над ними руку, позвал:

— Поди сюда, Барней, и покажи публике, кого ты любишь больше всех на свете.

Барней рысцой подбежал к нему, перебирая своими маленькими копытцами, ткнулся носом в его ладонь, в локоть, затем слегка подтолкнул его в плечо и, привстав на дыбы, попытался перебраться через канат. И обнять его. На самом деле он упрашивал, умолял Коллинза увести его с арены, избавить от предстоящих ему мучений.

— Вот что значит никогда не причинять ему боли, — обернулся Коллинз к господинчику с нафабренными усами и снова окинул взглядом воображаемый цирк, воображаемый оркестр и воображаемую публику.

— Леди и джентльмены! Барней Барнато — великий шутник. Каждая из его четырех ног может выкинуть штук сорок таких фокусов, что ни одному человеку не удастся продержаться у него на спине и шестидесяти секунд. Честно предупреждаю вас об этом, прежде чем сделать вам следующее предложение. На первый взгляд кажется: что тут особенного — одну минуту, то есть шестидесятую долю часа, или, еще точнее, шестьдесят секунд, продержаться на спине такого ласкового и веселого животного, как наш мул Барней? Ну что ж, выходите-ка сюда, ребята, лихие наездники! Тому, кто усидит на Барнее одну минуту, я немедленно плачу пятьдесят долларов; а за две минуты, точно отсчитанные по часам, — все пятьсот.

Это была условная реплика, после которой Сэмюэль Бэкон с конфузливой улыбкой, спотыкаясь и боясь поднять глаза на публику, вышел на арену и с помощью Коллинза, услужливо протягивавшего ему руку, перебрался через канаты.

— Скажите, ваша жизнь застрахована? — деловито спросил Коллинз.

Сэм отрицательно покачал головой и ухмыльнулся.

— Тогда зачем вам понадобилось рисковать ею?

— Из-за денег, — отвечал Сэм, — мне нужны деньги для моего дела.

— А какое у вас дело? Разрешите узнать?

— А это не ваше дело, мистер. — Тут Сэм расплылся в улыбке, как бы прося прощения за свою дерзость, и стал переминаться с ноги на ногу. — Может, я скупаю лотерейные билеты, вы почем знаете. А деньги-то я с вас получу? Это ведь уж будет наше общее дело.

— Получите, получите, — заверил его Коллинз, — конечно, если заработаете. Станьте-ка здесь, в сторонке и повремените немножко. Леди и джентльмены, простите меня за задержку, но я бы хотел, чтоб вызвались еще охотники. Кто желает? Пятьдесят долларов за шестьдесят секунд. Почти доллар в секунду… Если вы справитесь с задачей. Да что там, даю по доллару за секунду… Шестьдесят долларов мальчику, мужчине, девушке или женщине, усидевшим минуту на Барнее. В первую очередь приглашаю дам! Сегодня у нас полное равноправие. Вам предоставляется возможность заткнуть за пояс мужей, братьев, сыновей, отцов и дедов. Возраст значения не имеет… Кажется, вы изъявили желание, бабушка? — Он как будто и впрямь обращался к старушке в одном из первых рядов. — Вот видите (последнее уже относилось к французу-покупателю). У меня для вас даже заготовлено антре. Вам потребуется не больше двух репетиций. Можете, если хотите, провести их здесь совершенно бесплатно.

На арене появились два других участника. Коллинз опять протянул руку, как бы помогая непривычным людям перебраться через барьер.

— Вы можете изменять текст антре в зависимости от города, в котором будете находиться, — обратился он к французу. — Надо только сразу же узнать названия самых захолустных пригородов и деревень и изобразить, будто добровольцы явились именно оттуда.

Продолжая разговор с воображаемой публикой, Коллинз подал знак к началу представления. Первая попытка Сэма немедленно потерпела неудачу. Он не успел даже толком взобраться на мула, как уже шлепнулся на арену. Три-четыре новых попытки, предпринятых одна за другой, оказались не более успешными; в последний раз ему, правда, удалось продержаться на спине Барнея около десяти секунд, но потом он кувырком перелетел через его голову. Сэм удалился с арены, в огорчении покачивая головой и потирая будто бы ушибленный бок. Ему на смену явились два других «наездника». Отличные акробаты, они падали, проделывая уморительнейшее сальто в воздухе. За это время Сэм успел оправиться и явился снова. Теперь они уже втроем предприняли комбинированную атаку на Барнея и одновременно с разных сторон пытались вскочить на него. Барней становился на дыбы, они то разлетались в разные стороны, то валились в кучу, как мешки с мукой. А один раз Сэм, падая, даже свалил с ног белых наездников, отошедших в сторонку, чтобы перевести дыхание.

— Вот что это за мул! — обратился Коллинз к господину с нафабренными усами. — А если какие-нибудь оболтусы из публики и вправду польстятся на деньги — что ж, тем лучше! Они живо свое получат. Не родился еще человек, который целую минуту продержался бы на этом муле, если, конечно, вы и впредь будете репетировать с колючками. Он должен жить в постоянном страхе. Не позволяйте ему забывать о колючках. Если у вас окажется вынужденный перерыв, то порепетируйте с ним разок-другой, а не то он забудет о них и рысцой прокатит по арене какого-нибудь деревенского дурня, так что весь номер пойдет насмарку. Наконец, представьте себе, что сыщется ловкач, который удержится на нем, а минута уже будет на исходе, тогда пусть Сэм или другой участник номера подойдет и незаметно кольнет мула. Тут уж деревенщине несдобровать. А вы и при своих деньгах останетесь и публику насмешите до упаду. Ну, а теперь посмотрим финальный трюк! Внимание! Сейчас публика будет просто умирать со смеху. Приготовиться первым двум! Сэм,

на место! Начали!

Покуда белые пытались с обеих сторон вскарабкаться на Барнея и таким образом отвлекали его внимание, Сэм во «внезапном» приступе ярости и отчаяния перемахнул через канаты, вскочил на шею мула и, схватив ее руками и ногами, прижался лицом к его голове. Барней, памятуя свой горький опыт, немедленно взвился на дыбы.

— Это же гвоздь программы! — воскликнул Коллинз, глядя, как Барней мечется по арене и, то и дело становясь на дыбы передними ногами, пытается сбросить седока. — Опасности нет никакой. На спину он не бросится. Мулы для этого слишком умные животные. А если б это даже случилось, то Сэм уж сумеет упасть, как надо.

Номер окончился, и Барнея, охотно давшего надеть на себя недоуздок, подвели к французу.

— Это — долговечное, здоровое животное, вы только посмотрите на него,

— расхваливал свой товар Коллинз. — У вас будет прекрасный, законченный номер. Кроме вас, в нем участвуют еще трое, не считая самого мула и дураков из публики. С этим номером вы можете хоть завтра начинать выступления, так что пять тысяч, которые я за него прошу, еще очень недорогая цена.

Француз поморщился, услышав о такой сумме.

— Арифметика здесь простая, — продолжал Коллинз. — Вы подпишете ангажемент не меньше чем на тысячу двести долларов в неделю. На руках у вас еженедельно будет оставаться не менее восьмисот долларов чистыми. За шесть недель вы оправдаете покупку. А ангажемент вы подпишете не на шесть, а на сто недель, да и то вас еще будут упрашивать продлить его. Будь я помоложе и посвободнее, я бы сам поехал в турне с таким номером и сколотил бы себе порядочное состояние.

Итак, Барней был продан в вечное рабство, для того чтобы мучения его вызывали смех у праздных зрителей всевозможных увеселительных заведений.

Глава двадцать седьмая

— Дело в том, Джонни, что любовью и лаской ты не заставишь собак выполнять все нужные тебе трюки, в этом существенное различие между собакой и женщиной, — говорил Коллинз своему помощнику. — Ты же знаешь, как бывает с собаками. Ты любя обучаешь ее ложиться, кататься по полу, «умирать» и прочему вздору. А затем хочешь похвалиться ею перед друзьями, но оказывается, что окружающая обстановка изменилась, собака возбуждена, растерянна, и ты не можешь выжать из нее ни одного фокуса. Собаки как дети. На людях они теряют голову, забывают все, чему их учили, и ставят тебя в неловкое положение. Надо помнить, что на арене им приходится проделывать трудные трюки. И к тому же трюки, которые они ненавидят. Кроме того, может, например, случиться, что собака нездорова — простужена, запаршивела или просто не в духе. Что ж тогда прикажете делать? Приносить извинения публике? Далее учти, что программа распределена точно по часам. Спектакль начинается по звонку, и один и тот же номер иногда исполняется раз по семь в сутки, в зависимости от условий контракта. Самое важное, чтобы собаки всегда были наготове и, что называется, в «форме». Не следует ни ласкать, ни уговаривать их, ни нянчиться с ними. Существует только один способ обращения: они должны знать, что мы всегда добьемся от них того, что нам нужно.

— Да, собаки отнюдь не глупы, — заметил Джонни. — Они отлично понимают, когда вы всерьез хотите чего-то от них добиться.

— Безусловно, — согласился Коллинз. — Стоит только чуть-чуть распустить их, и они уже работают из рук вон плохо. Попробуйте ласково обходиться с ними, и они отблагодарят вас бесконечными накладками. Страх божий — прежде всего! Если собаки не будут вас бояться, то в скором времени вы будете, высунув язык, бегать в поисках ангажемента, хотя бы самого завалящего.

Полчаса спустя Майкл опять слушал, ни слова, впрочем, не понимая, как великий дрессировщик преподавал другому ассистенту основы своего ремесла.

— Работать, Чарльз, надо только с дворняжками. Из десятка чистопородных собак вы не подберете себе ни одной, разве только вам посчастливится напасть на особо трусливую; но ведь храбрость-то главным образом и отличает чистокровную собаку от дворняжки. У них такая же горячая кровь, как у породистых лошадей. Они обидчивы и горды. В этой гордости вся и беда. Я родился в семье дрессировщика и всю жизнь отдал этому делу. Я преуспел в нем. И преуспел по одной только причине: у меня есть профессиональное знание. Запомни это. Знание. Второе преимущество дворняг — они дешевы. Нам не страшно, если такая собака околеет или обессилеет. Можно сейчас же по дешевке приобрести другую. Они легко поддаются обучению и понимают, что такое страх божий. А чистокровной собаке никакими силами не внушить этого страха. Попробуй отстегать дворняжку. Что произойдет? Она будет лизать вам руки, ползать на брюхе и сделает все, чего вы от нее потребуете. Дворняжки — это собаки-рабы. Правда, они трусливы, но дрессированной собаке храбрость ни к чему. Мы хотим, чтобы она нас боялась. Ну, а если вы изобьете чистопородного пса, что из этого выйдет? Случается, что они околевают от оскорбленной гордости. А если не околевают, то становятся упрямы или злы, или то и другое вместе. Иногда они с пеной у рта бросаются на вас. Их можно убить, но нельзя утихомирить, они до последней минуты будут стараться вас укусить. А не то замкнутся в своем упорстве. И ничего с ними не поделаешь. Я называю это пассивным сопротивлением. Они не будут сражаться. Вы можете забить их до смерти, но толку не добьетесь. Они, как первые христиане, лучше позволят сжечь себя на костре или сварить в кипящем масле, но своими убеждениями не поступятся... Они предпочитают смерть. И умирают. Я видел таких. Я их изучал и... научился оставлять в покое. Они душу из вас вымотают, но не уступят. Уступите вы. И мало того, что они отнимают у вас кучу времени и портят вам нервы, они еще и дорого стоят. Возьмем хоть этого терьера. — Коллинз показал глазами на Майкла, который стоял несколько поодаль, мрачно созерцая сутолоку на арене. — Это чистокровнейший пес, и потому он ни на что не пригоден. Я ни разу не бил его по-настоящему и не буду бить. Это была бы неразумная трата времени. Если обойтись с ним очень круто, он затеет борьбу. И так и сдохнет в борьбе. Впрочем, с человеком, который не слишком жесток с ним, он бороться на станет. Для этого он слишком благоразумен. Но если не быть жестоким, он вот такой и останется — его уже ничему не обучишь. Я бы давно его сплавил, если бы не был уверен, что Дель Мар не мог ошибиться. Бедняга Гарри знал о каком-то необыкновенном таланте этого пса, и я во что бы то ни стало должен доискаться, что это за талант.

— Может быть, он работает со львами? — предположил Чарльз.

— Да, такая собака не должна бояться львов, — согласился Коллинз. — Но в чем состоит эта его работа? Кладет голову в пасть льва? В жизни не слыхивал о такой собаке, хотя, честное слово, это идея! Надо испытать его. Все остальное мы, кажется, уже перепробовали.

— У нас ведь есть старик Ганнибал, — заметил Чарльз. — В труппе Сэйл-Синкера он

проделывал этот номер с укротительницей.

— Да, но старик Ганнибал последнее время совсем свихнулся, — отвечал Коллинз. — Я уже давно наблюдаю за ним и стараюсь сбыть его. У всякого животного может в конце концов помутиться разум, особенно у хищника. Ведь жизнь-то они ведут противоестественную. А хищник, если свихнется, — пиши пропало. Опытному дрессировщику это грозит потерей больших денег, а неопытному — возможно, и гибелью.

Майкла, несомненно, попробовали бы на работе со львами, и его голова осталась бы в чудовищной пасти царя зверей, если бы за него не вступился всесильный бог — случай. Едва Коллинз проговорил последние слова, как к нему торопливо подошел смотритель, на попечении которого в Сидеруайльде находились хищники, и начал что-то докладывать. Это был человек лет сорока, но выглядевший чуть ли не вдвое старше. Глубокие вертикальные морщины, бороздившие его лицо, походили скорее на рубцы от когтей дикого зверя, чем на печать, наложенную его собственной звероподобной натурой.

Старик Ганнибал взбесился — вот, собственно, к чему вкратце сводился его доклад.

— Вздор, — отвечал Коллинз. — Не он взбесился, а вы постарели и уже не справляетесь с ним. Я вам это докажу. Идите за мной. Сделаем на четверть часа перерыв в работе, и я покажу вам номер, какого еще ни одна арена не видывала. За такой номер любой антрепренер даст десять тысяч в неделю, да только его не повторишь. Старик Ганнибал сдохнет от оскорбленной гордости. Идите все за мной, все до одного. Объявляю перерыв на пятнадцать минут.

И Майкл поплелся следом за своим нынешним господином, самым грозным из всех, кто когда-либо властвовал над ним. За ними двинулись остальные — служащие Сидеруайльда и профессиональные дрессировщики. Все они знали, что Коллинз показывает свое искусство лишь в редких случаях и только избранному кругу профессионалов.

Смотритель, чье лицо хранило следы не когтей зверя, а его собственной звериной сущности, попытался протестовать, увидев, что Коллинз собирается войти в клетку, вооруженный только палкой от метлы.

Ганнибал, правда, уже старик, считался крупнейшим экземпляром укрощенного льва, и вдобавок у него были целы все зубы. Тяжело ступая и слегка раскачиваясь, как все хищники в неволе, он расхаживал взад и вперед по своей клетке, когда возле нее вдруг оказалась целая толпа людей. Не обратив на них ни малейшего внимания, он продолжал, тряся головой, мерить шагами тесное пространство; дойдя до конца клетки, Ганнибал легко повертывал свое огромное тело и шагал обратно с видом, говорившим о непоколебимости принятого им решения.

— Вот так он ходит уже два дня, — плаксивым голосом объявил смотритель. — А только сунешься к клетке, сейчас бросается. Глядите, что со мной сделал. — Смотритель поднял правую руку, показывая разорванные в клочья рукава верхней и нижней рубашки и параллельные полосы на теле — следы львиных когтей. — А я к нему вовсе и не входил. Я стал снаружи чистить клетку, а он просунул лапу сквозь прутья да как хватит меня! Если бы хоть зарычал. Нет, ведь звука не издает, только все ходит и ходит.

— Где ключ? — спросил Коллинз. — Хорошо! Теперь впустите меня. Когда я войду, заприте дверцу и выньте ключ. Забросьте его куда-нибудь подальше и забудьте о нем. Спешить мне некуда, я подожду, пока вы его найдете и выпустите меня.

И Гаррис Коллинз, этот щуплый, низкорослый человек «в весе пера», живущий в постоянном

страхе, как бы супруга не швырнула в него за обедом тарелку горячего супа, вооруженный всего-навсего палкой от метлы, на глазах у самой взыскательной публики — служащих его заведения и профессиональных дрессировщиков — вошел в клетку льва. Дверца тотчас захлопнулась за ним; не сводя глаз с шагающего из стороны в сторону Ганнибала, он повторил свое приказание: вынуть ключ из замка.

Несколько раз лев прошел мимо, не удостаивая вниманием незваного гостя. Выждав мгновение, когда Ганнибал повернулся к нему спиной, Коллинз неожиданно шагнул вперед и заступил ему дорогу. Повернувшись и увидев помеху на своем пути, лев не зарычал, только мускулы его напряглись, заиграли под гладкой шкурой, и он прямо двинулся на неожиданно возникшее препятствие. Но Коллинз, раньше льва знавший, что тот собирается сделать, опередил его. Он ударил льва по носу палкой от метлы. С грозным рыком Ганнибал попятился и уже занес могучую лапу для удара. Но Коллинз снова опередил его: еще один удар по носу принудил льва вторично отступить.

— Заставьте его наклонить голову, и вы в безопасности, — тихим, напряженным голосом говорил великий дрессировщик. — А, ты так! Ну, получай же!

Разъяренный Ганнибал изготовился к прыжку и поднял голову, но, получив новый удар, опустил ее; ткнувшись носом в пол клетки, царь зверей попятился, рыча и издавая какие-то странные клокочущие звуки.

— Внимание! — проговорил Коллинз, снова ударив льва и принуждая его к скорейшему отступлению.

— Человек — господин над зверем, потому что у него мыслящий ум, — назидательно продолжал Коллинз, — а ум, господствуя над телом, предвосхищает мысль животного и тем самым предвосхищает его действия — вот вам и весь секрет. Сейчас вы увидите, как я его усмирю. Лев совсем не так грозен, как он воображает. Мы собьем с него спесь. Собьем при помощи вот этой метлы. Смотрите!

Под градом ударов лев все ниже и ниже склонял голову и отходил дальше в глубь клетки.

— Сейчас я загоню его в самый угол.

И Ганнибал, ворча, фыркая, стараясь отвернуть голову от сыплющихся на нее ударов, отмахиваясь передними лапами от назойливой метлы, послушно отступил в угол и присел на задние лапы, весь съежившись от мучительного и тщетного усилия занять как можно меньше места своим огромным телом. Морду он все время держал книзу, отчего его туловище находилось в неудобном для прыжка положении. Внезапно он поднял голову и зевнул. Но движения его были медленны, и Коллинз, предвосхищавший любое намерение Ганнибала, предвосхитил и зевок, — на этот раз лев не получил удара по носу.

— Вот он и капитулировал, — объявил Коллинз, и голос его впервые зазвучал свободно и непринужденно. — Когда лев начинает зевать в разгаре боя, можете быть уверены, что он не бешеный. Он вполне разумен, вернее, ему пришлось образумиться, в противном случае он бы не зевал, а бросался на меня. Но он понимает, что побежден, и этим зевком как бы говорит нам: «Я сдаюсь! Ради всего святого, оставьте меня в покое! Нос у меня болит. Я бы охотно расправился с вами, да не могу! Я сделаю все, что мне прикажут, я буду тих и смирен, только не колотите меня больше по моему бедному больному носу».

Но человек — господин и малым не удовлетворится. Внушайте зверю, что вы господин. Вдалбливайте это ему в башку. Не обманывайтесь его смирением. Не золотите ему пилюлю.

Заставьте его лизать ноги, втаптывающие его в грязь, целовать палку, которая его бьет. Внимание!

И Ганнибал, царь зверей, крупнейший из подневольных хищников, уже взрослым привезенный из джунглей и еще сохранивший все зубы, из страха перед тонкой палочкой в руках тщедушного человека еще больше сжался в своем углу. Согнув спину — одно это уже исключало возможность прыжка, — в беспредельном унижении склонив на грудь некогда гордую голову и всей тяжестью тела опираясь на локтевые суставы, он защищал свой разбитый нос тяжелыми лапами, один удар которых мгновенно вышиб бы дух из тщедушного Коллинза.

— Не исключено, что это — притворство, — заявил Коллинз, — но все равно ему придется поцеловать мою ногу и палку, которой я его бил. Внимание!

Он быстро поднял левую ногу и без малейшего колебания поставил ее на шею Ганнибала. Палку Коллинз держал наготове, для того чтобы предвосхитить возможное действие льва, а мысль его уже опережала возможную мысль царя зверей.

И Ганнибал сделал то, что было предсказано и предугадано Коллинзом. Он поднял голову и раскрыл гигантскую пасть с блеснувшими клыками, чтобы вонзить их в тонкую, обтянутую шелковым носком лодыжку человека. Но клыки не вонзились в нее. Они не успели и на пятую долю пути приблизиться к ноге Коллинза, как палка, больно ударившая льва по носу, принудила его еще ниже склониться, лапами защищаясь от ударов.

— Он в полном уме, — объявил Коллинз, — и теперь знает — насколько ему вообще дано знать, — что окончательно побежден. Окажись он бешеным, он бы этого не знал, а я не мог бы предугадать его намерений, и сейчас в клетке уже валялись бы мои внутренности.

Он принялся тыкать Ганнибала концом своей палки, держа ее так, чтобы она каждую секунду могла нанести новый болезненный удар. И огромный лев только рычал в жалкой своей беспомощности да после каждого прикосновения палки все выше поднимал морду и, наконец, разинул пасть и, высунув красный язык, лизнул ногу, покоившуюся на его шее, а затем и палку, причинившую ему столько боли и унижений.

— Ну, теперь будешь умником? — спросил Коллинз, пнув его ногой в шею.

Не в силах больше подавлять свою ненависть, Ганнибал грозно зарычал.

— Так будешь умником? — повторил свой вопрос Коллинз.

Лев поднял морду и снова лизнул кожаную туфлю и тонкую лодыжку человека, перегрызть которую мог бы в мгновение ока.

Глава двадцать восьмая

С одним только существом из всех многочисленных обитателей Сидеруайльда подружился Майкл, но это была странная и печальная дружба. Сара — его новая подружка, маленькая зеленая обезьянка из Южной Америки — казалось, так и родилась на свет истеричной, негодующей и начисто лишенной чувства юмора. Случалось, что Майкл, плетясь за Коллинзом по арене, встречал ее среди зверей, ожидающих очередного занятия с дрессировщиком. Несмотря на ее полную неспособность или нежелание, Сару все-таки упорно пытались обучить хоть каким-нибудь трюкам или заставляли выступать в качестве статистки.

Впрочем, из этого обычно ничего, кроме суеты и путаницы, не получалось: Сара либо болтала без умолку, либо визжала от страха, либо затевала драку с другими животными. Когда от нее требовали выполнения какого-нибудь трюка, она яростно протестовала, а если к ней применяли силу, поднимала такой крик и визг, что другие звери начинали волноваться, и вся работа на арене приостанавливалась.

— Не стоит с ней возиться, — в конце концов решил Коллинз, — мы ее потом используем в обезьяньем оркестре.

Страшнее приговора нельзя было вынести цирковой обезьяне: участвовать в оркестре значило быть беспомощной марионеткой, которую спрятанные за ширмами люди дергают за невидимые публике веревочки.

Но Майкл познакомился с Сарой еще до ее превращения в марионетку. При первой встрече она внезапно налетела на него — визгливый, суматошный, сердито оскалившийся чертенок с выпущенными коготками. Майкл, как всегда теперь, угрюмо безразличный, даже ухом не повел; скользнув по ней невидящим взглядом, он тотчас же отвернулся от этого разъяренного, суетливого создания. Если бы он попытался укусить ее, зарычал, — словом, выказал гнев или недовольство, она подняла бы невообразимый крик и шум, умоляя о помощи и визгливо призывая всех окружающих в свидетели несправедливого, неспровоцированного нападения.

Но спокойствие Майкла явно поразило ее. Она еще раз неуверенно приблизилась к нему. Мальчик, ходивший за ней, ослабил цепочку, подумав при этом; хорошо бы пес перегрыз ей спину. Мальчик всей душой ненавидел сварливую, неугомонную обезьянью самочку и мечтал, чтобы его приставили ко львам или слонам.

Поскольку Майкл никакого внимания на Сару не обратил, она живо заинтересовалась им: потрогала его лапками, обвила руками его шею и прильнула головкой к его голове. И с этого момента началась нескончаемая болтовня. Каждую свободную минуту она ловила Майкла на арене и, тесно прижавшись к нему, тихим голосом, не переводя дыхания, рассказывала, без конца рассказывала ему что-то — по-видимому, историю своей жизни. Во всяком случае, звучал этот рассказ как перечень горестей, обид и несправедливостей, причиненных ей. Среди этих жалоб слышалась и жалоба на здоровье — ее мучили простуда и кашель, — у обезьянки, видно, болела грудь, так как она жалобным жестом то и дело прикладывала к ней ладонь. Но иногда сетования Сары вдруг прерывались, она ласкала и нежила Майкла, издавая какие-то монотонные, баюкающие звуки.

Сара была единственным существом в Сидеруайльде, приласкавшим Майкла; всегда материнski нежная, она ни разу не ущипнула его, не дернула за ухо. Впрочем, и он был ее единственным другом. В часы утренних занятий с дрессировщиками Майкл всегда старался встретить ее — и это несмотря на то, что каждая встреча кончалась тяжелой сценой: Сара всеми силами противилась уводившему ее мальчику, ее крики и возгласы протеста переходили в рыдания и всхлипы, а люди вокруг хохотали над комической любовью обезьяны и ирландского терьера.

Однако Гаррис Коллинз охотно терпел и даже поощрял их дружбу.

— Эти два кисляя очень подходящая парочка, — говорил он. — Им полезно дружить, по крайней мере у обоих есть теперь смысл жизни, а это оздоровляюще действует на организм. Но только, помяните мое слово, в один прекрасный день она устроит какую-нибудь каверзу, и вся их дружба кончится трагедией.

Он сказал это пророческим тоном, и пророчество его сбылось. Хотя Сара никакой каверзы Майклу не устроила, но дружба их в один злосчастный день и вправду кончилась трагедией.

— Возьмем, к примеру, тюленей, — пояснял Коллинз в одной из импровизированных лекций, которые он любил читать своим помощникам. — Во время представления их постоянно приходится подкармливать рыбой. Попробуйте обойтись без этого, они откажутся работать, и ничего вы с ними не поделаете. Собаку нельзя заставить работать даже при помощи самых лакомых кусочков. А поросенок, например, выполнит все, что ему прикажут, если у дрессировщика в рукаве спрятан обыкновенный детский рожок с молоком. Все это вам надо запомнить и хорошенько обдумать. Ну можно ли предположить, что вон те борзые станут выбиваться из сил ради куска мяса? Работать их заставляет только кнут. Посмотрите, как действует Билли Грин. Иначе ему свою собачонку этому фокусу в жизнь не научить. Лаской вы с ней ничего не поделаете. Подкупить собаку нельзя. Остается только одно — принудить ее.

Билли Грин в это время как раз работал с маленькой лохматой собачонкой неизвестной породы. На арене он производил фурор, когда, вытащив из кармана собаку, заставлял ее проделывать оригинальный трюк. Последняя его собачонка сломала себе хребет, и сейчас он готовил ей заместительницу. Схватив это крохотное создание за задние лапки, он подбрасывал ее кверху, и собачонка должна была, перевернувшись в воздухе, вниз головой опуститься к нему на ладонь и замереть, стоя на передних лапках. Он раз за разом наклонялся, хватал ее за задние лапки и подбрасывал в воздух. Собачонка, замирая от страха, тщетно старалась выполнить то, что от нее требовалось. Ей никак не удавалось удержать равновесие. Она падала, сжавшись в комочек, ему на ладонь и несколько раз едва-едва не свалилась на пол, а под конец шлепнулась боком, да так, что у нее перехватило дыхание. Билли Грин воспользовался этим моментом, чтобы утереть пот, катившийся по его лицу, затем пнул ее носком сапога, и дрожащая собачонка с трудом поднялась на ноги.

— Нет на свете собаки, которая проделала бы эдакую штуку за кусок мяса, — продолжал Коллинз, — или пробежалась бы на передних лапах, прежде чем ее тысячу раз не хлестнут по задним. Возьмем, к примеру, хоть этот номер. Он имеет неизменный успех, особенно у женщин, — ведь это же прелесть что такое, сплошное умиление! Хозяин вытаскивает из кармана малюсенькую собачку, которая так его любит, так ему доверяется, что позволяет швырять себя высоко в воздух. Доверие и любовь — черта с два! Страх божий сумел он ей внушить, вот и все.

И так же вот публике нравится, когда вы во время исполнения номера вынимаете из кармана какое-нибудь лакомство и потчуете им животное. Это, понятно, тоже только профессиональный прием. Публике приятно думать, что животные с удовольствием выступают на арене, что их нежат и холят, как балованных детей, а они, в свою очередь, обожают хозяина. Если публика, избави боже, увидит, что творится у нас за кулисами, — горе нам и нашим карманам! Номера с дрессированными животными будут немедленно запрещены, и нам с вами придется подыскивать себе какую-нибудь другую работенку.

Конечно, к жестоким мерам приходится иногда прибегать на глазах у зрителей. Никто не умел дурачить публику лучше, чем Лотти. Она выступала с дрессированными кошками, в которых души не чаяла, — на публике, конечно. Что же, спрашивается, она делала, когда не удавался какой-нибудь номер? А вот что: брала кошку на руку и целовала ее. После этого поцелуя кошка отлично справлялась со своим номером, а дура-публика устраивала Лотти овацию за ее доброту и гуманность. Целовать кошку! Как бы не так! Она ее кусала в нос.

Элинор Павало переняла этот прием Лотти и стала применять его на своих собачонках. Не забудьте также, что многие собаки работают в парфорсных ошейниках; кроме того, опытный

дрессировщик всегда сумеет ущипнуть собаку за нос так, что ни один человек из публики этого не заметит. Но главное — страх, страх перед тем, что ждет ее по окончании спектакля, вот что заставляет собаку работать безупречно.

Вспомните капитана Робертса и его датских догов, правда нечистопородных. У него их было двенадцать штук, я отродясь не видывал такой свирепой своры. Он дважды оставлял их здесь у меня. Мимо них нельзя было пройти без палки. Я приставил к ним одного мексиканского мальчонку, тоже не из добреньких. Но они напали на него и едва не загрызли. Врач наложил ему больше сорока швов и до отказа накачал его пастеровской вакциной. И все-таки он остался хромым на правую ногу. Повторяю, что злее собак я в жизни не видывал. И тем не менее капитан Робертс уже одним своим появлением с этой сворой приводил публику в неистовый восторг. Псы прыгали вокруг него, точно не зная, как лучше выразить ему свою любовь. Только не воображайте, что они и вправду его любили. Они его ненавидели. Здесь, в Сидеруайльде, он заходил к ним в клетку не иначе как с палкой в руках и раздавал удары направо и налево. Какая уж тут любовь! Дело в том, что он применял старый трюк с анисом. Набивал себе полные карманы мяса, смоченного анисовым маслом. Но такой фокус эффектен только с громадными псами. Будь на их месте обыкновенные собаки, все это имело бы просто глупый вид. А кроме того, они работали не ради мяса, а из страха перед палкой капитана Робертса. Этот капитан и сам был зверюгой. Он вечно твердил, что дрессировать животных — значит внушать им страх. Один из его ассистентов рассказал мне о нем довольно-таки грязную историю. В Лос-Анжелосе они однажды просидели целый месяц без ангажемента, и капитану Робертсу втемяшилось научить собаку балансировать серебряным долларом на горлышке бутылки из-под шампанского. Вдумайтесь-ка в эту штуку: ну можно ли научить этому собаку методами гуманной дрессировки? Ассистент уверял меня, что Робертс обломал об эту собаку столько же палок, сколько ее предшественниц забил до смерти, а забил он шесть штук. Он покупал собак за бесценок, и когда одна околевала, другая уже была наготове и ждала своей очереди. С седьмой собакой он своего добился. Она научилась балансировать серебряным долларом на горлышке бутылки! И околела от последствий своего обучения через неделю после первого показа этого номера, — абсцессы в легких в результате побоев.

Я был еще совсем мальчишкой, когда к нам приезжал один англичанин со смешанной труппой пони, собак и обезьян. Он так кусал обезьянам уши, что на арене ему стоило только нагнуться к уху обезьяны, и та немедленно выполняла все, что от нее требовалось. Гвоздем его программы был шимпанзе

— он делал раз за разом четыре кульбита на спине пущенного галопом пони; и вот этого-то шимпанзе англичанин регулярно порол два раза в неделю. После порки шимпанзе иногда не в силах был выступать даже на следующий день. Но дрессировщик и тут вышел из положения: перед каждым выходом на арену он не то чтобы избивал его, а так — давал попробовать палки. И он своего добивался, хотя у другого обезьяна со злости, пожалуй, и вовсе бы отказалась работать.

В этот же самый день Коллинз преподал весьма ценные сведения одному дрессировщику львов. Человек этот в то время не имел ангажемента и поместил своих трех зверей в Сидеруайльде. Номер его и пугал публику и приводил ее в восторг: львы с рыканьем бросались на маленькую, тоненькую женщину, выступавшую с ними, и казалось, вот-вот разорвут ее; но эта особа с хлыстиком в руках, видимо, смиряла их своей необыкновенной храбростью.

— Беда, что они очень уж привыкли к Айседоре, — жаловался дрессировщик. — Ей теперь не удается как следует раздразнить их. И настоящего спектакля не получается.

— Я знаю этих львов, — заметил Коллинз. — Они очень стары, и дух у них сломлен. Возьмем, к

примеру, хоть Сарка. Ему столько палили в уши холостыми зарядами, что он теперь глух как пень. А Селим — вместе с зубами он утратил все свое величие. Это — дело рук португальца, дрессировавшего его для Барнума и Бэйли. Вы, наверное, слыхали об этой истории.

— Да, я не раз о ней думал. Воображаю, что это было!

— Страшная штука. Португалец пустил в ход железный прут. Селим был зол в этот день, он наподдал его лапой и только открыл пасть, чтобы зарычать, как тот сунул ему в зубы этот самый прут. Он сам мне рассказывал. Зубы Селима посыпались на пол, точно домино из коробки. Португалец не должен был этого делать. Лев представлял собой большую ценность и являлся чужой собственностью. Португальца после этого случая выгнали, и поделом.

— Да, и теперь всем трем моим львам — грош цена, — сказал дрессировщик. — Они уже не рычат на Айседору и не бросаются на нее. А в этом была вся соль номера. Такой финал всегда имел большой успех. Посоветуйте, как мне быть? Отставить этот номер? Или обзавестись молодыми львами?

— Айседоре безопаснее работать со старыми, — отвечал Коллинз.

— Слишком уж безопасно, — возразил ее супруг. — Конечно, на молодых львов мне придется положить немало труда, да и ответственность моя возрастет. Но жить-то нам надо, а этот номер уже сходит на нет.

Гаррис Коллинз покачал головой.

— Что вы хотите сказать? Что вам пришло на ум? — живо заинтересовался дрессировщик.

— Ваши львы свыклись с неволей и еще долго протянут, — начал Коллинз,

— а если вы потратитесь на молодых львов, они могут подвести вас — не выдержат такой жизни и околеют. Нет, старые львы вам еще послужат, надо только воспользоваться моим советом…

Великий дрессировщик запнулся, его младший собрат открыл было рот, собираясь что-то возразить, ко Коллинз неторопливо закончил:

— …который обойдется вам в три сотни долларов.

— Три сотни долларов только за совет? — быстро переспросил тот.

— Да, за безусловно ценный совет. Подумайте, сколько вам пришлось бы уплатить за трех новых львов? А тут триста долларов дадут вам возможность огрести целую кучу денег. Хотя совет мой простейший. Он состоит всего из двух слов, но каждое это слово обойдется вам в полторы сотни долларов.

— Мне это не по карману, — возразил дрессировщик. — Я ведь и так едва-едва свожу концы с концами.

— Я тоже, — заверил его Коллинз. — Потому-то я и беседую здесь с вами. Я специалист, и вы платите гонорар специалисту. Вы только диву дадитесь, до чего прост выход, который я подскажу вам; и, честное слово, я не понимаю, как это вам самому не пришло в голову.

— А если ваше средство не поможет? — подозрительно осведомился дрессировщик.

— Тогда ваши деньги останутся при вас.

— Хорошо! Говорите же!

— Электризуйте плетку, — сказал Коллинз.

Сначала дрессировщик опешил; затем смысл этих слов, по-видимому, начал уясняться ему.

— Вы хотите сказать…

— Да! — кивнул Коллинз. — И никто ни о чем не догадается. Несколько сухих батарей под полом клетки — и ваше дело в шляпе. Айседоре останется только нажать ногой выключатель; а когда электрический ток пройдет по лапам львов, можете быть уверены, что они начнут прыгать, бесноваться и рычать. Если этого не произойдет, я не только верну вам ваши триста долларов, но и приплачу еще столько же. Я знаю, что говорю. Я видел, как это делается, — тут эффект обеспечен. Звери ведут себя так, словно у них под ногами раскаленная печь. Они взвиваются в воздух, а стоит им коснуться пола, ток снова бьет их по лапам.

Но помните, что ток надо давать постепенно, — предупреждал Коллинз. — Я научу вас, как сделать проводку. Сначала совсем слабый ток, а к концу номера все сильней и сильней. К такой штуке они никогда не привыкнут и до конца своих дней будут отплясывать так же бодро, как и в первый раз. Ну, что вы на это скажете?

— Да, трехсот долларов такой совет, пожалуй, стоит, — признался дрессировщик. — Хотел бы и я с такой же легкостью зарабатывать деньги.

Глава двадцать девятая

— Придется, видно, на ней поставить крест, — заметил Коллинз в разговоре с Джонни. — Я уверен, что Дель Мар не ошибался, считая эту собаку бесценной. Но ключа у меня нет как нет.

Это признание было сделано после отчаянной схватки Коллинза с Майклом. Все более ожесточавшийся Майкл стал болезненно раздражителен и почти без всякого повода набросился на ненавистного ему человека. Вцепиться в него зубами Майклу, как всегда, не удалось; дело кончилось тем, что он сам заработал несколько сокрушительных ударов ногой под нижнюю челюсть.

— Пусть это не пес, а золотоносная жила, — вслух размышлял Коллинз, — но, черт возьми, я не знаю, с какой стороны к этой жиле подступиться, а он с каждым днем становится все несноснее. Ну чего он на меня накинулся? Я ему ничего не сделал. Скоро он так озлобится, что на полисменов начнет бросаться.

Через несколько минут к Коллинзу подошел один из его клиентов — пышноволосый молодой человек, занимавшийся в Сидеруайльде подготовкой номера с тремя леопардами, и попросил у Коллинза замены своему эрдельтерьеру.

— У меня осталась только одна собака, — пояснил он, — а мне для безопасности необходимы две.

— Что же стряслось с вашей второй собакой? — поинтересовался Коллинз.

— Альфонзо, самый крупный из моих леопардов, сегодня утром освирепел и расправился с ней. Мне пришлось добить беднягу. Альфонзо выпустил ей внутренности, так что арена выглядела,

как после боя быков. Но меня эта собака спасла. Если бы не она — не знаю, что бы со мною было. На Альфонзо все чаще стали находить такие приступы. Он уж вторую собаку убивает.

Коллинз покачал головой.

— У меня нет эрделя, — сказал он, и тут взгляд его упал на Майкла. — Впрочем, попробуйте этого ирландского терьера, нрав у них схожий с эрделями, да и не удивительно, это ведь родственные породы.

— Я полагаюсь только на эрделей, никакой другой собаке с хищниками не совладать, — нерешительно отвечал дрессировщик.

— Ирландский терьер будет работать не хуже. Посмотрите хотя бы на этого и обратите внимание на его вес и размеры. Будьте уверены, это храбрый пес, его не запугаешь. Устройте ему испытание, сейчас я ничего за него не возьму, а если он подойдет вам, — уступлю по дешевке. Ирландский терьер среди леопардов — это будет сенсация.

— Если он сцепится с этими кошками, ему конец, — проговорил Джонни, глядя вслед Майклу и уводившему его дрессировщику.

— Да, и арена, может быть, лишится звезды, — пожав плечами, отвечал Коллинз. — Но я по крайней мере сбыл его с рук. Когда собака впадает в меланхолию, с ней уже ничего не поделаешь. Я это знаю по опыту.

Итак, Майкл познакомился с эрделем Джеком, пока уцелевшим от когтей леопарда, и приступил к выполнению своих новых обязанностей. В гигантской пятнистой кошке он немедленно учуял исконного врага всего собачьего племени и, прежде даже чем его втолкнули в клетку, весь ощетинился. Появление новой собаки в клетке дикого зверя — напряженный момент для всех участников будущего номера. Пышноволосый укротитель, именуемый на афишах Раулем Кастлемоном, а среди друзей известный просто как Ральф, уже находился в клетке. Эрдель Джек был подле него, а снаружи возле клетки стояло несколько человек, вооруженных железными прутьями и длинными стальными вилами. Эти орудия, просунутые сквозь прутья клетки, ежесекундно угрожали леопардам, которым предстояло репетировать ненавистный номер.

Возмущенные вторжением Майкла, они зафыркали, забарабанили по полу своими длинными хвостами и изготовились к прыжку. В то же самое мгновение укротитель властным голосом заговорил с ними и поднял хлыст, а служители еще глубже продвинули свои орудия в клетку. Леопарды, за время неволи уже не раз изведавшие вкус железа, замерли, и только хвосты их продолжали яростно колотить об пол.

Майкл не был трусом. Он не спрятался за человека, не стал искать у него защиты. Но, с другой стороны, он был слишком благоразумен, чтобы первому напасть на этих гигантских кошек. Ощетинившись, он медленно, на негнущихся ногах прошелся по клетке, глядя прямо в лицо опасности, затем повернул обратно и остановился возле Джека, который приветствовал его добродушным ворчанием.

— Да, этот пес молодчина, — пробормотал дрессировщик странно сдавленным голосом, — он им так просто не дастся.

Положение создалось напряженное, и Ральф повел себя крайне осмотрительно. Стараясь не делать ни одного резкого движения, он умудрялся, не спуская глаз с обеих собак и леопардов, в то же время настороженно следить и за служителями по ту сторону клетки. Ему удалось

заставить леопардов переменить положение и дальше отойти друг от друга. Затем послышалась отрывистая команда, и Джек прошелся между хищниками. Майкл добровольно последовал за ним. Он, как и Джек, ступал с большой осторожностью, точно деревянный.

Один из леопардов, Альфонзо, вдруг фыркнул на него. Майкл не остановился, только шерсть его поднялась еще выше и клыки обнажились. В ту же самую секунду вилы угрожающе пододвинулись к Альфонзо, взгляд его желтых глаз переметнулся на грозное оружие, потом вновь обратился к Майклу, но враждебных действий он уже более не предпринимал.

Самым трудным был первый день. Позднее леопарды привыкли к Майклу так же, как привыкли к Джеку. Разумеется, привязанности или дружелюбия ни с той, ни с другой стороны не проявлялось. Майкл скоро смекнул, что леопарды враги как человека, так и собак и что поэтому человек и собаки должны стоять друг за друга. Каждый день, пока шла репетиция, он час или два проводил в клетке; делать ему, как и Джеку, там было нечего, роль собак сводилась к бдительному наблюдению: как бы хищники не бросились на человека. Когда леопарды были настроены менее злобно, Ральф даже разрешал обоим псам ложиться на пол клетки. В иные дни он зорко следил за тем, чтобы они были начеку, готовые в любую секунду прыгнуть между ним и леопардом.

Все остальное время Майкл проводил с Джеком в обширном помещении, предоставленном им. Они пользовались хорошим уходом, как и все животные в Сидеруайльде: их мыли, скребли, избавляя от блох. Для своих трех лет Джек был весьма положительным псом. Возможно, впрочем, что он никогда не умел играть, а возможно, что и разучился. С другой стороны, у него был ровный, покладистый нрав, и он не обижался на раздражительные выходки Майкла. Но Майкл вскоре поборол свою раздражительность и наслаждался спокойной дружбой с Джеком. Они не играли, не возились, но часами лежали рядом, радуясь близости друг друга.

Временами до Майкла доносился возглас Сары, впавшей в очередную истерику, или ее крики — он это твердо знал, — призывавшие его. Однажды она исхитрилась удрать от служителя и настигла Майкла, когда он выходил из клетки леопарда. Пронзительно взвизгнув от радости, она вскочила на него, прильнула к нему головкой и, истерически всхлипывая, завела рассказ о горестях, постигших ее за время их разлуки. Укротитель леопардов отнесся к ней снисходительно и не отгонял ее, но служитель в конце концов потащил ее за собой; обезьянка, цепляясь за Майкла, непрестанно и злобно визжала, как маленькая ведьма. Когда ее силой от него оторвали, она, разъярясь, бросилась на служителя, не успевшего схватить ее за ошейник, и впилась зубами ему в руку. Вся эта сцена немало рассмешила зрителей, но стоны и крики Сары так встревожили леопардов, что они стали фыркать и биться о прутья клетки. Когда ее уносили, она плакала жалобно, как обиженный ребенок.

Хотя Майкл отлично справлялся со своими обязанностями при укротителе леопардов, Рауль Кастлемон так и не купил его у Коллинза. Однажды утром, через нисколько дней после описанной выше сцены, рев и шум в клетках хищников подняли на ноги весь Сидеруайльд. Волнение, вызванное раздавшимися где-то револьверными выстрелами, распространилось повсюду. Львы грозно рычали, собаки лаяли, словно одержимые. Работа на арене тотчас же прекратилась, так как животных уже нельзя было заставить сосредоточиться. Несколько человек, в том числе и Коллинз, ринулись к клеткам хищников. Служитель, приставленный к Саре, бросил цепочку и побежал за ними.

— Бьюсь об заклад, что это Альфонзо, — крикнул Коллинз догонявшему его ассистенту. — Ральфу теперь плохо придется.

Когда подоспел Коллинз, дело уже близилось к развязке. Кастлемона вытащили из клетки, и

Коллинз, подбегая, увидел, что его кладут на пол, в сторонке от уже захлопнутой дверцы. Внутри клетки, свившись в клубок, так что с первого взгляда даже нельзя было понять, из каких зверей этот клубок состоит, яростно бились Альфонзо, Джек и Майкл. Служители метались как угорелые, стараясь поглубже просунуть в клетку железные прутья и разнять зверей. В дальнем углу клетки два леопарда поменьше зализывали раны, рычали и время от времени неистово бросались на железные палки, мешавшие им снова ввязаться в драку.

Появление Сары и все, что за этим последовало, было делом нескольких секунд. Волоча за собой цепочку, маленькая зеленая обезьянка, хвостатая истеричная самочка, познавшая любовь и сердцем своим ставшая сродни женщине, стремглав бросилась к клетке и протиснулась сквозь ее частые прутья. В это самое мгновение клубок вдруг распался. Майкла со страшной силой отбросило в угол, он стукнулся об пол, попытался было вскочить на ноги, но весь как-то обмяк и снова упал, кровь ручьем лилась из его правого плеча, разодранного и сломанного. Сара подскочила к Майклу, обвила его передними лапками и с материнской нежностью прижала к своей плоской мохнатой груди. Она непрерывно издавала тревожные крики, а когда Майкл с огромным усилием попытался подняться, опираясь на свою растерзанную переднюю лапу, начала ласково распекать его, стараясь увести подальше от места свалки. Изредка отрывая взор от Майкла, Сара с ненавистью устремляла его на Альфонзо и пронзительным голосом выкрикивала проклятья по его адресу.

От этой пары внимание леопарда отвлекла железная палка, упершаяся ему в бок. Он ударил по ней лапой, а когда палка снова коснулась его, прыгнул и яростно вонзился зубами в железо. За первым прыжком почти мгновенно последовал второй, и леопард в клочья разодрал руку человека, державшего палку. Человек отпрянул и выронил оружие. Альфонзо попятился и ринулся на Джека, врага к этому времени уже поверженного и корчившегося в предсмертных судорогах.

Майкл, умудрившийся подняться на трех лапах, вырывался из цепких объятий Сары, чтобы снова кинуться в бой. Взбесившийся леопард уже готов был прыгнуть на них, но его остановил железный прут, просунутый в клетку другим служителем. На этот раз он прямо бросился на человека, с такой свирепой силой сотрясая прутья клетки, что казалось, они вот-вот поддадутся его натиску.

Подбежали еще люди с железными палками и вилами, но Альфонзо был неукротим. Сара первой заметила его приближение и дико, пронзительно завизжала. Коллинз выхватил револьвер у одного из служителей.

— Не убивайте его! — крикнул Кастлемон, хватая за руки Коллинза.

Укротитель леопардов и сам был в тяжелом состоянии. Одна рука у него беспомощно висела вдоль туловища, а глаза его заливала кровь, хлеставшая из раны на голове; он вытер глаза о плечо Коллинза, чтобы хоть что-нибудь увидеть.

— Альфонзо моя собственность, — пробормотал он, — и стоит больше, чем сотня таких дохлых обезьян или паршивых терьеров. А кроме того, мы извлечем их из клетки. Сейчас я попробую… Кто-нибудь вытрите мне глаза. Я ничего не вижу. И я уже истратил все свои холостые патроны. Не найдется ли у кого-нибудь запасных?

Сара то пыталась заслонить собою Майкла от леопарда, которого все еще удерживали на месте направленные на него острия железных прутьев, то визжала перед самой оскаленной пастью гигантской кошки так пронзительно, словно крикливое проявление ее ненависти могло удержать чудовище от нападения.

Майкл, весь ощетинившийся, рыча от ярости и таща Сару за собой, проковылял несколько шагов на трех лапах, но раненое плечо подвело его, и он рухнул наземь. И тогда Сара совершила свой подвиг. С истошным криком, задыхаясь от ярости, она ринулась прямо на огромную кошку, царапая, раздирая ей морду передними и задними лапками, а зубами вцепившись ей в ухо. Оторопевший было леопард взвился на дыбы, стараясь передними лапами сбросить, сорвать с себя этого чертенка.

Борьба и жизнь зеленой обезьянки не продлилась и десяти секунд. Но Коллинзу этого времени достало на то, чтобы приоткрыть дверцу клетки и за ногу выволочь оттуда Майкла.

Глава тридцатая

Если бы в Сидеруайльде Майклу оказали хирургическую помощь так поспешно и грубо, как это в свое время сделал Дель Мар, он бы не выжил. Но на этот раз за него взялся опытный, искусный и к тому же смелый хирург. Правда, операция, которую он сделал Майклу, являлась скорее вивисекцией, ибо тот же хирург никогда бы не осмелился произвести ее на человеке, но Майклу она спасла жизнь.

— Он навсегда останется хромым, — объявил хирург, вытирая руки и глядя на недвижно распростертого Майкла, у которого только голова и хвост торчали из гипсовых повязок. — Все зависит от того, как пойдет заживление. Если у него поднимется температура, беднягу придется пристрелить. Сколько он стоит?

— Он ничему не обучен, — отвечал Коллинз, — возможно, долларов пятьдесят, а теперь и того меньше. Обучать хромых собак смысла не имеет.

Время доказало, что оба они были неправы. Во-первых, Майкл не остался хромым на всю жизнь, хотя его плечо надолго сохранило чувствительность и при сырой погоде он слегка прихрамывал — так ему было легче. Во-вторых, его стоимость очень возросла, и среди собак он стал звездой первой величины, как то и предсказывал Гарри Дель Мар.

А пока что он долгие, томительные дни проводил, лежа в полной неподвижности, и температура у него почти не повышалась. Уход за ним был превосходный. Но не любовь или привязанность заставляли людей так за ним ухаживать. Заботливое отношение к больному животному вошло в систему сидеруайльдского заведения и немало способствовало его популярности. Когда с Майкла сняли гипс, ему не дано было испытать того инстинктивного наслаждения, которое чувствуют животные, зализывая свои раны, так как на них были искусно наложены тугие повязки. А когда повязки наконец сняли, то уж и зализывать было нечего: раны зажили, и только где-то глубоко в плече чувствовалась боль, которая утихла лишь через много месяцев.

Коллинз больше не донимал его дрессировкой и однажды одолжил в качестве статиста некоей супружеской чете, которая только что потеряла трех артистов из своей собачьей труппы, околевших от воспаления легких.

— Если выяснится, что он вам подходит, я вам его продам за двадцать долларов, — сказал Коллинз владельцу труппы Уилтону Дэвису.

— А если он околеет? — полюбопытствовал Дэвис.

Коллинз пожал плечами:

— Слез я по нем проливать не стану. Он не поддается обучению.

И когда Майкла, опять посаженного в клетку, увезли в фургоне из Сидеруайльда, у него не оставалось ни единого шанса вернуться туда, так как Уилтон Дэвис был известен в цирковом мире своим жестоким обращением с собаками. О хорошо дрессированной собаке он еще как-то заботился, но статисты, по его мнению, этого не стоили, слишком они были дешевы — от трех до пяти долларов за штуку. А Майкл, на свою беду, достался ему и вовсе задаром. Околей он — Дэвису пришлось бы подыскать взамен новую собаку, и только.

Первый этап новой жизни не был особенно труден для Майкла, хотя он не мог как следует распрямиться в тесной клетке, а дорожная тряска вызывала острые приступы боли в его раненом плече. Но путь он проделал не длинный — только до Бруклина, где его водворили во второразрядный театрик. Уилтон Дэвис считался очень средним дрессировщиком и не работал в первоклассных предприятиях.

Настоящие страдания тесная клетка стала причинять Майклу, когда ее внесли в большое помещение над сценой и поставили среди других таких же клеток с собаками. Несчастные это были существа — все без исключения дворняжки, заморенные и по большей части совсем павшие духом. У многих на голове были болячки от палки Дэвиса. Болячки эти не лечили, а мазь, которой их замазывали на время представлений, только вредила собакам. Некоторые из них вдруг начинали жалобно выть, и все они время от времени разражались лаем, словно это было единственное утешение, оставшееся им в их тесных клетках.

Только Майкл никогда не присоединялся к этому хору. Он давно уже перестал лаять, в чем тоже проявлялась его благоприобретенная угрюмость. Он стал слишком необщителен, чтобы выказывать свое настроение, и отнюдь не собирался следовать примеру своих злобных соседей, которые только и знали, что огрызаться и рычать друг на друга сквозь прутья клеток. Майкл находился в столь подавленном состоянии, что ему было не до ссор. Он хотел только одного — покоя и вдосталь насладился им в течение первых сорока восьми часов на новом месте.

Уилтон Дэвис привез сюда свою труппу за пять дней до назначенного выступления. Воспользовавшись свободным временем для поездки к родным жены в Нью-Джерси, он за известную плату поручил одному из служителей театра кормить и поить собак. Служитель, несомненно, выполнил бы взятые им на себя обязательства, если бы, на свою беду, не затеял драки с владельцем бара, после которой его с проломленным черепом отвезли в больницу в карете скорой помощи. Вдобавок театрик закрыли на три дня, так как пожарная охрана потребовала кое-какого срочного ремонта.

Никто не наведывался в помещение, где находились собаки, и через несколько часов Майкл ощутил голод и жажду. Время шло, и муки жажды заглушили чувство голода. С наступлением темноты лай и визг в собачнике уже не прекращались, постепенно переходя в жалобный вой и слабое тявканье. Только Майкл не издал ни звука и безмолвно страдал в этом аду.

Занялось утро следующего дня; затем день стал клониться к ночи, и тьма на этот раз окутала картину столь страшную, что ее одной было бы достаточно для запрещения всех представлений с дрессированными животными во всех балаганах всего мира. Трудно сказать, дремал ли Майкл или находился в забытьи, но, так или иначе, в эти часы он вновь пережил всю свою прошлую жизнь. Опять он маленьким щенком носился по обширным верандам бунгало мистера Хаггина в Мериндже; вместе с Джерри крался по опушке джунглей к берегу реки — выслеживать крокодилов; проходил обучение у мистера Хаггина и Боба и, в подражание Бидди и Теренсу, считал всех чернокожих богами низшего разряда, которым нечего разгуливать где попало.

Он плыл на шхуне «Евгении» с капитаном Келларом, своим вторым хозяином; на песчаном берегу в Тулаги он вновь всей душой предавался стюарду, обладателю магических пальцев, и уходил в открытое море вместе с ним и Квэком на пароходе «Макамбо». Стюард чаще других возникал в его видениях, среди сутолоки каких-то судов и различных людей вроде Старого моряка, Симона Нишиканты, Гримшоу, капитана Доуна и старичка А Моя. В этих видениях частенько мелькали Скрэпс и Кокки, крохотный комочек жизни с отважным сердцем, достойно проживший свой земной срок. Временами Майклу чудилось, будто Кокки, прильнув к его уху, лепечет что-то, а с другой стороны к нему прижимается Сара и быстро-быстро рассказывает свою нескончаемую бессвязную повесть. А затем он вдруг опять чувствовал за ушами магическое прикосновение ласкающих пальцев стюарда, возлюбленного стюарда!

— И не везет же мне! — воскликнул Уилтон Дэвис, горестно оглядывая своих собак; воздух еще, казалось, сотрясался от проклятий, которые он только что изрыгал.

— Не надо было доверяться какому-то пропойце, — спокойно отвечала ему жена. — Ничего не будет удивительного, если половина из них передохнет.

— Ну, теперь не время языком чесать, — рявкнул Дэвис, скидывая пиджак. — Берись, душенька, за дело. Мы должны быть готовы к худшему. Прежде всего надо их напоить. Я сейчас налью воды в лоханку. — Он открыл кран в углу комнаты и ведрами натаскал воды в большую оцинкованную лохань.

Услышав звук льющейся воды, собаки принялись скулить, выть, визжать. Некоторые пытались распухшим языком лизать руки Дэвиса, когда он грубо выволакивал их из клеток. Наиболее слабые на брюхе ползли к лохани, их отталкивали те, что были посильнее. Всем места не хватило, и первыми напились сильные собаки. Среди них был Майкл. Толкая других, сам отталкиваемый и оттираемый от живительной влаги, он все же одним из первых припал к ней. Дэвис суетился среди собак, раздавая пинки направо и налево и стараясь, чтобы все получили возможность напиться. Жена помогала ему, разгоняя собак шваброй. Это был ад кромешный, ибо несчастные собаки, едва промочив горло, снова начинали визжать и скулить, жалуясь на свое несчастье и боль.

Несколько собак были уже так слабы, что не могли добраться до воды, поэтому Дэвису пришлось вливать воду им в глотки. Казалось, собаки никогда не напьются. Многие в полной прострации лежали на полу, но, очнувшись, вновь ползли к лохани. Тем временем Дэвис развел огонь и поставил на него котел с картошкой.

— Здесь воняет, как в скунсовой норе, — заметила миссис Дэвис, кончив пудрить нос пуховкой. — Придется нам их выкупать, мой мальчик.

— Хорошо, душенька, — согласился ее супруг. — И чем скорее, тем лучше. Мы управимся с ними, пока картофель сварится и остынет. Я буду их мыть, а ты вытирай. Только вытирай хорошенько, а то еще и эти околеют от воспаления легких.

Купание было произведено быстро и без церемоний. Хватая первую попавшуюся собаку, Дэвис окунал ее в лоханку, из которой эти несчастные только что пили. Если испуганная собака противилась ему, он колотил ее по голове щеткой или здоровенным бруском мыла. Минута-другая — и купание считалось законченным.

— Пей, черт тебя возьми, пей, коли не напилась, — приговаривал Дэвис, окуная собаку с головой в грязную мыльную воду.

Казалось, он считал собак ответственными за то ужасное состояние, в котором он их нашел, а

запущенный, грязный вид своих артистов воспринимал как личную обиду.

Майкл покорно полез в лохань. Он знал, что купание — это обязательная повинность, хотя в Сидеруайльце оно было обставлено куда лучше, а Квэк и стюард, купая его, чуть ли не священнодействовали. Итак, Майкл терпеливо сносил то, что Дэвис скреб его, и все сошло бы благополучно, если бы тот не вздумал окунуть его с головой. Майкл немедленно высунул голову из воды и угрожающе зарычал. Рука с тяжелой щеткой, занесенная для удара, остановилась на полдороге, а сам Дэвис даже свистнул от удивления.

— Вот так так! — проговорил он. — Посмотри-ка, душенька, знаешь, кто это? Ирландский терьер от Коллинза. Он ни на что не пригоден. Коллинз этого не скрывает. Статист — не больше того. А ну, вылезай, — скомандовал он Майклу. — На первый раз, наглец ты эдакий, хватит. Но скоро ты у меня завертишься так, что у тебя в глазах потемнеет.

Покуда остывала картошка, миссис Дэвис резкими окриками отгоняла голодных собак от котелка. Майкл угрюмо лежал в сторонке и не принял участия в свалке, которая началась возле кормушки, когда, наконец, последовало разрешение приступить к еде. Дэвис опять метался среди собак, ногами отбрасывая более сильных и не в меру жадных.

— Если они будут артачиться после всего, что мы для них сделали, надавай им хороших тумаков, душенька, — велел он жене.

— Вот тебе, вот! Будешь еще, будешь? — тут же крикнул он большой черной собаке, сопровождая свои слова зверским пинком в бок. Собака взвизгнула от боли и, отлетев в сторону, стала издали с тоской смотреть на дымящуюся пищу.

— Ну, теперь уж никто не посмеет сказать, что я никогда не купаю своих собак, — заметил Дэвис, споласкивая руки под краном. — На сегодня, пожалуй, хватит: мы с тобой, душенька, немало потрудились. — Миссис Дэвис кивнула в знак согласия. — Репетиции мы успеем провести завтра и послезавтра. Времени у нас еще уйма. Я загляну сюда вечерком и сварю им отрубей. После двухдневного поста надо их хорошенько подкормить.

Когда картошка была съедена, собак до следующего дня снова посадили в заточение. В миски им налили воды, а вечером Дэвис, не выпуская своих узников из клеток, досыта накормил их похлебкой из отрубей и «собачьими галетами». Для Майкла это была первая пища после долгой голодовки: к картофелю он так и не притронулся.

Репетиции происходили на сцене, и огорчения Майкла начались немедленно. При поднятии занавеса двадцать собак должны были сидеть на расставленных полукругом стульях. Покуда их рассаживали по местам, на авансцене перед занавесом исполнялся другой номер, поэтому требовалось, чтобы собаки соблюдали полную тишину. Зато после поднятия занавеса им полагалось всем сразу залаять. Майклу, как статисту, делать было совершенно нечего, — вся его роль сводилась к сидению на стуле. Но прежде всего надо было взобраться на стул, и Дэвис, отдав ему такое приказание, подкрепил свои слова колотушкой. Майкл угрожающе зарычал.

— Ишь ты, — усмехнулся дрессировщик, — наглец, видно, хочешь заработать неприятность. Придется тебе от этих штук отказаться и стать умником. Душенька, последи-ка за остальными, покуда я преподам этому псу урок номер первый.

Чем меньше будет сказано о расправе, которая засим последовала, тем лучше. Майкл затеял борьбу заведомо безнадежную и был жестоко избит. Весь в кровоподтеках, он сидел на стуле, не принимая участия в представлении, и тосковал, тосковал так горько и страстно, как никогда

в жизни.

Молчать до поднятия занавеса ему было нетрудно, но он и потом не присоединился к хору неистово лающих и тявкающих собак.

Собаки то поодиночке, то парами или группами по трое и больше, повинуясь приказу дрессировщика, соскакивали со стульев и проделывали все те штуки, которые обычно проделывают дрессированные собаки, — ходили на задних лапах, прыгали, изображали хромого, вальсировали и кувыркались. У Уилтона Дэвиса характер был крутой и рука тяжелая, о чем на репетициях свидетельствовали непрестанные взвизгивания наиболее бестолковых и неповоротливых собак.

За один день и следующее утро были проведены три репетиции. Дела Майкла шли сносно. По команде он быстро взбирался на стул и молча сидел на нем.

— Вот видишь, душенька, что делает палка, — похвалился Дэвис, обращаясь к жене.

Почтенной чете и не снилось, какой конфуз учинит им Майкл на первом же представлении.

На сцене, за спущенным занавесом, все уже было готово. Понурые, забитые собаки неподвижно сидели на стульях. Дэвис и его супруга с угрожающим видом расхаживали возле них, следя за соблюдением тишины, а в это время на просцениуме Дик и Дэзи Белл развлекали собравшуюся на утреннее представление публику пением и танцами.

Все шло как по маслу, и никто из зрителей никогда бы не заподозрил, что за занавесом находится целая свора собак, если бы Дик и Дэзи в сопровождении оркестра не запели «Свези меня в Рио».

Майкл ничего не мог с собой поделать. Как Квэк в давно прошедшие времена покорил его своим варганчиком, стюард любовью и Гарри Дель Мар губной гармошкой, так теперь он был покорен звуками оркестра и этими двумя голосами, певшими давно знакомую песенку, которой его обучил стюард, — «Свези меня в Рио». Вопреки всему, вопреки даже нынешней подавленности Майкла какая-то неведомая сила заставила его разжать челюсти и запеть.

На сцену донеслось хихиканье женщин и детей, быстро перешедшее в громовой хохот всего зала, совершенно заглушивший голоса Дика и Дэзи. Уилтон Дэвис, ругаясь что было мочи, через всю сцену бросился к Майклу. Но Майкл продолжал выть, а публика покатываться со смеху. Он еще не замолк, когда Дэвис изо всех сил огрел его палкой. Этот неожиданный удар заставил Майкла прекратить пение и невольно взвизгнуть от боли.

— Сверни ему башку, милый, — посоветовала миссис Дэвис.

И тут разыгралось генеральное сражение. Дэвис лупил Майкла, и в зрительном зале эти удары были слышны так же отчетливо, как рычание и визг собаки. Публика больше не обращала ни малейшего внимания на Дика и Дэзи. Их номер был сорван. Номер Дэвиса, по его выражению, тоже «пролетел». На теле Майкла не оставалось живого места. А публика по ту сторону занавеса веселилась напропалую.

Дик и Дэзи вынуждены были прекратить свое выступление. Публика желала видеть то, что происходило за занавесом, а не перед ним. Один из служителей за шиворот выволок избитого Майкла со сцены, и занавес подняли. Глазам зрителей представилась вся собачья труппа, рассаженная по местам, и один пустующий стул. Мальчишки в зале первыми сопоставили эти два явления

— незанятый стул и только что происшедшую свалку — и стали шумно требовать, чтобы им показали отсутствующую собаку; остальные зрители поддержали их. Собаки заливались неистовым лаем; всеобщее веселье минут на пять задержало номер, когда же он наконец начался, собаки работали рассеянно и бестолково, а Дэвис нервничал и злился.

— Не беда, дружок, — сценическим шепотом успокаивала его невозмутимая супруга. — Мы избавимся от этого пса и подыщем другого, потолковее. Во всяком случае, мы насолили этой Дэзи Белл. Я ведь тебе еще не рассказывала, что она на прошлой неделе говорила обо мне одной моей приятельнице.

Через несколько минут ее супруг, улучив момент, зашептал:

— Все этот проклятый пес натворил. Ну, уж я до него доберусь. Мокрого места от него не останется.

— Хорошо, дружок, — согласилась миссис Дэвис.

Когда занавес наконец опустился перед глазами хохочущей публики и собак снова загнали в помещение над сценой, Уилтон Дэвис пошел разыскивать Майкла. Вместо того чтобы забиться в какой-нибудь дальний угол, Майкл стоял между колен одного из служителей, все еще дрожа от обиды, но готовый, в случае нового оскорбления, опять немедленно вступить в бой. По пути Дэвис столкнулся с четой Белл. Жена обливалась слезами ярости, муж находился в состоянии злобного раздражения.

— Дрессировщик первый сорт, что и говорить, — задиристо обратился он к Дэвису. — Ну, ничего, скоро вы получите по заслугам.

— Отвяжитесь от меня, или я вас так отделаю, что вы своих не узнаете!

— рявкнул Дэвис, размахивая короткой железной палкой, которую он держал в руках. — Впрочем, можно и повременить, я еще успею расправиться с вами. Но прежде всего я отделаю этого пса. Ступайте за мной, тогда сами увидите! Ну мог ли я думать, что он устроит такую штуку? Он у меня выступал первый раз, а на репетициях вел себя тихо. Откуда я мог знать, что он завоет, когда вы работали на авансцене?

— Черт знает что вы тут учинили, — вместо приветствия крикнул Дэвису директор театра, когда тот в сопровождении Дика Белла двинулся на Майкла, ощетинившегося, но по-прежнему стоявшего между колен служителя.

— Сейчас я еще и не то учиню, — проговорил Дэвис, занося руку с крепко зажатой в ней железной палкой. — Я его убью. Запорю до смерти. Можете полюбоваться.

Майкл зарычал, поняв угрозу, и, не спуская глаз с железной палки, изготовился к прыжку.

— Ничего подобного вы не сделаете, — заверил Дэвиса служитель.

— Он моя собственность, — гордо и с убеждением возразил Дэвис.

— Ну, это уж вы сущую чепуху несете, — отвечал ему заступник Майкла.

— Попробуйте только его стукнуть — и увидите, что из этого получится. Собака — это собака, человек — человек, а вот что вы такое — я, черт вас возьми, даже сказать затрудняюсь. Вы не смеете бить этого пса. Он первый раз в жизни очутился на сцене, да еще после того как ему

двое суток ни есть, ни пить не давали. О, я это отлично знаю, господин директор.

— Если вы убьете собаку, вам придется заплатить доллар мусорщику за уборку трупа, — напомнил директор.

— Заплачу с удовольствием, — отвечал Дэвис, снова поднимая палку. — А свое все-таки с него возьму.

— От этих дрессировщиков меня уже с души воротит! — воскликнул служитель. — Лучше не выводите меня из терпения и зарубите себе на носу: если вы дотронетесь до него этой железной штукой, я так вас отделаю, что придется вызывать скорую помощь. Даже если меня за это с места сгонят!

— Потише, потише, Джексон, — с угрозой в голосе начал директор.

— Вы меня не запугаете, — отвечал тот. — Я твердо решил: если этот мерзавец хоть пальцем тронет собаку, можете отказать мне от места. Сил моих больше нет смотреть, как эти подлецы издеваются над животными. Хватит, я сыт по горло.

Директор посмотрел на Дэвиса и недоуменно пожал плечами.

— По-моему, не стоит затевать скандала, — посоветовал он. — Мне не хочется расставаться с Джексоном, а он обязательно изувечит вас, если вы будете упорствовать. Отошлите собаку туда, откуда вы ее взяли. Ваша жена рассказала мне ее историю. Посадите этого пса в клетку и отправьте наложенным платежом, Коллинз не будет на вас в претензии. Он отучит его петь и приспособит к чему-нибудь дельному.

Дэвис, покосившись на свирепого Джексона, заколебался.

— И знаете что, — предложил директор, — пусть Джексон возьмет на себя его отправку. Он посадит его в клетку, погрузит и все прочее. Идет, Джексон?

Служитель угрюмо кивнул, наклонился и ласково погладил окровавленную голову Майкла.

— Я не возражаю, — бросил Дэвис, направляясь к двери. — Пусть строит из себя дурака и носится с собакой, если ему так хочется. Повозился бы он с этими тварями столько лет, сколько я…

Глава тридцать первая

В открытке, посланной Коллинзу, Дэвис объяснил причину отправки Майкла: «Мне такая „певчая“ собака ни к чему», — и тем самым бессознательно дал Коллинзу в руки искомый ключ, который тот так же бессознательно упустил.

— Запоешь от таких побоев, — обратился он к Джонни. — Беда наших дрессировщиков в том, что они не умеют беречь свое добро. Смотри, чуть не размозжил ему голову, и еще удивляется, что собака не ведет себя кротко, как ангел. Возьми его, Джонни, вымой и как следует перевяжи ему раны. Мне он тоже ни к чему, но я его пристрою со временем в какую-нибудь собачью труппу.

Через две недели Коллинз совершенно случайно открыл наконец талант Майкла. В перерыве между занятиями на арене он велел привести его, чтобы показать дрессировщику, подыскивавшему себе собак-статистов. Майкл по команде вставал, ложился, подходил, уходил,

но это и все. Он отказывался усвоить даже самые элементарные трюки, известные любой дрессированной собаке, и Коллинз, оставив его в покое, отошел на другую сторону арены, где сейчас должна была начаться репетиция с обезьяньим оркестром.

Для того чтобы заставить испуганных и отчаянно сопротивляющихся обезьян изображать оркестр, их привязывали не только к стульям, но и к инструментам, на которых им надлежало играть; кроме того, тонкие проволочки, прикрепленные к конечностям обезьян, тянулись за кулисы. Дирижер оркестра, старый сердитый самец, был накрепко привязан к вращающейся табуретке. Из-за кулис его то и дело тыкали длинными шестами, и он с ума сходил от ярости. В это время табуретка под ним начинала вращаться в бешеном темпе благодаря протянутому за кулисы шнуру. Публике же должно было казаться, что дирижер злится на фальшивую игру оркестрантов; а от столь нелепого зрелища она, конечно, покатывалась со смеху.

— Обезьяний оркестр — это номер беспроигрышный, — говорил Коллинз. — Публика смеется, а за смех все охотно платят деньги. Мы смеемся над обезьянами, потому что они так похожи на нас, и в то же время чувствуем свое бесконечное превосходство над ними. Представьте себе, что мы с вами идем по улице; вы поскользнулись и упали. Я, конечно, смеюсь. И смеюсь потому, что чувствую свое превосходство. Ведь я-то не растянулся на тротуаре. Или, допустим, ветер унес вашу шляпу. Я хохочу, покуда вы гоняетесь за ней, ибо чувствую свое превосходство: моя-то крепко сидит на голове. То же самое и с обезьяньим оркестром. Глупейший его вид позволяет нам чувствовать свое превосходство. Мы себя глупыми не считаем и охотно платим деньги, чтобы полюбоваться дурацким поведением обезьян.

Репетиции устраивались не столько для тренировки обезьян, сколько людей, управляющих ими из-за кулис. Людьми главным образом и занимался Коллинз.

— Почему бы вам, друзья мои, не заставить обезьян играть по-настоящему? Ничего невозможного в этом нет. Все зависит от того, как вы будете управлять проволочками. Давайте попробуем. Тут стоит потрудиться. Начните с какой-нибудь всем вам знакомой мелодии. Помните, что настоящий оркестр в любую минуту выручит вас. Чтобы нам такое выбрать легкое и знакомое публике?

Коллинз очень увлекся разработкой своей идеи и даже призвал на помощь циркового наездника, который играл на скрипке, стоя на крупе галопирующей лошади; не переставая играть, он делал сальто-мортале в воздухе и снова возвращался на свою подвижную площадку. Коллинз попросил этого человека медленно сыграть какую-нибудь простенькую мелодию, так, чтобы люди, держащие проволочки, могли дергать их в такт аккомпанементу.

— Если вы уж очень грубо наврете, — внушал им Коллинз, — тогда дергайте за проволочки все разом, тыкайте палками дирижера и изо всех сил вертите его табуретку. Публика будет умирать со смеху: она решит, что у обезьяны прекрасный слух и она беснуется оттого, что оркестранты сфальшивили.

В самом разгаре репетиции к Коллинзу подошел Джонни с Майклом.

— Этот тип говорит, что он его и даром не возьмет, — доложил Джонни своему патрону.

— Ладно, ладно, отведи его обратно, — торопливо распорядился Коллинз.

— Ну, ребята, давайте: «Родина любимая моя»! Начинайте, Фишер! А вы следите за ритмом. Так, хорошо!.. Когда будет настоящий оркестр, вам останется только повторять движения музыкантов. Симонс, побыстрее! Вы все время отстаете.

Вот тут-то и открылся талант Майкла. Вместо того чтобы немедленно исполнить приказание Коллинза и отвести Майкла на место, Джонни замешкался, рассчитывая полюбоваться тем, как дирижера будут изо всех сил вертеть на табуретке. Скрипач, в двух шагах от Майкла, присевшего у ног Джонни, громко и отчетливо заиграл: «Родина любимая моя».

И Майкл опять не справился с собой. Он не мог не петь, так же как не мог не рычать, когда на него замахивались палкой, он не справился с собой точно так же, как в тот день, когда, потрясенный звуками «Свези меня в Рио», сорвал выступление четы Белл, и как не справлялся с собой Джерри, когда Вилла Кеннан на палубе «Ариеля», окутав его волнами своих волос, пением воскрешала для него первобытную стаю. Майкл воспринимал музыку так же, как Джерри. Для них обоих она была наркотическим средством, вызывавшим блаженные сновидения. Майклу тоже вспоминалась утраченная стая, и он искал ее, искал заснеженные холмы под сверкающими звездами морозной ночи, прислушиваясь к вою других собак, доносившемуся с других холмов, где они собирались в стаю. Стаи не существовало уже давно, очень давно, предки Майкла тысячелетиями грелись у огня, разведенного человеком, — и тем не менее магия звуков, насквозь пронизывая Майкла, всякий раз заставляла его вспоминать утраченную стаю, воскрешала в его подсознании видения иного мира, мира, которого в жизни он не знал.

С этими грезами об ином мире для Майкла связывалось и воспоминание о стюарде, о его великой любви к тому, с кем он разучил песни, лившиеся сейчас из-под смычка циркового наездника. И челюсти Майкла разжались, в горле что-то затрепетало, он стал часто-часто перебирать передними лапами, словно бежал куда-то вдаль, — и правда, где-то в глубине своего существа он стремился к стюарду, через тысячелетия порывался обратно к стае и с этой призрачной стаей носился по снежным пустыням и лесным тропам в погоне за добычей, за пищей.

Призрачная стая окружала его, когда он пел и, грезя наяву, перебирал лапами. Пораженный скрипач перестал играть, люди из-за кулис тыкали палками дирижера обезьяньего оркестра и в бешеном темпе крутили табурет, на котором он сидел, а Джонни покатывался со смеху. Но Коллинз насторожился. Он явственно расслышал, что Майкл ведет мелодию. Более того, он расслышал, что Майкл не воет, а поет.

Наступила тишина. Обезьяна-дирижер перестала крутиться и кричать. Люди, тыкавшие ее палками, опустили свои орудия. Остальные обезьяны дрожали, как в лихорадке, не зная, какие еще издевательства ожидают их. Скрипач застыл в изумлении. Джонни все еще трясся от смеха. Только Коллинз, видимо, что-то обдумывал, почесывал затылок.

— По-моему… — нерешительно начал он. — Да что там, я же слышал собственными ушами: собака воспроизводит мелодию. Правда? Я обращаюсь ко всем вам. Разве не так? Проклятый пес поет. Я готов голову прозакладывать. Погодите, ребята, дайте передохнуть обезьянам. Это дело поинтереснее. Попрошу вас, сыграйте еще разок «Родина любимая моя», играйте медленно, громко и отчетливо. Теперь слушайте все… Ну, разве он не поет? Или, может быть, я рехнулся? Вот, вот, слышите? Что вы на это скажете? Ведь это факт!

Сомнений быть не могло. После нескольких тактов челюсти Майкла разжались, передние лапы начали свой безостановочный бег на месте. Коллинз подошел к нему поближе и стал подпевать в унисон.

— Гарри Дель Мар был прав, утверждая, что эта собака — чудо. Не зря он распродал остальных своих собак. Он-то знал, в чем тут дело. Этот пес — собачий Карузо. Настоящий певец-солист. Это уж вам не свора воющих дворняжек, вроде той, что Кингмен возил по циркам! Не

удивительно, что он не поддавался дрессировке. У него свое амплуа. Подумать только! Я ведь уж совсем было отдал его этому живодеру Дэвису. Слава богу, что он отослал его обратно! Смотри за ним хорошенько, Джонни, а вечерком приведи его ко мне. Мы устроим ему настоящий экзамен. Моя дочь играет на скрипке. Она подберет для него какие-нибудь подходящие мотивы. Это золотое дно, а не собака, помяните мое слово.

Так открылся талант Майкла. Испытание сошло довольно удачно. После того как ему проиграли множество различных песен, Коллинз выяснил, что Майкл может петь «Боже, храни короля» и «Спи, малютка, спи». Он провозился с ним немало дней, тщетно стараясь обучить его новым песням. Майкл не выказывал к этому занятию ни малейшего интереса и угрюмо отказывался петь. Но, заслышав мелодию, разученную им со стюардом, вступал немедленно. Это было сильнее его, и он ничего с собой не мог поделать. В конце концов Коллинз открыл пять из шести исполняемых Майклом песен: «Боже, храни короля», «Спи, малютка, спи», «Веди нас, свет благой», «Родина любимая моя» и «Свези меня в Рио». «Шенандоа» Майклу петь больше не довелось, так как ни Коллинз, ни его дочь не знали этой старинной матросской песенки, а следовательно, не могли и сыграть ее для Майкла.

— Пяти песен вполне достаточно, даже если он никогда больше не выучит ни одного нового такта, — решил Коллинз. — Он и без того — гвоздь программы. Золотое дно, а не собака. Клянусь честью, будь я помоложе и посвободнее, я ни за что не выпустил бы его из рук!

Глава тридцать вторая

В конце концов Майкл был продан за две тысячи долларов некоему Джекобу Гендерсону.

— Я вам его, можно сказать, задаром отдаю, — сказал Коллинз. — Через полгода вы не согласитесь продать его и за пять тысяч, или я ничего не смыслю в цирковом деле. Он живо уложит на обе лопатки вашу знаменитую собаку-математика, а кроме того, учтите, что с ним вам нет надобности работать не покладая рук. И вы будете дурак, если не застрахуете его на пятьдесят тысяч долларов, как только он прославится. Будь я помоложе и посвободнее, я бы почел за счастье отправиться с ним в турне.

Гендерсон коренным образом отличался от всех прежних хозяев Майкла. На редкость бледная личность, он не был ни зол, ни добр. Он не пил, не курил и не ругался; никогда не ходил в церковь и не принадлежал к Христианской ассоциации молодежи; будучи вегетарианцем, не доводил свое вегетарианство до фанатизма; любил кино, в особенности фильмы о путешествиях, и большую часть своего досуга посвящал чтению Сведенборга[14]. Характер его никак и ни в чем не проявлялся. Никто никогда не видел его в гневе, и знакомые уверяли, что он обладает долготерпением Иова. Он робел перед полисменами, железнодорожными агентами и кондукторами, хотя и не боялся их. Впрочем, он ничего на свете не боялся, а любил одного только Сведенборга. Натура у него была такая же бесцветная, как костюмы, которые он носил, как его волосы, свисавшие на лоб, и глаза, которыми он глядел на мир. Он не был ни глупцом, ни умным человеком. Но не был и педантом. Он мало давал людям, но мало и спрашивал с них и среди цирковой сутолоки вел жизнь отшельника.

Майкл не чувствовал к нему ни любви, ни отвращения, он просто терпел его. Они вдвоем изъездили все Соединенные Штаты и ни разу не повздорили. Гендерсон ни разу не прикрикнул на Майкла, тот ни разу не зарычал на него. Они сжились друг с другом, потому что обстоятельства свели их вместе. Конечно, сердечных уз между ними не существовало. Гендерсон был господином, Майкл — его движимым имуществом. Может быть, он воспринимал Майкла как неодушевленное существо, потому что и сам ничем не умел одушевиться.

При всем том Джекоб Гендерсон был честен, деловит и методичен. Каждый день, если только они не были в пути, он купал и потом тщательно вытирал Майкла. Проделывал он это спокойно и неторопливо. Майкл теперь и сам не знал, приятно ему купание или неприятно. Оно стало неотъемлемой частью его жизненного уклада, так же как частью жизненного уклада Гендерсона стало обязательное купание Майкла.

Обязанности Майкла были не обременительны, но однообразны. Не считая постоянных странствий, нескончаемых переездов из города в город, ему приходилось ежевечерне выступать на сцене, а дважды в неделю еще и на утренних представлениях. Когда занавес подымали, Майкл находился на сцене в полном одиночестве, как то и подобало прославленному солисту. Гендерсон, скрытый кулисами от глаз публики, внимательно следил за ним. Оркестр исполнял четыре песни из тех, которым его когда-то обучил стюард, и Майкл пел их, — да и, правда, звуки, им издаваемые, куда больше походили на пение, чем на вой. На «бис» он всегда исполнял только одну песню: «Родина любимая моя». Публика устраивала овацию собаке-Карузо, и тут из-за кулис выходил Джекоб Гендерсон, чтобы поклонами и стереотипно радостной улыбкой выразить свою благодарность публике; затем он с наигранным дружелюбием клал руку на голову Майкла, они вместе кланялись еще раз, и занавес наконец опускался.

И все-таки Майкл был узником, приговоренным к пожизненному заключению. Его хорошо кормили, заботливо купали, водили на прогулки, но он ни на минуту не чувствовал себя свободным. Во время переездов он дни и ночи проводил в клетке, хотя и достаточно просторной, чтобы стоять в ней во весь рост или лежать, не скорчившись в три погибели. В гостиницах небольших провинциальных городов ему случалось спать вне клетки, в одной комнате с Гендерсоном. Случалось ему, если в программе не было других дрессировщиков, и в полном одиночестве находиться в специальном помещении для зверей при театре и в течение трех дней, самое большее — недели, наслаждаться там относительной свободой.

Но ни разу, ни на одно мгновение не случилось ему побегать на воле, забыв о клетке, о четырех стенах комнаты, о цепочке и ошейнике. Днем, в хорошую погоду, Гендерсон часто водил его гулять, но всегда на сворке. Обычно они отправлялись в какой-нибудь парк, где Гендерсон усаживался на скамью, привязывал к ней Майкла и немедленно углублялся в Сведенборга. Майкл шагу не мог сделать свободно. Другие собаки бегали, играли друг с другом или затевали драку. Но стоило им приблизиться к Майклу на предмет более близкого знакомства, как Гендерсон отрывался от книги, — ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы их отогнать.

Узник, приговоренный к пожизненному заключению и охраняемый бездушным тюремщиком, Майкл утратил всякий вкус к жизни. Мрачность его сменилась полнейшей апатией. Жизнь и воля перестали интересовать его. И не то, чтобы он с завистью смотрел на пеструю сутолоку жизни, — нет, просто его глаза перестали ее видеть. Отрешенный от жизни, он к ней и не рвался. Он сам превратил себя в покорную марионетку — ел, позволял себя купать, переезжал с места на место в своей клетке, пел на эстраде и очень много спал.

Но гордость у него все же осталась — гордость породистого существа, гордость североамериканских индейцев, порабощенных, но не сломленных и безропотно умирающих на плантациях Вест-Индии. Так вот и Майкл смирился перед клеткой и цепью, потому что его мускулы и клыки все равно не могли справиться с железом. Он выполнял свой рабский труд на сцене и повиновался Джекобу Гендерсону, но он не любил своего хозяина, хотя не боялся его, и потому всецело ушел в себя. Он много спал, был мрачен и безропотно сносил свое страшное одиночество. Попытайся Гендерсон завладеть его сердцем, Майкл, безусловно, откликнулся бы на эту попытку; но Гендерсон любил лишь фантастические бредни Сведенборга, а Майкл был

для него только источником существования.

Временами Майклу приходилось переносить немалые тяготы, но он и с ними мирился. Особенно тяжки были железнодорожные переезды зимой, когда его прямо из театра привозили на вокзал и он на платформе часами дожидался поезда, который должен был увезти его в другой город, в другой театр. Однажды ночью в Миннесоте две собаки на соседней тележке замерзли насмерть. Майкл тогда тоже продрог до костей, и у него мучительно ныло плечо, некогда изорванное леопардом, но он выжил благодаря более крепкому организму и хорошему уходу, которым пользовался все последнее время.

По сравнению с другими дрессированными животными Майклу жилось хорошо. Он даже не подозревал и не догадывался, каково приходилось многим его собратьям. Так, например, один номер, стоявший в той же программе, что и номер Майкла, вызывал бурное возмущение даже в среде цирковых артистов. Самые бывалые из них всем сердцем ненавидели некоего Дэкворта, хотя у публики номер «Дрессированные кошки и крысы Дэкворта» пользовался неизменным успехом.

— Дрессированные кошки, — фыркала хорошенькая велосипедистка Перл Ла Перл. — Дохлые кошки, а не дрессированные, их доколотили до того, что они сами превратились в крыс. Это же ясно как день!

— Дрессированные крысы! — вспылил Мануэль Фонсека, «человек-змея», отказываясь распить с Дэквортом бутылку вина в баре гостиницы «Аннандэйл».

— Опоенные крысы! Так будет вернее! Почему они не спрыгивают с каната, а ползут по нему, да еще между двумя кошками? Потому что у них нет сил спрыгнуть. Он их ловит, поит каким-то зельем, а потом морит голодом, чтобы сэкономить деньги на покупку этого зелья. Дэкворт никогда их не кормит. Уж я-то знаю! Иначе куда он девает от сорока до пятидесяти крыс в неделю? Когда ему в городе крыс уже не добыть, ему их присылают откуда-нибудь еще целыми партиями, это факт.

— Ей-богу, не понимаю, — говорила мисс Мерль Мерриуэзер, аккордеонистка, та самая, которой на сцене можно было дать лет шестнадцать, но которая в жизни любила хвалиться своими внуками и не скрывала, что ей уже сорок восемь. — Просто злость берет, как это публика ловится на такую удочку. Вчера утром я своими глазами видела: семь крыс из тридцати околели, околели с голоду. Он никогда их не кормит. Они ползут по канату уже полудохлые. Потому и ползут. Если б к ним в желудок попал хоть кусочек хлеба с сыром, они мигом бы удрали от кошек. Они подыхают голодной смертью на глазах у публики, а ползут по канату, потому что и умирающий человек пытался бы уползти от тигра, который вот-вот растерзает его. Бог ты мой! А тупоголовые зрители еще аплодируют этому поучительному зрелищу!

Но что знает публика?!

— Чего-чего только не сделаешь с животными добротой, — говорил один из зрителей, банкир и церковный староста. — Доброта способна и животным внушить человеческие чувства. Крыса и кошка враждовали с сотворения мира. А нынче вечером мы стали свидетелями их общего участия в сложной игре, и, подумать только, кошки не выказывали ни малейшей враждебности к крысам, а крысы нисколько не боялись кошек. Вот что значит человеческая доброта и какова ее сила!

— Лев и ягненок! — восклицал другой. — Говорят, что в золотом веке лев и ягненок будут

мирно лежать бок о бок. Ты только представь себе, милочка: бок о бок! А этот Дэкворт умудрился предвосхитить золотой век! Кошки и крысы! Вдумайтесь хорошенько, что это значит. Какое бесспорное доказательство всемогущества доброты! Я сейчас же приобрету разных зверюшек для наших малышей. Надо, чтобы они с детства приучались быть добрыми с собаками, кошками, даже с крысами, а уж с милыми птичками в клетках и подавно.

— Так-то оно так, — заметила его благоверная, — но ведь говорит же Блэйк[15], что даже «Птичку в клетку заточить, значит бога прогневить».

— Нет, милочка, это не так, если по-хорошему обходиться с ней. Я немедленно приобрету парочку-другую кроликов и кенаря с канарейкой. А ты обдумай, какую собачку нам лучше подарить детишкам.

«Милочка» взглянула на своего супруга, до мозга костей проникнутого величественным сознанием собственной доброты, и увидела себя самое молоденькой сельской учительницей, приехавшей в Топика-Таун с заветными томиками Эллы Уилер Уилкокс[16] и лорда Байрона[17] — ее кумиров, с мечтою тоже написать «Поэмы страсти». Там-то она и вышла замуж за этого солидного, положительного дельца, что сидел теперь рядом с ней, восторгаясь мирным единением ползущих по канату кошек и крыс, и ни на мгновение не подозревая о том, что это про него и его жену сказано: «Птичку в клетку заточить значит бога прогневить».

— Ну, крысы хоть противные животные, — продолжала мисс Мерль Мерриуэзер, — но как он обращается с кошками! Я наверняка знаю, что за последние две недели он уморил уже трех. Пускай это уличные кошки, но ведь они все равно живые существа. Он их со свету сживает этим своим «боксом».

Кошачьим боксом, имевшим большой успех у публики, неизменно заканчивался номер Дэкворта. Двух кошек в маленьких боксерских перчатках на лапках ставили на стол. Само собой разумеется, что для такого «дружеского матча» кошки, работавшие с крысами, были непригодны. В этой сценке дрессировщик выпускал новых кошек, еще не окончательно утративших пылкость и энергию. Они работали на Дэкворта, покуда пылкость и энергия в них не иссякали или же покуда они не подыхали от болезней и истощения. Для публики это был забавный спектакль, комическая борьба четвероногих существ, сделанных до смешного похожими на верховное двуногое существо — человека. Но для кошек ничего комического в этой борьбе не было. Их злили и натравливали друг на друга за кулисами и уже в разъяренном состоянии выпускали на сцену. В ударах, которые они наносили друг другу, чувствовались злоба и боль, ярость и страх. Перчатки быстро соскакивали с их лапок, они, точно фурии, налетали друг на друга, царапались, кусались, так что к моменту закрытия занавеса шерсть клочьями летала по сцене. Публика умирала со смеху, глядя на «неожиданный» финал этой схватки; под громкие аплодисменты занавес снова поднимался, открывая Дэкворта и одного из служителей, обмахивавших кошек полотенцами, точно заправских боксеров.

Поскольку номер этот исполнялся ежедневно, раны и царапины у кошек не успевали подживать, загрязнялись, и тела их почти сплошь покрывались болячками. Многие кошки подыхали, другие, обессилев до того, что не могли напасть даже на крысу, уже не боксировали, но работали на канате вместе с одурманенными, изголодавшимися крысами, в свою очередь, не имевшими сил удрать от них. А тупоголовая публика, по справедливому замечанию мисс Мерль Мерриуэзер, аплодировала дрессированным кошкам и крысам как поучительному зрелищу.

Большой шимпанзе, выступавший как-то в одном цирке с Майклом, ненавидел одеваться. Как лошадь, не дающая надеть на себя узду, а потом, когда узда уже надета, начисто забывающая о

ней, шимпанзе оказывал яростное сопротивление людям, надевавшим на него костюм. Но уже одетый, он спокойно выходил на арену и исполнял свой номер. Вся загвоздка была в том, чтобы его одеть. Проделывали это хозяин и двое служителей, предварительно привязав его к кольцу, вбитому в стену, да еще держа за горло, — и все это несмотря на то, что хозяин давно уже вышиб ему передние зубы.

Не испытывая на себе жестокости, Майкл чуял ее и принимал, считая, что таков порядок вещей, — так же как дневной свет и ночной мрак, как колючий мороз на не защищенных от ветра вокзальных платформах, как таинственное царство «иного», открывавшееся ему в сновидениях и песнях, и не менее таинственное небытие, поглотившее плантацию Мериндж, корабли, моря, знакомых ему людей и стюарда.

Глава тридцать третья

Два года пел Майкл свои песни по городам Соединенных Штатов, зарабатывая себе славу, а Джекобу Гендерсону богатство. Без ангажемента они никогда не оставались. Успех Майкла был настолько велик, что Гендерсон даже отклонил ряд лестных предложений выступить за океаном, в Европе. Передышка для Майкла наступила, только когда Гендерсон заболел брюшным тифом в Чикаго.

Эти трехмесячные каникулы Майкл, заботливо опекаемый, но все же не покидавший своей клетки, провел в дрессировочном заведении некоего Мулькачи. Мулькачи, один из наиболее преуспевших учеников Коллинза, по примеру своего учителя открыл в Чикаго школу дрессировки, в основу которой были положены те же принципы идеальной чистоты, неукоснительного соблюдения всех санитарно-гигиенических правил и научно обоснованной жестокости. Майкл получал превосходную пищу и содержался в безупречной чистоте; но, сидя в своей клетке, одинокий и тоскующий, он чуял вокруг себя атмосферу страданий и страха, в которой жили животные, терзаемые на потеху человека.

Мулькачи любил повторять афоризмы собственного сочинения, среди которых были и такие: «Если животное не сломишь болью, его вообще не сломишь. Боль — единственный учитель»; «Отучаем же мы лошадь бить задом, значит, и льва можно отучить кусаться»; «Метелочкой из перьев вы себе зверя не подчините»; «Чем толще череп, тем толще палка»; «Звери — мастера разрушать все ваши планы, поэтому первым делом выбейте из них дух противоречия»; «Сердечные узы между дрессировщиками и животными? Это, голубчик мой, чушь, пригодная разве что для газетных репортеров. Из всех сердечных уз я признаю только палку, да еще с железным наконечником»; «Конечно, вы можете приучить их есть у вас из рук, но тут надо глядеть в оба, чтобы они заодно не отъели вам пальцев. А для этого самое лучшее средство — холостой заряд в нос во время кормежки».

В заведении Мулькачи бывали дни, когда, казалось, даже воздух содрогался от злобного рычания и страдальческого визга зверей на арене, так что в клетках начиналось неистовое волнение. Мулькачи вечно похвалялся, что может укротить самого неукротимого зверя, поэтому к нему то и дело доставляли наиболее «трудных» животных. Считалось, что он справится там, где у других дрессировщиков опускались руки. Смелый, бессердечный, хитрый, Мулькачи оправдывал эту репутацию. Он не останавливался ни перед какими мерами и если уж отказывался, значит, дело было безнадежное. Тогда животное было обречено на пожизненное одиночное заключение в клетке, и ему оставалось только до конца своих дней ходить взад и вперед по ее ограниченному пространству да горестно и гневно рычать на устрашение и потеху досужих зрителей.

За те три месяца, что Майкл пробыл у Мулькачи, два случая особенно выделились своей

жестокостью. В часы работы школа и без того оглашалась воем и воплями «благонравных» медведей, львов и тигров, которым преподавали науку подчинения человеку, или слонов, обучаемых с помощью подъемных кранов и уколов копьями играть на барабане и стоять на голове. Но эти два случая даже тут были исключением и повергли в страх и отчаяние остальных животных. Так должен чувствовать себя человек, войдя в преддверие ада и слыша крики своих собратьев, с которых живьем сдирают кожу.

Первый случай произошел с большим бенгальским тигром. Рожденный в джунглях, выросший на свободе, благодаря своей силе и доблести господин над всеми встречавшимися ему живыми существами, в том числе и над другими тиграми, он все же попал в западню; высвобожденный из нее, он в тесной клетке, то на спине слона, то в вагоне железной дороги, то в трюме парохода проехал по морям и континентам и попал в заведение Мулькачи. Покупатели смотрели его, но купить не решались. Однако Мулькачи был непоколебим. Вся его кровь загоралась при одном взгляде на эту величественную полосатую кошку. Присущее ему звериное начало жаждало поединка для утверждения своего превосходства. И вот после двух недель ада для тигра и всех других животных Мулькачи решил, что огромному зверю преподан первый урок.

Бен-Болт, как его нарекли люди, прибыл к Мулькачи озлобленный, неукротимый, но почти парализованный после двухмесячного пребывания в тесной клетке, не позволявшей ему как следует расправить члены. Мулькачи следовало бы немедленно заняться тигром, но он упустил две недели, так как только что женился и наслаждался медовым месяцем. За это время Бен-Болт в просторной железной клетке с цементным полом успел оправиться, мускулы его снова обрели былую силу, а ненависть к двуногим созданиям, таким жалким и тщедушным по сравнению с ним, но тем не менее сумевшим хитростью и коварством заточить его в клетку, еще возросла в его сердце.

В тот роковой день он нетерпеливо ждал встречи с человеком. И люди пришли, вооруженные веревочными арканами и железными вилами, с заранее обдуманным стратегическим планом. Пятеро из них забросили арканы в клетку. Тигр зарычал и ринулся на извивающиеся по полу веревки; не менее десяти минут бушевал и метался по клетке этот злобный величественный зверь, которому, увы, не хватало изворотливости и терпения, отличавших его жалких двуногих врагов. Затем веревки ему наскучили, он оставил их в покое и зарычал на людей, но правая задняя лапа его уже запуталась в петле. В то же мгновение железные вилы, быстро поддев петлю, рванули ее вверх, и веревки впились в тело тигра, мучительно уязвив его гордое сердце. Он рассвирепел, прыгнул, и грозный рык потряс стены. Бен-Болт так метался по клетке, что веревки обдирали ладони державших их людей. Но они упорно вытаскивали петли из клетки и снова забрасывали, покуда — тигр не успел даже опомниться — петля не затянула и его переднюю лапу. Все, что он делал до сих пор, было ничто по сравнению с неистовством, в которое его повергла эта новая беда. Но он был глуп и нетерпелив. Люди же были умны и терпеливы, и мало-помалу им удалось заарканить третью, а потом и четвертую лапу; они стали тянуть за веревки, и вот он оказался постыдно лежащим на боку у решетки, а лапы его — самое грозное оружие тигра после могучих клыков — вытянутыми наружу между прутьев клетки.

А затем тщедушное двуногое создание Мулькачи решительно и нагло вошел в клетку и приблизился к Бен-Болту. Тигр весь напрягся, готовясь прыгнуть на него, но прыгнуть он не мог: его заарканенные лапы торчали из клетки, и никакими силами он не мог втянуть их обратно. А Мулькачи опустился на колени рядом с ним — дерзнул опуститься рядом с ним — и набросил пятую петлю на шею Бен-Болта. И вот голова тигра уже подтянута к прутьям клетки и находится в том же беспомощном положении, что и все четыре лапы. Мулькачи кладет руки ему на голову, треплет его за уши, трогает ему нос — на расстоянии какого-нибудь дюйма от

грозных клыков, — а тигр только рычит, храпит и задыхается от стянувшей ему горло петли.

Весь дрожа не от страха, а от бешеной ярости, Бен-Болт волей-неволей дает надеть себе на шею широкий кожаный ошейник с длинной и толстой веревкой. Когда Мулькачи выходит из клетки, люди искусно сбрасывают петли с его лап и шеи. После всех страшных унижений он опять свободен — в пределах клетки. Бен-Болт взвивается в воздух. Дыхание вернулось к нему, и он оглашает стены неистовым ревом, дубасит лапами волочащуюся за ним веревку, которая его безмерно раздражает, когтями пытается разорвать ошейник, стягивающий ему шею, падает наземь, катается с боку на бок, запутывается еще больше в веревке, тем самым раздражая свои до предела натянутые нервы, и добрых полчаса проводит в изнурительной борьбе с неодушевленным предметом. Так укрощают тигров!

В конце концов, изнемогши от непосильного нервного напряжения и собственной ярости, он ложится посреди клетки и бьет хвостом, глаза его пылают ненавистью, но он уже не пытается сорвать с себя ошейник, на опыте убедившись, что это невозможно.

К величайшему его удивлению — если допустить, что тигр способен удивляться — кто-то открывает заднюю дверцу клетки, и она так и остается открытой. Бен-Болт смотрит на нее со злобной подозрительностью. Но никто оттуда не появляется, никакая опасность, видимо, не угрожает ему с той стороны. Тем не менее подозрительность его возрастает: никогда не знаешь, что сделают эти двуногие существа, чего можно ждать от них. Он предпочел бы остаться на месте, но у решетки раздаются крики, щелканье бичей, а главное — его опять колют железными вилами. Волоча за собой веревку и нисколько не помышляя о бегстве, а только в надежде наконец расправиться со своими мучителями, он выскакивает в коридор, тянущийся позади клетки. В коридоре темно и пусто, только в конце его брезжит свет. Громко рыча, Бен-Болт огромными прыжками мчится по коридору под вой, визг и рев других животных.

Выскочив на свет, он остановился, ослепленный, потом вдруг припал к земле, забил своим длинным хвостом и стал осматриваться. Но оказалось, что он снова в клетке, только не такой тесной, — это была арена, залитая светом и обнесенная решеткой. Арена была пуста, хотя вверху, на блоке, висели семь громоздких железных стульев, мгновенно показавшихся ему подозрительными; он даже зарычал на них.

С полчаса Бен-Болт бродил по арене, — за два с половиной месяца, прошедших со дня его пленения, он впервые передвигался по относительно свободному пространству. Вдруг длинный железный шест с крюком на конце зацепил его за веревку, и какие-то люди, стоявшие по ту сторону прутьев, потянули ее к себе. Десять человек мгновенно ухватились за конец веревки, и Бен-Болт ринулся бы на них, если б в это самое мгновение через заднюю дверцу на арену не вошел Мулькачи. Ничто теперь не разделяло человека и тигра. И Бент-Болт двинулся на Мулькачи, хотя ему все время чудилось что-то неладное: этот тщедушный человек не пятился от него, не пригибался к земле от страха, но спокойно ждал его приближения.

Бен-Болт так и не бросился на Мулькачи. Сначала он из хитрости и осмотрительности помедлил с атакой, — распластавшись и колотя хвостом по песку арены, он изучал человека, который вот-вот станет его добычей. В руках Мулькачи держал хлыст и остро отточенные железные вилы, за поясом у него торчал револьвер, заряженный холостыми патронами.

Еще ниже припав к земле, Бен-Болт медленно подкрадывался к нему, точно кошка к мыши. На расстоянии прыжка от Мулькачи он совсем распластался, изготовился и бросил взгляд на людей, столпившихся позади него, по ту сторону решетки. О веревке, прикрепленной к его ошейнику, конец которой эти люди держали в руках, Бен-Болт позабыл.

— Ну, теперь, старина, придется тебе быть умником, — мягко и даже ласково заговорил с ним Мулькачи, делая шаг вперед и вытягивая руку, держащую вилы.

Этот жест разъярил гигантского величественного зверя. Он зарычал громко и страшно, прижал уши и прыгнул, напружинив лапы с грозно выпущенными когтями; хвост его, прямой, как прут, вытянулся в воздухе вровень со спиной. Человек не пригнулся, не обратился в бегство, но и зверь не тронул его: когда тигр взвился в воздух, веревка на его шее натянулась, он перекувырнулся в воздухе и рухнул на бок.

Прежде чем он успел снова вскочить, Мулькачи очутился подле него, крича своим помощникам и служителям: «Я выколочу из него дух противоречия!» И он стал колотить его по носу рукояткой бича и колоть вилами под ребра. Ураган ударов и уколов обрушился на самые чувствительные места зверя. Любая его попытка рассчитаться со своим мучителем мгновенно пресекалась десятью людьми, натягивавшими веревку, и всякий раз, когда Бен-Болт валился на бок, Мулькачи беспощадно колол его вилами и хлестал по носу. Боль он испытывал нестерпимую, особенно от ударов по чувствительному носу. А существо, причинявшее эту боль, не уступало ему, Бен-Болту, в неудержимой свирепости, более того, превосходило его в силу своего разума. Через несколько минут, ошеломленный болью, смертельно испуганный своей беспомощностью, Бен-Болт пал духом. Он униженно отступил перед мелким двуногим созданием, оказавшимся свирепее его — огромного бенгальского тигра. Он подпрыгнул, в ужасе заметался из стороны в сторону, низко пригибая голову, чтобы защитить ее от градом сыпавшихся ударов. Он бросился на решетки, окружавшее арену, и подскакивал, тщетно пытаясь вскарабкаться вверх по скользким отвесным прутьям.

Мулькачи, точно ангел мщения, повсюду настигал его, бил, колол вилами и шипел сквозь зубы:

— Будешь артачиться, будешь? Я тебе покажу, как сопротивляться! На, получай! Получай! Мало? Вот тебе еще!

— Ну, теперь я запугал его, остальное уже будет легче, — тяжело дыша, объявил Мулькачи, в то время как огромный тигр, съежившись и дрожа всем телом, отползал к решетке. — Давайте, ребята, передохнем минут пять, чтобы собраться с силами.

Спустив на арену один из висевших на блоке железных стульев, Мулькачи стал готовиться к первому сеансу дрессировки. Бен-Болт, тигр, рожденный и выросший в джунглях, теперь должен был сидеть в кресле: трагическая и нелепая карикатура на человека. Но Мулькачи считал, что сначала надо повторить урок страха, еще глубже внедрить это чувство в сердце животного.

Подойдя к Бен-Болту на расстояние, большее, чем его возможный прыжок, он полоснул тигра хлыстом по носу, полоснул еще раз, и еще, и еще — несметное множество раз. Бен-Болт отворачивал голову то в одну, то в другую сторону, но бич всякий раз хлестал его по израненному, окровавленному носу; Мулькачи владел бичом не хуже циркового наездника и без промаха стегал Бен-Болта, сколько бы тот ни вертел головой.

Обезумев от нестерпимой боли, тигр взвился в воздух, но тут же был брошен наземь десятью сильными мужчинами, державшими конец веревки. Ярость, жажда крови и разрушения были выбиты из его воспаленного мозга, — отныне он знал только страх, бесконечный унизительный страх, страх перед этим маленьким существом, так жестоко его истязавшим.

Затем начался первый сеанс дрессировки. Чтобы привлечь внимание зверя к железному стулу, Мулькачи стукнул по нему рукояткой бича и тотчас же хлестнул этим бичом по носу Бен-

Болта. В то же самое мгновение один из служителей ткнул его под ребра железными вилами, заставляя отойти от решетки и приблизиться к стулу. Тигр пополз было по направлению к Мулькачи, но тотчас же отпрянул. Мулькачи опять ударил по стулу, бич свистнул в воздухе, опускаясь на морду Бен-Болта, вилы снова вонзились ему под ребра — и боль заставила его приблизиться к середине арены. И так беспрерывно — четверть часа, полчаса, час; человек обладал терпением бога, а Бен-Болт был только бессловесной тварью. Так была сломлена — сломлена в точном смысле этого слова — природа тигра. Ибо дрессированное животное — это навеки сломленное существо, беспрекословно выделывающее всевозможные штуки на потеху публике, оплачивающей из своего кошелька это жалкое зрелище.

Мулькачи приказал одному из служителей выйти на арену. Если нельзя просто заставить тигра усесться на стул, значит, надо прибегнуть к особым мерам. Веревку, прикрепленную к ошейнику Бен-Болта, подтянули кверху сквозь решетчатую крышу клетки и пропустили через блок. По знаку Мулькачи все десять человек разом натянули ее. Храпя, давясь, отбиваясь, обезумев от страха перед этим новым видом насилия, Бен-Болт, подтягиваемый за шею, стал медленно отрываться от земли и повис в воздухе. Он извивался, корчился, задыхался, как человек на виселице и, наконец, захрипел. Огромное тело тигра изгибалось в воздухе, скручивалось в клубок, чуть ли не завязывалось узлом — так гибки были его великолепные мускулы. Служители ухватили Бен-Болта за хвост и при помощи блока, передвигавшегося на роликах по верхней решетке, подтащили к тому месту, где стоял железный стул.

Тут они сразу ослабили веревку, и Бен-Болт, у которого уже все плыло перед глазами — Мулькачи успел за это время несколько раз пырнуть его вилами, — оказался сидящим в кресле. Правда, он в то же мгновение соскочил, но тут же получил удар рукояткой по носу и холостой заряд прямо в ноздри. Ужас и боль повергли его в настоящее бешенство. Он прыгнул, надеясь спастись бегством, но Мулькачи крикнул: «Поднять его!» И тигр, хрипя и задыхаясь, вновь стал медленно отрываться от земли.

И опять его потащили за хвост, опять ткнули вилами в грудь и спустили вниз так внезапно, что он, рванувшись, угодил брюхом прямо на железный стул. Полузадушенный веревкой, на которой его поднимали в воздух, после этого падения он лежал, казалось, вовсе бездыханный, его потускневшие глаза приняли бессмысленное выражение, голова болталась из стороны в сторону, из пасти стекала пена, кровь ручьем лилась по разбитому носу.

— Поднимай! — заорал Мулькачи.

И Бен-Болта, опять начавшего бешено отбиваться от душившего его ошейника, стали медленно подтягивать кверху на блоке. Он противился своим мучителям так яростно, что, как только его задние лапы оторвались от пола, стал раскачиваться, точно гигантский маятник. Когда его снова одним броском швырнули на стул, он на мгновение и вправду принял позу сидящего человека; потом вдруг взревел и молниеносно вскочил.

«Взревел», собственно говоря, не то слово. Это не было ревом, так же как не было рыком или ворчанием, — это был страшный вопль потерявшего себя живого существа. Зверь бросился на Мулькачи, но тот уклонился и выстрелил холостым зарядом ему в другую ноздрю.

На этот раз, когда его опустили, он повалился на стул, как неполный мешок с мукой, и тотчас же стал медленно сползать с него весь обмякший, поникнув огромной рыжей готовой, покуда не очутился на полу без памяти; черный распухший язык вывалился из его пасти. Когда Бен-Болта стали отливать водой, он испустил тяжелый вздох и застонал. На этом кончился первый урок.

— Все в порядке, — говорил Мулькачи после ежедневных занятий с Бен-Болтом. — Терпение и труд все перетрут! Я поработил его, он меня боится. Мне нужно только время, а время, затраченное на такого зверя, неизбежно повышает его ценность.

Но ни в первый, ни во второй, ни в третий день Бен-Болт еще не был достаточно укрощен. Лишь через две недели настал день, когда Мулькачи ударил по стулу рукояткой бича, служитель ткнул Бен-Болта вилами под ребра, и тигр, давно утративший всю свою царственность, пресмыкаясь, точно побитая кошка, и всем телом трепеща от страха, влез на стул и, как человек, уселся на нем. Теперь это был в полном смысле слова «благовоспитанный» тигр. И подумать только, что тигр, сидящий на стуле, эта жалкая, трагическая пародия на человека, многими воспринимается как весьма «поучительное» зрелище!

Второй случай, с Сент-Элиасом, оказался еще более тяжким, но главное

— в этом случае потерпел поражение обычно непобедимый Мулькачи. Впрочем, все вокруг утверждали, что иначе и быть не могло. Сент-Элиас, огромный аляскинский медведь, был существом скорее добродушным и даже веселым — конечно, на свой медвежий лад, — но при этом он отличался своеволием и упорством, пропорциональными его гигантским размерам. Его можно было уговорить выполнить тот или иной урок, но не заставить. А в цирковом мире, где программа слаженна, как часовой механизм, на уговоры не остается времени. Дрессированное животное должно исполнять свой номер и исполнять проворно. Публика не станет дожидаться, покуда дрессировщик уговорит сердитого или проказливого зверя выполнить то, что ей обязаны показать за ее деньги.

Итак, Сент-Элиасу был насильно преподан первый урок, оказавшийся, впрочем, и последним, — на арене Сент-Элиас так никогда и не появился, ибо этот урок происходил в клетке.

Прежде всего медведю сделали «маникюр». Для этого все четыре его лапы, стянутые веревками, были насильно просунуты сквозь прутья клетки, голова же с накинутой на шею тугой петлей, так называемым «душителем», накрепко прикручена к тем же прутьям. Самый «маникюр» заключался в том, что ему вырезали все когти до самого мяса. Производили эту операцию служители, стоявшие за решеткой. Едва они успели ее окончить, как Мулькачи, находившийся в клетке, проткнул ему в носу отверстие для кольца. Операция тоже отнюдь не из легких. Засунув инструмент в ноздрю медведя, Мулькачи вырезал из нее кружок живого мяса. Он-то знал, как обращаться с медведями: для того чтобы заставить дикого зверя повиноваться, надо причинить ему боль. Самые чувствительные места у него — уши, нос и глаза; глаза трогать, конечно, нельзя, значит, остаются нос и уши.

Проткнув отверстие в носу медведя, Мулькачи немедленно продел в него металлическое кольцо, а к кольцу привязал веревку. Отныне медведь уже не мог своевольничать. Человек, держащий веревку, получал полную власть над ним, и Сент-Элиас до конца дней своих, до самого последнего вздоха, был обречен рабски покорствовать этой веревке.

Петли, опутывавшие его лапы и шею, были сняты; теперь Сент-Элиасу предстояло освоиться с продетым ему в нос кольцом.

Рыча и поднявшись на дыбы, он стал ощупывать кольцо своими могучими передними лапами. Но это было нелегкое дело. Нос пылал огнем, а он рвал, дергал, тер его, как рвал, дергал и тер, когда его жалили пчелы, вылетевшие из развороченной им колоды. В конце концов он вырвал кольцо вместе с клочьями живого мяса, превратив небольшое круглое отверстие в страшную рваную рану.

Мулькачи разразился проклятиями: «С ним сам черт ногу сломит!» Медведя опять заарканили, повалили на бок и подтащили к решеткам, чтобы вторично подвергнуть той же операции. Ему продырявили другую ноздрю. И черт вправду сломил себе ногу. Как только Сент-Элиасу освободили лапы, он опять вырвал кольцо вместе с мясом.

Мулькачи был вне себя.

— Да образумься же ты, дурак! — укоризненно восклицал он.

Образумиться, по мнению Мулькачи, значило дать продеть себе кольцо через обе ноздри, а для этого надо было предварительно пробить отверстие в носовой перегородке. Но Сент-Элиас не образумился. Он не сломился, подобно Бен-Болту, ибо не был так нервозен, так возбудим и внутренне слаб. Как только его развязали, он мгновенно вырвал кольцо вместе с половиной носа. Мулькачи продырявил ему правое ухо. Сент-Элиас в клочья разорвал его. Продырявил левое — Сент-Элиас разорвал и левое. Мулькачи сдался. Ничего другого ему, впрочем, не оставалось.

— Мы потерпели поражение. Продеть ему кольцо мы уже не можем, а значит, он нам не подвластен, — огорченно заявил Мулькачи.

Итак, Сент-Элиас до конца своих дней был обречен сидеть в зверинце, а Мулькачи, вспоминая его, всякий раз недовольно бормотал:

— В жизни не видывал такого неразумного существа. Я ничего не мог с ним поделать. Не к чему было прицепить кольцо.

Глава тридцать четвертая

Это произошло в Калифорнии, в оклендском театре «Орфеум». Гарлей Кеннан уже наклонился, чтобы достать из-под кресла свою шляпу, но жена остановила его:

— Да ведь это не антракт. Смотри, в программе стоит еще один номер.

— Дрессированная собака, — коротко отвечал Гарлей, но этим было все сказано; он неизменно выходил из зала во время выступления дрессированных собак.

Вилла Кеннан заглянула в программу.

— Правда, — сказала она и, помолчав, добавила: — Но это поющая собака. Собака-Карузо. И тут сказано, что на сцене никого, кроме этой собаки, не будет. Давай разок останемся, сравним его с Джерри.

— Какая-нибудь несчастная тварь, взвывшая от побоев, — пробурчал Гарлей.

— Да, но ведь он один на сцене, — настаивала Вилла. — А потом, если зрелище окажется тяжелым, мы поднимемся и уйдем. И я уйду с тобой. Очень уж мне хочется знать, насколько Джерри поет лучше этой собаки. Смотри, в программе помечено, что это тоже ирландский терьер.

Гарлей Кеннан остался. Два клоуна, вымазанных жженой пробкой, закончили свой номер на просцениуме, потом три раза бисировали его, и, наконец, занавес взвился, открыв совершенно пустую сцену. Из-за кулис размеренным шагом вышел жесткошерстный ирландский терьер, спокойно приблизился к рампе и стал напротив дирижера. Как и указывалось в программе, на

сцене никого, кроме него, не было.

Оркестр сыграл первые такты «Спи, малютка, спи». Пес зевнул и уселся. Оркестр точно следовал инструкции — повторять первые такты до тех пор, пока собака не вступит, а затем уже играть все до конца. После третьего повторения собака открыла пасть и запела. Воем эти звуки никак нельзя было назвать, настолько они были приятны и прочувствованны. Это не было и простым воспроизведением ритма, — собака точно и правильно выводила мелодию.

Но Вилла Кеннан почти не слушала ее.

— Ну, он совсем забил нашего Джерри, — шепнул ей Кеннан.

— Скажи, — взволнованным шепотом отвечала Вилла, — ты никогда раньше не видел этой собаки?

Гарлей отрицательно покачал головой.

— Нет, ты видел ее, — настаивала Вилла. — Взгляни на это сморщенное ухо. Вспомни! Постарайся вспомнить! Прошу тебя!

В ответ ее муж опять только покачал головой.

— Вспомни Соломоновы острова, — требовала она. — Вспомни «Ариеля». Вспомни, когда мы вернулись с Малаиты в Тулаги, уже вместе с Джерри, у него там на какой-то шхуне оказался брат, охотник за неграми.

— По кличке Майкл. Ну и что же дальше?

— У него было вот такое же сморщенное ухо, — торопливо шептала Вилла,

— и жесткая шерсть. Он был родной брат Джерри. А родители их — Терренс и Бидди — жили в Мериндже. И потом — наш Джерри ведь «певчий песик-дурачок». И эта собака тоже поет. И у нее сморщенное ухо. И ее зовут Майкл.

— Ну, это что-то уж слишком неправдоподобно, — возразил Гарлей.

— Когда неправдоподобное становится правдой, тогда и радуешься жизни,

— отвечала она. — А это как раз и есть неправдоподобная правда. Я уверена.

Как мужчина, Гарлей не мог поверить в невероятное. Вилла, как женщина, чувствовала, знала, что невероятное обернулось вероятным.

В это время собака на сцене запела «Боже, храни короля».

— Вот видишь, я права, — торжествовала Вилла. — Ни одному американцу, да еще живущему в Америке, не взбрело бы на ум учить собаку английскому гимну. Собака принадлежала раньше англичанину. А Соломоновы острова — английское владение.

— Ну, это — сомнительное доказательство, — усмехнулся Гарлей. — А вот ухо больше убеждает меня. Я вспомнил теперь, ясно вспомнил, как мы с Джерри сидели у моря в Тулаги и его брата привезли на шлюпке с «Евгении». У того пса было точь-в-точь такое же куцее, сморщенное ухо.

— А потом, — не унималась Вилла, — много ли мы с тобой видели поющих собак? Одного

Джерри. Значит, они не часто встречаются. Это, видимо, семейная особенность. У Терренса и Бидди родился Джерри. А это его брат Майкл.

— Это был жесткошерстный пес со сморщенным ухом, — вспоминал Гарлей.

— Я как сейчас вижу его на носу шлюпки, а потом он бегал по берегу голова в голову с Джерри.

— Если бы ты завтра увидел, как он бежит голова в голову с Джерри, ты бы перестал сомневаться? — допытывалась Вилла.

— Да, это была их любимая забава и любимая забава Терренса и Бидди тоже. Но очень уж далеки Соломоновы острова от Соединенных Штатов.

— Джерри из тех же краев, — отвечала она. — А вот оказался в Калифорнии; что ж удивительного, если судьба занесла сюда и Майкла?.. Слушай, слушай!

Собака запела на бис «Родина любимая моя». Когда по окончании песни раздался взрыв аплодисментов, из-за кулис вышел Джекоб Гендерсон и стал раскланиваться. Вилла и Гарлей некоторое время молчали. Затем Вилла вдруг сказала:

— Вот я сижу здесь и благодарю судьбу за одно обстоятельство…

Он ждал, что последует дальше.

— За то, что мы так бессовестно богаты.

— Другими словами, ты хочешь получить эту собаку и знаешь, что получишь ее, так как я могу доставить тебе это удовольствие, — поддразнил ее Гарлей.

— Потому что ты не можешь отказать мне в этом, — ответила Вилла. — Не забудь, что это брат Джерри. Ведь и ты в этом уже почти не сомневаешься…

— Да, ты права. Невозможное иногда сбывается, и не исключено, что сейчас именно сбылось невозможное. Вряд ли это Майкл, но, с другой стороны, почему бы этому псу и не оказаться Майклом? Пойдем за кулисы и постараемся все выяснить.

«Опять агенты Общества покровительства животным», — решил Джекоб Гендерсон, когда двое незнакомых людей, сопровождаемые директором театра, вошли в его тесную уборную. Майкл дремал на стуле и не обратил на них никакого внимания. Покуда Гарлей говорил с Гендерсоном, Вилла внимательно рассматривала Майкла; под ее взглядом он приоткрыл глаза, но тотчас же снова закрыл их. Обиженный на людей, всегда угрюмый и раздражительный, Майкл не был склонен ласково и приветливо относиться к людям, которые приходили невесть откуда, гладили его по голове, несли какую-то чепуху и тут же навсегда исчезали из его жизни.

Вилла Кеннан, несколько уязвленная своей неудачей, отошла от него и прислушалась к тому, что говорил Джекоб Гендерсон. «Гарри Дель Мар, опытный дрессировщик, подобрал эту собаку где-то на побережье Тихого океана, кажется, в Сан-Франциско, — услышала она. — Он увез собаку с собой на восток, но погиб от несчастного случая, не успев никому ничего о ней сообщить». Вот и весь рассказ Гендерсона, к нему он добавил только, что заплатил за нее две тысячи долларов некоему Коллинзу и считает, что это самая выгодная сделка в его жизни.

Вилла снова подошла к собаке.

— Майкл, — ласково окликнула она его, понизив голос почти до шепота.

На этот раз Майкл шире открыл глаза и навострил уши, по телу его пробежала дрожь.

— Майкл! — повторила она.

Теперь уши Майкла приняли вертикальное положение; он поднял голову, широко раскрыл глаза и взглянул на Виллу. Со времени Тулаги никто не называл его Майклом. Через моря и годы донеслось до него это слово. Точно электрический ток пробежал по его телу, и в мгновение ока все прошлое, связанное с кличкой «Майкл», заполнило его сознание. Он увидел перед собой капитана «Евгении» Келлара, который последним так называл его, и мистера Хаггина, и Дерби, и Боба из Меринджа, и Бидди, и Терренса, и всего ярче среди теней былых времен — своего брата Джерри.

Но разве это былое? Ведь имя, исчезнувшее на годы, вернулось снова. Оно вошло в комнату вместе с этими людьми. Конечно, Майкл всего этого не думал, но по тому, что он сделал, именно таков должен был быть ход его мыслей.

Он соскочил со стула и одним прыжком очутился возле этой женщины. Обнюхал ее руку, обнюхал всю ее, покуда она его ласкала. Затем он узнал ее

— и обезумел. Он отбежал от нее и начал кружить по комнате, сунул нос под умывальник, обнюхал все углы, опять, как одержимый, кинулся к ней и жалобно заскулил, когда она протянула руку, чтобы погладить его. В ту же секунду он отпрянул от нее и в неистовстве стал носиться по комнате, все так же жалобно скуля.

Джекоб Гендеосон поглядывал на него удивленно и неодобрительно.

— Никогда не видел его в таком волнении, — заметил он. — Это очень спокойная собака. Может быть, у него припадок? Но почему бы вдруг?

Никто ничего не понимал, даже Вилла Кеннан. Понимал только Майкл. Он бросился на поиски исчезнувшего мира, который вдруг снова открылся ему при звуке его прежнего имени. Если из небытия могло вернуться это имя и эта женщина, когда-то виденная им в Тулаги, значит, может вернуться и все остальное, что осталось в Тулаги или кануло в небытие. Если она во плоти стоит здесь, перед ним, и кличет его по имени, то возможно, что капитан Келлар, и мистер Хаггин, и Джерри тоже здесь, в этой комнате, или за дверью, в коридоре.

Он подбежал к двери и с визгом стал царапать ее.

— Наверно, он думает, что там кто-нибудь стоит, — сказал Гендерсон и распахнул дверь.

Майкл и вправду так думал. Более того, он ждал, что в открытую дверь хлынет Тихий океан, неся на гребнях своих волн шхуны и корабли, острова и рифы, и вместе с ним наполнят эту комнату все люди, и звери, и вещи, которые он знал когда-то и помнил поныне.

Но прошлое не хлынуло в дверь. За ней не было ничего, кроме обычного настоящего. Он понуро возвратился к женщине, которая ласкала его и называла Майклом. Она-то, как-никак, была из плоти и крови. Затем он тщательно обнюхал ее спутника. Да, этого человека он тоже видел в Тулаги и на палубе «Ариеля». Майкл опять пришел в возбуждение.

— О Гарлей, я знаю, что это он! — воскликнула Вилла. — Проверь его на чем-нибудь, испытай его!

— Но как? — недоуменно спросил Гарлей. — Похоже, что он узнал свое имя. Это и привело его в такое волнение. И хотя он никогда близко не знал нас с тобой, он, видимо, нас все-таки вспомнил, и это еще больше взволновало его. Если бы он умел говорить…

— Ну, заговори же, милый, заговори, — умоляла Вилла, обеими руками держа голову Майкла и раскачивая ее взад и вперед.

— Осторожнее, сударыня, — предостерег ее Гендерсон. — У этого пса угрюмый нрав, и никаких вольностей он с собой не позволяет.

— Ну мне-то он позволит, — нервно смеясь, отвечала Вилла. — Ведь он меня вспомнил… Гарлей! — вскрикнула она, так как ее внезапно осенила блестящая мысль. — Я знаю, что делать! Слушай! Ведь Джерри был охотником за неграми, до того как попал к нам. И Майкл тоже. Скажи что-нибудь на жаргоне Южных морей. Притворись, что ты сердишься на какого-нибудь негра, и посмотрим, что он сделает.

— Да я, пожалуй, уж ничего не припомню, — сокрушенно заметил Гарлей, одобривший ее затею.

— А я постараюсь отвлечь его, — быстро сказала Вилла.

Она села, наклонилась к Майклу, спрятала его голову у себя на груди и, раскачивая ее, принялась мурлыкать какую-то песенку; так они частенько сидели с Джерри. Майкл не обиделся на такую вольность и, в точности как Джерри, начал тихонько подвывать ей. Она сделала Гарлею знак глазами.

— Убей, не понимаю, — начал он злым голосом. — За каким чертом твоя прилезла это место? Вот я сейчас твоя покажу…

И Майкл вдруг ощетинился, высвободился из объятий Виллы и, рыча, забегал по комнате в поисках черного человека, своим вторжением, видимо, прогневившего белого бога. Но черного человека здесь не было. Майкл стал смотреть на дверь. Гарлей тоже перевел взгляд на дверь, и Майкл уже не сомневался, что по ту сторону стоит чернокожий с Соломоновых островов.

— Эй, Майкл! — во весь голос крикнул Гарлей. — Возьми его, живо!

Свирепо рыча, Майкл бросился к двери. В ярости он так сильно ударился об нее, что щеколда соскочила и дверь распахнулась. Неожиданная пустота в коридоре испугала Майкла, он отпрянул, потом весь как-то сник, ошеломленный и сбитый с толку этим призрачным и ускользающим прошлым.

— Ну, а теперь, — обратился Гарлей к Джекобу Гендерсону, — перейдем к деловому разговору.

Глава тридцать пятая

Когда поезд остановился на станции Глен Эллен, в Лунной долине, Гарлей Кеннан подошел к двери багажного вагона, сам принял на руки Майкла и опустил его на землю. Майкл впервые совершил переезд по железной дороге без клетки. На этот раз в Окленде ему надели только ошейник и цепочку. Вилла Кеннан уже сидела в автомобиле; с Майкла сняли цепочку, и он уселся между ней и Гарлеем.

Машина поднималась по склону Сономы, но Майкл едва замечал лес и уходящие вдаль просеки. Три года в Соединенных Штатах он был узником, отрешенным от мира. Он знал только клетку, цепь, тесные помещения, багажные вагоны и станционные платформы. Природу он видел разве что в городских парках, да и то издали, так как сидел привязанный к скамейке, покуда Гендерсон изучал Сведенборга. Поэтому деревья, холмы и поля перестали что-либо значить для него. Они были недоступны, как синева небес или медленно проплывающие облака. Итак, он равнодушно смотрел на деревья, холмы и поля, если можно назвать равнодушием то, что он вовсе не замечал их.

— Ну, Майкл, ты, как видно, от здешних мест не в восторге, — заметил Гарлей.

Майкл поднял глаза, услыхав свое старое имя, в знак понимания прижал уши и ткнулся носом в плечо Гарлея.

— Просто он очень необщителен, — высказала свое мнение Вилла. — Прямая противоположность Джерри.

— Погоди говорить до их встречи, — сказал Гарлей, заранее улыбаясь. — Джерри устроит шум за двоих.

— Навряд ли они узнают друг друга после стольких лет, — отвечала Вилла. — Мне что-то не верится.

— Узнали же они друг друга в Тулаги, — напомнил ей муж. — Ведь они расстались щенятами, а встретились уже взрослыми псами. Вспомни, как они лаяли и гонялись друг за другом по берегу моря. Майкл был тогда суматошнее Джерри и шуму производил вдвое больше.

— Но сейчас он стал ужасно солидным и сдержанным.

— Три года — немалый срок, чтоб научиться сдержанности, — стоял на своем Гарлей.

Вилла в ответ только покачала головой.

Когда машина затормозила у подъезда и Кеннан первым выскочил из нее, из дома послышался заливистый лай с радостными взвизгиваниями, показавшийся Майклу знакомым. Приветственный лай перешел в подозрительное ревнивое рычание, как только Джерри почуял запах другой собаки, исходивший от ласкающей его руки Гарлея. Почти в то же мгновение он заметил в автомобиле самого обладателя этого запаха и немедленно подскочил к нему. Майкл зарычал, прыгнул, на полпути столкнулся с рычащим Джерри и был отброшен назад в машину.

Ирландский терьер — такая уж это порода — в любых обстоятельствах повинуется голосу своего хозяина. И окрик Кеннана немедленно отрезвил Майкла и Джерри. Они разлетелись в разные стороны и, хотя какие-то глухие звуки все еще перекатывались в их глотках, воздерживались от взаимного нападения, покуда не очутились на земле. Стычка эта, длившаяся лишь какую-то долю секунды, все же помешала им узнать друг друга. Теперь оба пса стояли, все еще ощетинившись, до смешного крепко упираясь лапами в землю, но уже усиленно втягивали воздух ноздрями.

— Они узнали друг друга! — воскликнула Вилла. — Подожди, подожди, посмотрим, что будет дальше.

Что касается Майкла, то его не удивлял тот несомненный факт, что Джерри возвратился из небытия. Последнее время такие случаи участились, и поражали его не они, а их таинственная

связь. Если мужчина и женщина, которых он в последний раз видел в Тулаги, а теперь вот еще и Джерри вернулись из небытия, значит, в любую минуту мог вернуться и, видимо, вернется его обожаемый стюард.

Не отзываясь на приветствие Джерри, Майкл нюхал воздух и оглядывался в поисках стюарда. Первый порыв дружелюбных чувств у Джерри принял форму непременного желания бегать. Он залаял, приглашая брата следовать за собой, сделал несколько прыжков, прискакал обратно, игриво шлепнул Майкла передней лапой и снова умчался.

Майкл столько лет не бегал на свободе с другой собакой, что поначалу даже не понял, чего хочет от него Джерри. Но таково уж собачье обыкновение

— изливать свою радость в прыжках и беготне, а Майкл унаследовал это от Бидди и Терренса, признанных чемпионов бега на Соломоновых островах. Поэтому, когда Джерри, вторично шлепнув его лапой, еще раз призывно залаял и помчался прочь, описывая на бегу соблазнительный полукруг, Майкл невольно последовал за ним, правда, довольно медленно. Но в отличие от Джерри он не лаял и после десятка-другого прыжков остановился и поглядел на Виллу и Гарлея, как бы испрашивая у них позволения.

— Валяй, Майкл, валяй, — добродушно крикнул Гарлей и тут же повернулся к нему спиной, чтобы помочь Вилле выйти из машины.

Майкл скакнул и понесся прочь; давно не испытанная смутная радость обуяла его, когда он догнал Джерри и помчался рядом с ним. Но Джерри радовался куда больше, — он летел стремглав, бесновался, толкал Майкла, на лету извивался всем телом, прядал ушами, взвизгивал. Кроме того, Джерри лаял, а Майкл нет.

— Раньше он тоже лаял, — заметила Вилла.

— И больше, чем Джерри, — добавил Гарлей.

— Они отучили его лаять, — сказала она. — Видно, этот пес прошел через страшные испытания, раз он больше не лает.

Зеленая калифорнийская весна уже перешла в бурое лето, когда Джерри, вечно бегавший по лугам и долам, познакомил Майкла с самыми глухими уголками и самыми высокими горами ранчо в Лунной долине. Пышный ковер полевых цветов поблек на обожженных солнцем склонах, маки из оранжевых стали светло-золотистыми, и стройные марипозы склонялись на ветру среди иссохшей травы, сверкая, как яркокрылые бабочки, опустившиеся на мгновение, перед тем как снова взлететь. А Майкл, постоянный спутник неутомимого Джерри, все время кого-то искал и не находил.

— Он что-то ищет, упорно ищет, — говорил Гарлей Вилле. — Что-то, чего здесь нет. Хотел бы я знать, что это такое.

Майкл искал и не находил стюарда, которого небытие скрыло и не отпускало. Но если бы Майкл мог совершить десятидневное путешествие по Тихому океану до Маркизских островов, он сыскал бы своего стюарда, а заодно еще Квэка и Старого моряка. Все трое беззаботно жили в земном раю на острове Тайохаэ. Поблизости от их тростниковой хижины, приютившейся под высокими авокадо, Майкл нашел бы множество разных домашних баловней: кошек с котятами, свиней, осликов, пони, парочку попугаев-неразлучек и даже несколько озорных обезьянок; только собак и какаду не было среди этого зверья. Дэг Доутри в самых энергичных выражениях объявил, что собаками он больше обзаводиться не намерен, ибо ни одна собака на свете не

сравнится с Киллени-боем. А Квэк, со своей стороны, не вдаваясь ни в какие объяснения, наотрез отказывался покупать какаду, привозимых в Тайохаэ матросами торговых шхун.

Майкл упорно не оставлял своих поисков, взбегая по горным тропинкам или скатываясь в глубокие каньоны, он всегда ждал стюарда, ежеминутно готов был к встрече с ним или к тому, что вот-вот почует неповторимый запах, который и приведет его к обожаемому богу.

— Все что-то ищет, ищет, — с любопытством говорил Гарлей Кеннан, скача верхом рядом с Виллой и наблюдая за нескончаемыми поисками Майкла. — Ну Джерри, тот, я понимаю, выслеживает зайцев и лисьи тропы, но Майкла ведь это все нисколько не интересует. Он за зверем не гонится, а ведет себя так, словно потерял бесценное сокровище и сам не знает, где теперь его искать.

Благодаря Джерри Майкл узнал многообразную жизнь полей и лесов. Носиться на воле вместе с Джерри, казалось, было единственным его удовольствием, ибо он никогда не играл. Игры для него более не существовало. Не то, чтобы он был мрачен или подавлен годами, проведенными на арене и в школе страданий Коллинза, нет, но теперь его отличительными чертами стали спокойствие и покорность. Он окончательно утратил былую веселую непосредственность. Старая рана, нанесенная ему леопардом, ныла в сырую и холодную погоду. Так и душа Майкла ныла от перенесенных обид. Он любил Джерри, любил носиться с ним по горам и долам, но вожаком оставался Джерри. Джерри с шумом поднимал зверя, Джерри, дрожа от нетерпения, заливался негодующим лаем при виде белки, скачущей по деревьям на высоте сорока футов. Майкл в таких случаях тоже задирал голову и прислушивался, но в неистовство не приходил.

Так же спокойно наблюдал он за уморительными стычками между Джерри и Вождем Норманнов — громадным першероном. Это, конечно, была игра, так как на самом деле Джерри и Вождь Норманнов были закадычными друзьями; гигантский жеребец, прядая ушами и раскрыв пасть, как бешеный, кружился по загону вслед за Джерри, отнюдь не злоумышляя против него, а просто так — для игры. Но Майкл, несмотря на все призывы брата, участия в этих забавах не принимал. Он довольствовался тем, что смирно сидел по ту сторону забора и наблюдал за обоими друзьями.

«Зачем все это?» — казалось, спрашивал Майкл, давно уже отученный от игры.

Но когда дело доходило до серьезной работы, он оказывался впереди Джерри. По случаю эпидемии ящура чужим собакам был строго-настрого воспрещен доступ на территорию кеннановского ранчо. Майкл быстро это смекнул и стал беспощадно расправляться с бродячими псами. Он не лаял, не рычал, — в зловещем молчании налетал он на непрошеных гостей, сбивал их с ног, кусал и, предварительно вываляв в пыли, выпроваживал за пределы ранчо. Это напоминало ему его расправы с неграми; так он служил богам, которым был привержен и которые именно этой службы и ждали от него.

Вилла и Гарлей не внушали ему той всепоглощающей страсти, которую он испытывал к стюарду, но он полюбил их преданной, спокойной любовью. Он не считал нужным извиваться всем телом, корчиться и визжать от восторга, выражая им свои чувства, — это предоставлялось Джерри. Но он всегда с удовольствием находился возле них и радовался, когда они, приласкав Джерри, ласкали и его. Счастливейшими минутами его жизни были теперь минуты, когда он сидел у камина подле Виллы или Гарлея, положив голову на колени кому-нибудь из них и ожидая, что ласковая рука вот-вот опустится на его лоб и потреплет сморщенное ухо.

Джерри обожал играть с детьми, бывавшими у Кеннанов. Майкл терпел детей, лишь покуда они оставляли его в покое. Но стоило им начать фамильярничать с ним, как шерсть у него на

спине становилась дыбом, он издавал глухое рычание и надменно удалялся.

— Ничего не понимаю, — говорила Вилла, — ведь не было собаки игривее, веселей, задорнее Майкла. Он был куда глупее Джерри, легче возбуждался и производил несравненно больше шума. Если бы он мог говорить, он, наверно, рассказал бы нам страшные подробности о своей жизни со времен Тулаги и до того дня, когда мы нашли его в «Орфеуме».

— По этим отметинам можно о многом догадываться, — отвечал Гарлей, указывая на плечо Майкла, разодранное леопардом в день гибели эрделя Джека и маленькой зеленой обезьянки Сары.

— И он лаял, я отлично помню, что он часто лаял, — продолжала Вилла.

— Почему же он теперь не лает?

Гарлей, показав глазами на плечо Майкла, заметил:

— Вот тебе ответ. И не исключено, что он испытал еще множество страданий, не оставивших заметных следов.

Но вскоре настало время, когда они услыхали лай Майкла, и не один раз, а дважды.

И все это было пустяком по сравнению с тем случаем, когда Майкл без лая сумел на деле доказать свою любовь и приверженность людям, которые спасли его от клетки и рампы для привольной жизни в Лунной долине.

Еще до этого события Майкл, бегая с утра до ночи вместе с Джерри по ранчо, изучил его вдоль и поперек — от птичьего двора и утиных прудов до самой вершины горы Сонома. Теперь он знал, где в пору любви укрываются олени, в какое время года они совершают набеги на виноградники и фруктовые сады, когда уходят в глубокие, недоступные каньоны или носятся по лесным просекам на склонах холмов и самцы в жестоких боевых схватках сшибают и обламывают рога друг другу. Под водительством Джерри, в качестве сопровождающего неотступно следуя за ним по узким тропинкам, Майкл изучил все повадки лис, енотов, ласок и кошачьих хорьков, соединяющих в себе особенности и свойства кошек, енотов и ласок. Он узнал о существовании птиц, гнездящихся на земле, и до тонкости изучил разницу в нравах луговой и горной перепелки и фазанов. Он проник во все хитрости одичавших домашних кошек и разведал их логовища, а также узнал о любви между собаками с горных ферм и койотами.

Он прознал о появлении кугуара, забредшего на земли ранчо из округа Мендосино, еще до того, как тот зарезал первого теленка, и вернулся домой после этой встречи израненный и окровавленный, так что на следующий день Гарлей Кеннан, прихватив винтовку, поехал по следам зверя. Майкл знал и то, чего не знал Кеннан и во что он бы никогда не поверил, а именно, что в чаще горного леса, в расселине среди камней, гнездились гремучие змеи, зимой уходившие в нору, а летом выползавшие из нее, чтобы погреться на солнышке.

Глава тридцать шестая

Прелестная мягкая зима установилась в Лунной долине. Последние маripозы исчезли с выжженных солнцем лугов, и позднее калифорнийское лето растворилось в безветрии красноватого марева. Потом заладили тихие дожди, и снег лег на вершину горы Сонома. Утренний воздух был теперь прозрачным и колючим, но в полдень все обитатели ранчо искали тени; в саду же под лучами зимнего солнца цвели розы и золотистой желтизной наливались

апельсины, грейпфруты и лимоны. А на тысячу футов ниже, в самой глубине долины, трава и деревья по утрам покрывались инеем.

Итак, Майкл залаял дважды. В первый раз, когда Гарлей Кеннан во время верховой прогулки пытался заставить своего горячего гнедого жеребца перепрыгнуть узкий горный ручей. Вилла была на другом берегу и, сдерживая свою лошадь, спокойно наблюдала за тем, как Гарлей школит жеребца. Майкл находился подле Гарлея и тоже выжидал. Запыхавшись от стремительного бега, он было прилег на берегу ручья. Но недоверие к лошадям и страх за Гарлея заставили его быстро вскочить на ноги. Гарлей терпеливо, хотя в то же время и настойчиво, понуждал жеребца перепрыгнуть ручей. Он не очень натягивал поводья, и голос его звучал мягко, но горячий чистокровный конь упорно уклонялся от прыжка и весь покрылся потом и пеной. Бархатистая трава на берегу была уже вытоптана его копытами, но страх его перед ручьем был так силен, что, пущенный галопом, он вдруг круто остановился и взвился на дыбы. Этого Майкл уже не стерпел.

Едва передние ноги жеребца коснулись земли, как Майкл подскочил к нему и… залаял. В этом лае слышалось порицание и угроза, и, когда конь вторично поднялся на дыбы, Майкл подпрыгнул вслед за ним и лязгнул зубами у самой его морды.

Вилла подскакала к берегу с противоположной стороны и крикнула:

— Бог мой! Ты только послушай! Ведь он лает!

— Он боится, как бы жеребец не сбросил меня, — отвечал Гарлей, — и выражает свой гнев. Он отнюдь не разучился лаять. Этот лай — настоящая нотация жеребцу.

— Ну, если он вцепится ему в нос, это будет уже нечто большее, чем нотация, — заметила Вилла. — Осторожней, Гарлей, а то он непременно это сделает.

— Спокойно, Майкл! Ложись, — приказал Гарлей. — Все в порядке. Говорят тебе, все в порядке! Ложись!

Майкл повиновался, но очень неохотно; мускулы его трепетали, он не спускал глаз с жеребца, готовый к прыжку, в случае если Гарлею будет угрожать опасность.

— Если я уступлю ему сейчас, он никогда не выучится брать препятствия, — сказал Гарлей жене, пуская коня галопом, чтобы отъехать от берега на необходимую для прыжка дистанцию. — Я либо заставлю его прыгнуть, либо полечу с седла вниз головой!

Он подскакал к берегу во весь опор, и жеребец, не в состоянии остановиться, но все же стремясь избежать пугавшего его ручья, прыгнул и неожиданно для самого себя очутился на другой стороне, на расстоянии добрых двух ярдов от воды.

Второй раз Майкл залаял, когда Гарлей, верхом на том же норовистом жеребце, пытался закрыть калитку на отвесной горной тропе. Видя опасность, грозящую его богу и господину, Майкл из последних сил старался удержаться, но не стерпел и, подлетев к самой морде коня, залился неистовым лаем.

— Так или иначе, но его лай помог мне, — заметил Гарлей, справившись наконец с неподатливой калиткой. — Видно, Майкл пригрозил жеребцу хорошенько расправиться с ним за неповиновение.

— Во всяком случае, теперь мы знаем, что он не молчальник, хотя и не отличается

разговорчивостью, — заметила Вилла.

Разговорчивее Майкл со временем не стал. Он залаял всего два раза, когда его бог и господин был, по его мнению, в опасности. Он никогда не лаял на луну, не отвечал лаем на горное эхо и таинственные шорохи в кустах. Зато Джерри непрерывно перекликался с эхом, долетавшим до дома Кеннанов. Слушая эту перекличку, Майкл со скучающим видом, лежа в сторонке, дожидался, покуда она кончится. Не лаял он и нападая на бродячих собак, осмелившихся появиться в границах ранчо.

— Он бьется, как бывалый солдат, — сказал однажды Гарлей, наблюдавший за такой схваткой, — хладнокровно и не утрачивая самообладания.

— Он постарел раньше времени, — отвечала Вилла, — и утратил вкус к игре и разговору. Но я все равно знаю, что нас с тобой он любит…

— Хотя и не очень-то выказывает свою любовь, — закончил за нее муж.

— Эта любовь светится в его спокойных глазах, — добавила Вилла.

— Майкл напоминает мне одного участника экспедиции, лейтенанта Грили[18], которого я знавал, — заговорил Гарлей. — Это был рядовой солдат и один из немногих, кто вернулся домой. Ему столько пришлось испытать в жизни, что он стал угрюмым, как Майкл, и таким же неразговорчивым. Большинству людей, не понимавших его, он казался скучным. На деле же имело место обратное. Они были скучны ему, так как до смешного мало знали о жизни, которую он-то досконально изведал. Из него, бывало, слова не вытянешь. И не потому, что он разучился говорить, а потому, что говорить с людьми непонимающими не имеет смысла. Умудренный жизненным опытом, он замкнулся в себе. Но достаточно было взглянуть на него, чтобы понять — этот человек прошел через все круги ада и познал тысячи ледяных смертей. Глаза у него были такие же спокойные, как у Майкла. И такие же мудрые. Чего бы я только не отдал, чтобы узнать, откуда у Майкла этот шрам на плече. По-моему, это работа тигра или льва.

Человек, подобно кугуару, встреченному Майклом в горах, явился из округа Мендосино и брел глухими горными тропами, заходя в населенные долины лишь по ночам из боязни встретиться с людьми. Подобно кугуару, человек этот был враг людям, и люди были врагами ему. Люди хотели отнять у него жизнь, ибо этой жизнью он причинил им больше зла, чем может причинить кугуар, убивающий телят, чтобы утолить свой голод.

Подобно кугуару, человек этот был убийцей, с той только разницей, что его приметы и описания совершенных им преступлений были помещены во всех газетах, и люди интересовались им куда больше, чем кугуаром. Кугуар резал телят на горных пастбищах. Человек этот, чтобы ограбить почту, зарезал целую семью — почтмейстера, его жену и троих детей, живших в квартирке над почтовой конторой горной деревушки Чисхольм.

Уже две недели преступник скрывался от преследователей. Последний переход, с гор Русской реки через плодородную и густо населенную долину Санта-Роса, привел его к горе Сонома. Два дня, забившись в дикий и неприступный уголок ранчо Кеннанов, человек отдыхал и отсыпался. У него был с собой пакетик кофе, захваченный в последнем из ограбленных им домов. На мясо ему пошла одна из ангорских коз Гарлея Кеннана. Обессиленный, он проспал сорок восемь часов кряду, просыпаясь только затем, чтобы с жадностью наброситься на козлятину, выпить кофе, все равно, холодного или горячего, и вновь погрузиться в тяжелый сон, полный кошмарных видений.

Тем временем цивилизация, пользуясь всеми доступными ей средствами и хитроумными изобретениями, включая электричество, напала на его след. Электричество сплошным кольцом окружило его. Телефон сообщил о его местонахождении в далеком каньоне горы Сонома; и окрестные горы тотчас же были оцеплены отрядами полиции и вооруженных фермеров. Человек, который мог убить любого из здешних жителей, заблудившегося в горах, страшил их больше, чем кугуар. По телефону на ранчо Кеннанов и на других ранчо в окрестностях Сонома то и дело велись взволнованные разговоры или передавались распоряжения, касающиеся поимки убийцы.

Случилось так, что, когда вооруженные отряды начали прочесывать горную чащу и человек среди бела дня ринулся в Лунную долину, чтобы, миновав ее, сыскать себе убежище в горах, отделявших ее от долины Напа, Гарлей Кеннан отправился в путь на прекрасно объезженном чистокровном жеребце. Гарлей не искал следов человека, убившего семью почтмейстера в Чисхольме. Он знал, что горы и без него кишат добровольными преследователями, так как целый отряд их накануне ночевал у него на ранчо. Итак, встреча Гарлея Кеннана с тем человеком была случайной и непредвиденной.

Для убийцы же это была уже не первая встреча с жителем здешних мест. Прошлой ночью он заметил костры преследователей. На рассвете, спускаясь по юго-западному склону в направлении Петалумы, он столкнулся с пятью отрядами фермеров, вооруженных винчестерами и дробовиками. Спасаясь от их преследования, убийца напоролся на толпу мальчишек из Глен Эллена и Калиенте. Мальчишкам не удалось подстрелить его, так как их ружья годились только для охоты на белок и ланей, но они изрешетили ему всю спину дробью; дробинки, застрявшие под кожей, до безумия раздражали человека. Спасаясь бегством по крутому склону, он угодил прямо в стадо короткорогих быков, которые, испугавшись куда сильнее, чем он, сбили его с ног и, перескакивая через него в паническом страхе, копытами растоптали его винтовку. Безоружный, отчаявшийся, страдающий от бесчисленных ранений и ушибов, он долго кружил по оленьим тропам, перебрался через два каньона и начал спускаться в третий.

В то время как он спускался, по той же тропинке подымался вверх репортер. Репортер этот — что про него сказать? — был обыкновенным горожанином, знал только городскую жизнь и никогда до сих пор не принимал участия в охоте на человека. Кобылка, которую он взял напрокат в долине, едва передвигавшая ноги от старости, давным-давно утратила повадки норовистой лошади и теперь стояла совершенно спокойно, пока какой-то человек со страшным и свирепым лицом, выскочивший из-за крутого поворота, стаскивал с седла сидевшего на ней репортера. Репортер огрел злоумышленника хлыстом. И тут ему задали такую трепку, какие, судя по его ранним репортерским заметкам, он нередко наблюдал в матросских кабачках и какую ему впервые пришлось испытать на собственной шкуре.

К великому разочарованию злоумышленника, единственным оружием его жертвы оказались карандаш и блокнот. Задав по этому случаю еще дополнительную трепку репортеру и предоставив ему оплакивать среди папоротников свою незадачу, злоумышленник вскочил на лошаденку, подбодрил ее репортерским хлыстом и стал спускаться дальше.

Джерри, гораздо более страстный охотник, чем Майкл, убежал далеко вперед в то утро, когда оба пса сопровождали Гарлея Кеннана, выехавшего верхом на прогулку. Майкл, по пятам следовавший за лошадью Гарлея, не заметил и не понял, с чего все началось. И совершенно так же не понял этого Гарлей. Там, где крутой откос футов в восемь вышиной нависал над тропинкой, Гарлей и его гнедой жеребец сквозь заросли мансаниты заметили нечто непонятное. Всмотревшись попристальнее, Гарлей увидел упирающуюся лошадь и всадника, казалось, повисшего в воздухе над ним. Гарлей пришпорил своего жеребца, чтобы отскочить в

сторону, так как успел заметить расцарапанные руки, изодранную одежду, дико горящие глаза и ввалившиеся, обросшие щеки человека, преследуемого своими собратьями.

Лошаденка под злоумышленником упиралась изо всех сил, не желая прыгать с крутого откоса. Она слишком хорошо знала, как отзовется такой прыжок на ее разбитых ногах и ревматических суставах, и упорно зарывалась копытами в мягкий мох, но под конец все-таки прыгнула, испугавшись падения, ударила плечом бесновавшегося жеребца и сбила его с ног. Гарлей Кеннан сломал ногу, — ее прижало к земле всей тяжестью коня, а у судорожно дергавшегося на земле жеребца был сломан хребет.

Новое разочарование ждало человека, преследуемого целым вооруженным краем: последняя его жертва, так же как и репортер, была безоружна. Рыча от злобы, он спешился и изо всей силы пнул беспомощного Кеннана в бок. Он поднял было ногу и для второго удара, но тут вмешался, вернее, вцепился Майкл, прокусив чуть ли не до кости занесенную для удара ногу.

Человек с проклятием отдернул ногу, в клочья разорвав штанину.

— Молодец пес! — похвалил Майкла Гарлей, неподвижно лежавший под тушей жеребца. — Эй ты, Майкл, — продолжал он, переходя на жаргон Южных морей, — гони в шею этого парня!

— Я тебе сейчас башку расшибу, — сквозь зубы прорычал злоумышленник.

Беспощадный и злобный дикарь, он теперь готов был разрыдаться. Долгое преследование, злоба и борьба в одиночку против всего человечества надломили силы убийцы. Он был окружен врагами. Даже дети возмутились против него и изрешетили ему спину дробью, молодые бычки потоптали его копытами и сломали его ружье. Все, все было в заговоре против него. А теперь еще собака вцепилась ему в ногу. Видно, это уже конец. Впервые он почувствовал приближение смерти. Все против него. Истерическая потребность разрыдаться овладела им, а отчаявшегося человека истерия может подвигнуть на самые дикие и страшные поступки. Без всяких на то причин он приготовился выполнить свою угрозу — прикончить Кеннана. Неважно, что Гарлей Кеннан ему ничего худого не сделал. Неважно, что, напротив, это он напал на Кеннана, что по его вине тот свалился с лошади и сломал себе ногу. Гарлей Кеннан был человек, а ему внушал ненависть весь род человеческий. И сейчас ему почему-то казалось, что, убив Кеннана, он хоть отчасти отомстит за себя человечеству. Умирая, он хотел потащить с собой всех, кого только возможно.

Но прежде чем он успел ударить распростертого на земле Кеннана, Майкл снова налетел на него. Вторая нога и вторая штанина в мгновение ока были разорваны в клочья. Отчаянным ударом в грудь ему удалось высоко подбросить собаку, и Майкл покатился вниз с крутого откоса. Падая, он, на беду, не достиг земли, а повис в воздухе, зажатый, как рогаткой, ветвями мансаниты.

— Ну, теперь, — угрюмо заявил человек, — я сдержу свое слово и расшибу тебе башку.

— А я ведь вам ничего худого не сделал. — Гарлей попытался вступить с ним в переговоры. — Убивайте меня, если вам это нужно, но я хотел бы все-таки узнать, за что меня убивают.

— За то, что все вы охотитесь за мной, — зарычал человек, приближаясь к нему. — Я вашу породу знаю. Вы все травите меня; а что я могу один против всех? Ну вот теперь хоть с тобой сквитаюсь.

Кеннан прекрасно отдавал себе отчет в серьезности положения. Он был совершенно беспомощен, а безумный человекоубийца собирался прикончить его, прикончить зверски и

беспощадно. Майкл, не менее беспомощный, чем он, висел головой вниз в кустах, зажатый поперек туловища, и хотя он отчаянно бился и извивался, но подоспеть к нему на помощь, конечно, не мог.

Человек замахнулся, чтобы ударить Гарлея в лицо, но тот закрылся руками; и прежде чем убийца успел нанести ему второй удар, на поле битвы появился Джерри. Он не стал дожидаться поощрения или приказаний своего господина. Он накинулся на убийцу, вонзился зубами ему в пояс и повис на нем всей своей тяжестью, едва не свалив его на землю.

Вне себя от ярости человек бросился на Джерри. И правда, весь мир ополчился на него. Вот уж и собаки сыплются прямо с неба. И тут же его слух уловил шум голосов, перекликавшихся на склонах Сономы, — обстоятельство, которое заставило его изменить свое намерение. Это те люди угрожали ему смертью, и от них он должен был спасаться. Пинком отшвырнув Джерри, человек вскочил на репортерскую лошаденку, которая продолжала меланхолически стоять на том же месте, где он слез с нее.

Она неохотно заковыляла на своих негнущихся ногах, а ощеренный Джерри, рыча, бросился за ней; ярость его была так велика, что рычание временами переходило в громкий визг.

— Ничего, ничего, Майкл, — успокаивал собаку Гарлей. — Не волнуйся. Не растрачивай понапрасну силы. Беда миновала. Кто-нибудь обязательно проедет здесь и выручит нас обоих.

Но не успел он это сказать, как более слабая из двух образовавших рогатку веток обломилась, и Майкл полетел наземь, от растерянности — даже вниз головой. В следующую же секунду он вскочил на ноги и помчался по направлению, откуда слышался неистовый лай Джерри. Внезапно этот лай перешел в пронзительный болезненный визг; Майкл уже не бежал, а летел. Через несколько мгновений он увидел Джерри, распростертого на земле. Злополучная лошаденка на скаку оступилась, чуть не упала и, пытаясь удержаться на ногах, нечаянно раздробила переднюю лапу Джерри.

Человек оглянулся и, увидев Майкла, решил, что это уже третья собака, невесть откуда взявшаяся. Но собаки его не страшили. Гибель ему несли не собаки, а люди, вооруженные дробовиками и карабинами. Однако боль в окровавленных ногах, искусанных Майклом и Джерри, сейчас заставляла его так же остро ненавидеть собак.

«Еще один пес», — с горечью подумал он и вытянул Майкла хлыстом поперек морды.

К величайшему его удивлению, эта собака не вздрогнула от удара. Боль не заставила ее ни взвизгнуть, ни взвыть. Она не залаяла, не зарычала, не огрызнулась, но подлетела к всаднику так, словно он и не ударил ее, словно хлыст просвистел в воздухе, не коснувшись ее головы. Когда Майкл подскочил к его правой ноге, он снова ударил его между глаз. Оглушенный ударом, Майкл опустился на землю, но тут же пришел в себя и длинными прыжками помчался вслед за всадником.

Между тем тот отметил поразительное явление. Наклоняясь с седла, чтобы полоснуть Майкла хлыстом, он увидел, что пес не закрыл глаза, ожидая удара. Более того, он не вздрогнул, не моргнул, когда хлыст засвистел над его головой. Это было уже просто страшно. Таких собак он не видывал. Майкл опять взвился, человек ударил его хлыстом — зловещее молчание! Собака, не дрогнув и не сморгнув, снесла удар.

Новый, доселе неведомый ему страх охватил человека. Неужели это конец, конец после всего, что он пережил? Неужели этот зловеще молчащий пес уничтожит его, довершит то, что не удалось людям? Он даже потерял уверенность в том, что это живая, реальная собака. Может

быть, это страшный мститель из потустороннего мира, посланный на землю затем, чтобы прикончить его на этой тропе, которую он считал теперь тропою смерти? Нет, это не живая собака! Безусловно, нет! Не может быть на свете собаки, которая снесла бы жестокий удар кнутом, не вздрогнув, не отпрянув назад.

Собака еще дважды бросалась на него, дважды он наносил ей жестокие, меткие удары — и всякий раз собака молча и уверенно повторяла нападение. Охваченный необоримым страхом, человек так бил каблуками впалые бока своей лошаденки, так отчаянно колотил ее по голове, что она пустилась в галоп, каким не ходила уже много лет. Страх охватил даже эту полуживую клячу. Конечно, это был не страх перед собакой, — она-то отлично понимала, что за ними гонится самый обыкновенный пес, — но страх перед всадником. Ноги ее давно были разбиты, суставы одеревенели по милости пьяных ездоков, бравших ее напрокат из конюшни. И вот теперь она опять несет на себе пьяного и безумного ездока, и он изо всех сил вонзает каблуки в ее бока и нещадно колотит ее по морде, по носу, по ушам.

Лошадь выбивалась из сил, но все же бежала не настолько быстро, чтобы оставить позади Майкла, хотя ему только изредка удавалось подскочить к ноге ездока. На каждый прыжок Майкла человек отвечал полновесным ударом хлыста, настигавшим его еще в воздухе. И хотя челюсти Майкла сжимались почти у самой ноги человека, но он всякий раз бывал отброшен назад и снова должен был собираться с силами и мчаться вслед за скачущей лошадью и обезумевшим от страха ездоком.

Энрико Пикколомини видел эту гонку, более того — сам присутствовал при ее финише; она явилась величайшим событием в его жизни, которое не только сделало его зажиточным человеком, но и дало ему пищу для нескончаемых рассказов. Энрико Пикколомини был лесорубом на ранчо Кеннанов. Стоя на холме, откуда открывался вид на дорогу, он сначала услышал топот копыт и свист хлыста, затем увидел бешеную гонку и борьбу, в которой участвовали человек, лошадь и собака. Когда все они очутились у подножия холма на расстоянии каких-нибудь двадцати футов от него, он заметил, как собака прямо прыгнула под удар кнута и вцепилась в ногу человека, сидевшего на лошади. И тут же своими глазами увидел, что собака, падая на землю, тяжестью своего тела наполовину стащила человека с седла. Человек, пытаясь удержаться, изо всех сил уцепился за поводья. Лошадь взвилась на дыбы, зашаталась, споткнулась, и всадник, окончательно потеряв равновесие, полетел на землю вслед за собакой.

— И тут они оба, словно два пса, катились по земле, — рассказывал Пикколомини много лет спустя, сидя за стаканом вина в своей маленькой гостинице в Глен Эллене. — Собака выпустила ногу человека и вцепилась ему в глотку. А человек подмял ее под себя и тоже сдавил ей горло обеими руками — вот так. Собака не издавала ни звука. За все время — ни звука. А когда он стал душить ее — и подавно. Такая уж это собака. Что ты с ней ни делай — молчит. Ну, а лошадь стоит рядом, смотрит и еле дышит. Очень, очень странно все это выглядело.

А человек-то, видно, спятил, думаю я. Только сумасшедший может сделать такое: оскалился, как пес, и давай кусать собаку в лапы, в нос, в брюхо. Он кусает собаку в нос, а она его в щеку. Они дрались, как черти, а пес даже царапался задними лапами, точно кошка. Он, как кошка, разодрал рубаху на человеке, разодрал и кожу у него на груди, так что вся грудь пошла красными полосами. Человек то воет, то рычит, как кугуар. И все время знай душит собаку. Да, чертовская была потасовка.

Смотрю, собака-то мистера Кеннана. Мистер Кеннан хороший человек, я у него тогда уж два года работал. Что ж, прикажете мне стоять и смотреть, как какой-то бродяга, точно кугуар,

разрывает на части собаку мистера Кеннана? Я опрометью кинулся с холма, да второпях позабыл свой топор. Так вот, значит, сбежал я с холма — расстояние было, как от этой двери до той,

— футов двадцать или тридцать от силы. А собаке-то уж, можно сказать, конец приходит. Язык болтается, глаза мутные, а все дерет грудь этого бродяги когтями, а он рычит — ну точь-в-точь кугуар.

Что тут делать? Топор остался наверху. Человек вот-вот прикончит пса. Смотрю, нет ли где хорошего камня. Как назло, ни единого камешка. Может, хоть палка найдется? И палки нет. А собака уж при последнем издыхании. Ну, тут я не будь дурак — как стукну этого парня. Сапоги у меня тогда были тяжеленные, не то что вот эти, а как положено лесорубу, на толстой кожаной подметке да еще с железными гвоздями. Я как дам этому малому по шее возле правого уха. Один только разок. Но уж больно здорово. Я ведь место знаю — как раз под правое ухо.

Ну, он и выпустил пса. А сам закрыл глаза, открыл рот и лежит, не шелохнется. Гляжу — пес уж маленько отдышался, поднабрался сил и опять хочет кинуться на парня. Но я говорю: «Нельзя», — хоть сам до смерти боюсь этой собаки. Человек тоже начал оживать, открыл глаза и глядит на меня, как кугуар. И носом так же сопит. Я уж не знаю, кого больше бояться, человека или пса. Что же мне делать? Топор-то я позабыл. Сейчас скажу, что я удумал. Дал парню еще раз в ухо, потом снял с себя ремень, достал из кармана носовой платок, пестрый такой, и скрутил ему руки и ноги. И все время я говорил собаке «нельзя», чтобы она не бросалась на парня. Собака сидит и смотрит на меня, — понимает ведь, что я ей друг, раз связываю этого бродягу. И не кусается, хотя я боюсь ее до смерти. Очень уж страшный пес. Ведь я-то видел, как он стащил с седла эдакого здоровенного парня, сильного, точно кугуар.

А тут и люди подоспели, с ружьями, револьверами, карабинами. Ну, я сначала подумал, что больно уж скор суд в Соединенных Штатах: не успел я треснуть этого малого по башке, как меня уже собираются тащить с тюрьму. Поначалу я ровно ничего не понял. Все на меня злятся, как только не обзывают меня, ругаются, а не арестовывают. Ага! Я начал соображать, в чем дело. Слышу, что-то они все говорят о трех тысячах. Я, мол, украл у них три тысячи долларов. Ну, я и говорю, что это неправда. Я сроду цента ни у кого не украл. А они как расхохочутся! Тут у меня от сердца отлегло, и я понял, что эти три тысячи долларов — награда, ее правительство назначило за поимку человека, которого я связал своим ремнем и носовым платком, пестрым таким. И эти три тысячи долларов мои, потому что я дал ему в ухо и связал его по рукам и ногам.

Так вот я и перестал работать у мистера Кеннана. Теперь я богатый человек. Три тысячи долларов достались мне, и мистер Кеннан позаботился, чтобы я их получил и чтобы те люди с ружьями их не присвоили. И все за то, что я дал по башке человеку, похожему на кугуара… Вот это судьба! Вот это по-американски! Как я теперь рад, что уехал из Италии и нанялся в лесорубы к мистеру Кеннану. На эти три тысячи я и открыл здесь свою гостиницу. Я знал, что гостиница — прибыльное дело. У моего отца была гостиница в Неаполе, когда я был мальчишкой. Теперь у меня две дочки учатся в средней школе. И автомобиль я себе тоже завел.

— Господи ты боже мой, да у нас теперь не ранчо, а лазарет! — воскликнула Вилла Кеннан, выходя на широкую террасу, где лежали Гарлей и Джерри; у Гарлея нога в лубках, а у Джерри лапа в гипсе. — А посмотрели бы вы на Майкла, — продолжала она. — Не у вас одних переломаны кости. Я сейчас осматривала его и поняла, что если нос у него не сломан от удара, который он получил, то это просто чудо. Я целый час прикладывала ему горячие компрессы.

Покажись-ка, Майкл!

Майкл не замедлил последовать ее приглашению. Он обнюхал Джерри своим распухшим носом и в знак приветствия помахал хвостом Гарлею, за что тот ласково погладил его по голове.

— Он пострадал в битве, — заметил Гарлей. — Пикколомини рассказывает, что этот малый нещадно бил его хлыстом, а раз Майкл прыгал на него, то удары, конечно, приходились ему по носу.

— И тот же Пикколомини говорит, что он ни разу не взвизгнул, а продолжал гнаться за ним, — восторженно подхватила Вилла. — Ты только подумай, такая собачонка, как Майкл, стаскивает с седла убийцу, которого не могли изловить целые отряды вооруженных людей.

— Для нас он сделал много больше, — спокойно заметил Гарлей. — Если бы не Майкл и Джерри, я не сомневаюсь, что этот безумец проломил бы мне голову, как он грозился.

— Сам бог послал нам этих собак! — воскликнула Вилла. Глаза ее заблестели, и она тепло пожала руку Гарлея. — Люди все еще не понимают, какое это чудо — собаки, — добавила она и заморгала глазами, чтобы стряхнуть с ресниц непрошеные слезы.

— И никогда не поймут, — сказал Гарлей, отвечая ей таким же сердечным рукопожатием.

— Ну, а теперь мы споем тебе, — улыбнулась Вилла. — Я и наши два пса репетировали потихоньку от тебя. Лежи и слушай. Это псалом. Да, да, не смейся. Я не собиралась каламбурить.

Она нагнулась, притянула к себе Майкла, зажала его между колен, обхватив его голову обеими руками, так что нос его уткнулся ей в волосы.

— Приготовиться, Джерри! — крикнула она, как заправский учитель пения, требующий внимания от ученика. Джерри повернул голову, понимающе улыбнулся ей глазами и стал ждать.

Вилла запела псалом, и почти тотчас же вступили собаки. Они выли так музыкально, так мягко, что воем это даже нельзя было назвать. И все, что ушло в небытие, воскресало в памяти собак по мере того, как лилась песня. Пройдя через страну небытия, они вернулись в долины иного мира и вот уже мчались куда-то вместе с утраченной стаей, не забывая в то же время и о божестве из плоти и крови, которое было здесь, с ними, пело, любило их и звалось Виллой.

— А почему бы нам, собственно, не составить квартет? — спросил Гарлей Кеннан и присоединился к поющим.

Краткий словарь морских терминов и выражений

А б е р р а ц и я — кажущееся смещение звезд вследствие того, что за время, пока свет от них доходит до Земли, она успевает сделать несколько оборотов по своей орбите и находится уже в другой точке, с которой звезды усматриваются в каком-то отличном от первоначального положении.

А т о л л — кольцеобразный остров, представляющий собой узкую полоску суши, окружающую внутреннее, относительно мелководное озеро — лагуну.

Б а к — носовая часть верхней палубы судна.

Б а к ш т а г и б у ш п р и т а — (ватер-бакштаги и утлегарь-бакштаги) — снасти, удерживающие с боков бушприт и его переднее продолжение — утлегарь.

Б а н к а — здесь сиденье для гребцов в шлюпке.

Б а р к а с (барказ) — большая многовесельная шлюпка либо небольшое парусно-гребное беспалубное рыбачье судно.

Б а т а л е р — лицо, ведающее на судне припасами, главным образом продовольственными.

Б е й д е в и н д — курс судна, при котором ветер дует ему несколько спереди. Различают полный бейдевинд, когда ветер почти боковой, и крутой бейдевинд, когда судно идет под более острым (порядка 45°) углом к линии ветра.

Б и з а н ь-в а н т ы — ванты задней мачты (бизань-мачты).

Б и з а н ь-м а ч т а — самая задняя мачта на трех— и более мачтовых судах, а также на так называемых «полуторамачтовых» судах типа кеча и йола, у которых задняя мачта значительно меньшего размера, чем передняя.

Б и м с ы — поперечные связи судна, на которые сверху настилается палуба.

Б о ц м а н — старшина так называемой палубной (в отличие от машинной) команды на судне, то есть непосредственный начальник всех матросов.

Б р и г — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением.

Б у г е л ь — железное кольцо или обруч из полосового железа, здесь надетое на бревно (гик), по которому растягивается нижняя кромка (шкаторина) паруса грота, и служащее для крепления к нему верхнего блока грота-шкота.

Б у к с и р — здесь трос, на котором судно что-либо тянет — буксирует за собой. Слово «буксир» употребляется также в смысле «буксирное судно».

Б у л и н ь — снасть, служащая для оттягивания вперед нижних углов прямых трапециевидных парусов с той стороны, откуда дует ветер, здесь, то есть на марсельной шхуне, булинь фор-марселя.

Б у р т и к — полукруглая рейка, окаймляющая снаружи борт шлюпки для предохранения ее от случайных ударов.

Б у ш п р и т — наклонное или горизонтальное рангоутное дерево, торчащее вперед с носа судна. Служит для крепления тросов — штагов, — удерживающих мачту спереди, и вынесения вперед косых треугольных парусов — кливеров и стакселей.

В а н т ы — снасти, удерживающие с боков мачты и их верхние продолжения — стеньги.

В а н т-п у т е н с ы — вертикальные металлические полосы, цепи или прутья, укрепленные с наружной стороны борта судна и служащие для крепления к ним нижних концов вант.

В а т е р з е й с — желоб для стока воды, идущий вдоль борта судна.

В а х т е н н ы й (судовой) ж у р н а л — книга, в которую в хронологическом порядке из вахты в вахту записываются все обстоятельства плавания судна и в том числе его местонахождение и

курс.

В е л ь б о т — быстроходная шлюпка с заостренными носом и кормой.

В о д о и з м е щ е н и е — вес судна, равный, согласно закону Архимеда, весу вытесненной им воды.

В ы б л е н к и — веревочные (иногда деревянные или из металлических прутков) поперечины, соединяющие рядом стоящие тросы-вантины, образующие ванты и служащие ступеньками для подъема на мачты и их верхние продолжения — стеньги.

В ы в а л и т ь ш л ю п к у — развернуть поворотные балки, на которых висит шлюпка (шлюпбалки), таким образом, чтобы шлюпка оказалась висящей не над палубой, а за бортом над водой.

Г а л с — снасть, которой растягиваются наветренные углы парусов. Поэтому если ветер дует в паруса справа, то говорят, что судно идет правым галсом, а если слева, то левым галсом. Переменить галс, лечь на другой галс — повернуть так, чтобы ветер дул в паруса с другой стороны. Для этого при повороте на парусном судне перекидывают косые паруса с одного борта на другой.

Г а р п у н е р (гарпунщик) — специалист по бою китов и другого крупного морского зверя гарпуном, то есть тяжелой острогой, имеющей острый наконечник с отогнутыми назад зубьями, которые, попадая в тело животного, увязают в нем.

Г р о т — главный парус на грот-мачте; здесь, на судне с парусным вооружением типа кеча, самый нижний и большой косой парус на первой мачте от носа судна.

Г р о т а-ф а л ы — снасти для подъема и удержания в требуемом положении паруса грота.

Д е в и а ц и я (магнитного компаса) — отклонение магнитной стрелки компаса на судне от положения, которое она занимает на земле (магнитный меридиан), под воздействием судового железа.

Д р е д н о у т — английский броненосец, явившийся прототипом класса самых больших и мощных военных кораблей — линкоров. Здесь образное сравнение кита с этим кораблем.

Д р е й ф — снос судна ветром. Дрейфовать — перемещаться по ветру, не имея собственного хода вперед. Лечь в дрейф — не становясь на якорь, убрать паруса или так расположить их, чтобы они не сообщали судну движения.

Д ю й м — мера длины, равная 25,4 миллиметра.

З а в е р н у т ь — здесь закрепить ходовые, то есть свободные, концы талей, завернув их восьмерками за специальные приспособления — утки, нагели или кнехты.

З а г р е б н о й — гребец, сидящий на загребных веслах, то есть на первой паре весел, считая от кормы шлюпки. По этому гребцу равняются все остальные.

К а б о т а ж — прибрежное плавание, сообщение между портами одной и той же страны. Каботажное судно — судно, плавающее в каботаже.

К а м б у з — кухня на судне.

К а ю т-к о м п а н и я — помещение для приема пищи и отдыха начальствующего состава судна.

К в а р т а — мера жидких и сыпучих грузов, равная около 1,13 литра, то есть одна четверть галлона, который составляет 4,54 литра.

К е ч — небольшое парусное судно с двумя мачтами: передней — гротом — большего размера и задней — бизанью — меньшего размера, — имеющее не один, а несколько парусов на грот-мачте и косые паруса между мачтами.

К и л ь — продольный брус в нижней части судна, простирающийся от носа до кормы и служащий основанием, к которому крепятся остальные детали набора судна — корабельного скелета.

К л и в е р — косой треугольный парус, обычно второй спереди, поднимаемый над носом судна. Вынести кливер ни ветер — оттянуть его задний угол навстречу ветру так чтобы он надул кливер в обратную сторону.

К о м и н г с — сплошное вертикальное ограждение, предохраняющее вырезы в палубе от заливания их водой, здесь — высокий порог, предохраняющий рубку от попадания в нее воды через дверь.

К о н т р-б и з а н ь (контра-бизань) — здесь косой парус, поднимаемый на задней мачте судна.

К о н ц ы — различные снасти, веревки на судне. Это слово обычно употребляется применительно к сравнительно коротким снастям или снастям, укрепленным одним концом к чему-либо.

К о р м о в о й п о д з о р — нависающая над водой часть кормы судна.

К о ч е г а р к а — помещение, в которое выходят топки судовых котлов и где работают обслуживающие их кочегары.

К р ю й с-п е л е н г — способ определения места судна по двум разновременным пеленгам одного и того же предмета, курсу и расстоянию, пройденному за время между наблюдениями.

К у б р и к — общее жилое помещение для команды на судне.

К у р с — направление, по которому идет судно. Различают курс по компасу, то есть в какую сторону направлен нос судна относительно частей света (север, юг, запад, восток), и курс относительно ветра, то есть какой угол составляет продольная плоскость судна с линией ветра.

К у т т е р — см. Тендер.

Л а г у н а — узкий и длинный залив, параллельный берегу и образованный песчаной или галечной косой, идущей от берега. Лагуной также называют сравнительно мелководное озеро внутри кольцеобразного кораллового острова — атолла.

Л и к т р о с ы — мягкие тросы, которыми обшиваются кромки парусов.

Л о ц м а н — человек, хорошо знакомый с условиями плавания в определенном, чаще всего прибрежном районе. Обязанность лоцмана — давать советы капитану при проводке судна в опасных и трудных местах.

Л о ц м а н с к о е с у д н о — судно, обычно небольшое, служащее для доставки лоцманов на прибывающие с моря суда и снятия их с уходящих в море судов после того, как их лоцманская проводка закончена.

М а р с ы (марсовые площадки) — на парусных судах площадки, встраиваемые в местах соединения мачт с их верхними продолжениями — стеньгами — и служащие для разноса в сторону бортов судна вант (стень-вант), удерживающих последние с боков. Марсовые — матросы, работающие на марсовых площадках.

М а р т и н-ш т а г — снасть, удерживающая снизу переднее продолжение бушприта — утлегарь — и доходящая до имеющейся в нижней части бушприта вертикальной распорки — мартин-гика.

М и л я м о р с к а я — основная единица расстояния на море, равная одной минуте (1') дуги земного меридиана, или 1852 метрам. В США длина морской мили принимается равной 18532 метра. Для измерения расстояний на суше в США и Англии принята статутная миля, равная 1 609 метрам.

М у с с о н ы — ветры тропического пояса, дующие зимой с материков на океаны, а летом — в обратном направлении. В западной части Тихого океана зимой дуют северо-западные муссоны, а летом — юго-восточные муссоны. Три муссона тому назад — то есть примерно полтора года тому назад, так как муссоны меняются два раза в год.

Н а в и г а ц и я — здесь в широком смысле этого слова, то есть штурманская наука о вождении судов. В узком смысле этого слова раздел этой науки, излагающий методы вождения и определения на карте места судна по береговым предметам и путем расчета пройденного расстояния и направления (счисления).

Н а д с т р о й к и — закрытые помещения на верхней палубе, простирающиеся от борта до борта во всю ширину судна.

Н а й т о в ы — тросовые и цепные крепления. Найтовить — крепить неподвижно с помощью тросов.

Н а к т о у з — привинченная к палубе тумба с надетым сверху колпаком, под которым устанавливается компас. Снабжается приспособлением для освещения компаса.

Н о р д-о с т — северо-восток.

Н о р д-н о р д-о с т ч е т в е р т ь к о с т у — направление по компасу, означающее северо-северо-восток и еще четверть румба к востоку (1 румб равен 1/32 части окружности горизонта или углу в 11 1/4°).

О б в о д ы — очертания корпуса судна.

О с т-н о р д-о с т — направление, среднее между востоком и северо-востоком.

О т в а л и в а т ь — отходить от причала или от борта другого судна.

О т д а т ь — отвязать, отпустить ранее закрепленную снасть или конец. Отдать фалы — отпустить фалы, чтобы спустить парус. Отдать якорь — освободить якорь от удерживающих его креплений, чтобы он упал за борт.

О ш в а р т о в а т ь с я — подойти вплотную и закрепиться тросами к причалу, берегу или другому судну. Здесь в переносном смысле, то есть подъехать на машине к подъезду отеля.

П а й о л — дощатый настил, покрывающий дно судна.

П а л у б а — сплошное горизонтальное перекрытие на судне, а также пол в каюте. Палуба рубки — верхнее перекрытие, крыша рубки.

П а р о в а я ш х у н а — шхуна, оснащенная, кроме парусов, также паровым двигателем.

П а с с а т ы, п а с с а т н ы е в е т р ы — постоянные и довольно сильные ветры, дующие в океанах. Направление их хотя и не всегда строго постоянно, но сохраняется в определенных пределах (к северу от экватора наблюдаются преимущественно северо-восточные, а к югу от экватора — юго-восточные пассаты).

П е л е н г — направление по компасу с судна на какой-либо предмет. Прокладывая на карте пеленги двух или более ориентиров, определенные одновременно, получают в их пересечении место судна.

П л а н ш и р (планширь) — брус скругленного сечения, окаймляющий на мелких беспалубных судах борт судна, а на более крупных палубных судах верхнее продолжение борта — фальшборт.

П о д б и р а т ь — подтягивать, подобрать — подтянуть снасть, конец или якорную цепь.

П о д в е т е р (руль) — то есть в ту сторону, куда дует ветер.

П о л у б а к — возвышенный уступ (надстройка) в носовой части судна. Под полубаком обычно располагались жилые помещения для матросов.

П о л у ю т — возвышенный уступ (надстройка) в кормовой части судна. Под полуютом обычно располагались каюты капитана и его помощников.

П р и б о р к а — уборка на судне.

П р о к л а д к а к у р с а — нанесение на карту пути корабля и пройденного расстояния и направления.

П р я м о п о н о с у — точно впереди по направлению движения судна.

Р а н г — здесь класс корабля. По сравнению с крейсерами 1-го ранга крейсеры 2-го ранга имели меньшие размеры, броню и вооружение.

Р е и — длинные горизонтальные поперечины, подвешенные за середину к мачтам и служащие для крепления верхнего края прямых трапециевидных парусов.

Р е й д — водное пространство в пределах порта или в непосредственной близости от него, удобное для якорной стоянки, здесь — открытый рейд, то есть рейд, не защищенный берегом либо оградительными гидротехническими сооружениями.

Р и ф ы — здесь гряда коралловых образований, скрытых под водой или едва выступающих над ее поверхностью. Рифами называются также завязки на парусах, с помощью которых при необходимости уменьшают площадь парусов.

Р у б к а — закрытое помещение, выступающее над верхней палубой и не доходящее до бортов судна.

Р у л е в о й п р и в о д — тросовая, цепная или другая механическая передача, посредством которой вращение штурвала передается рулю.

Р у м п е л ь — рычаг, насаженный на верхнюю часть (голову) руля, с помощью которого руль поворачивают.

С а л и т (салинговая площадка) — на парусных судах площадка в виде рамы, устраиваемая в месте соединения стены с ее верхним продолжением — брам-стеньгой — и служащая для разноса в сторону бортов судна вант (брам-стень-вант), удерживающих последнюю с боков.

С к л о н е н и е (компаса) — отклонение магнитной стрелки компаса от истинного меридиана вследствие того, что магнитные силовые линии Земли не совпадают с ними по направлению. Склонение компаса не одинаково в разных местам земного шара и изменяется со временем.

С к л я н к и, б и т ь с к л я н к и — отмечать время ударами в судовой колокол (рынду). Один удар соответствует получасу, двойной удар — часу. Через каждые четыре часа, начиная с полуночи, счет склянок возобновляется. Максимальное количество склянок — восемь. Отсюда образное матросское выражение — «избить до семи склянок», то есть чуть ли не до смерти.

С о м н е р о в ы л и н и и — линии положения, в пересечении которых должно находиться судно, согласно наблюдениям светил и расчетам, выполненным по так называемому способу равных высот. Этот способ, основанный на том, что с определенных мест на земной поверхности, имеющих форму кругов, светила наблюдаются на одной высоте над горизонтом, был случайно открыт в 1837 году американским капитаном Сомнером, а затем доработан и усовершенствован рядом русских и иностранных мореплавателей.

С т е н ь г и — верхние продолжения мачт. Названия стеньг зависят от названия мачт: например, стеньга фок-мачты называется фор-стеньгой, стеньга грот-мачты — грота-стеньгой, однако стеньга бизань-мачты называется крюйс-стеньгой.

С т ю а р д — буфетчик на судне.

С у п е р к а р г о — лицо, ведающее на судне приемом и сдачей перевозимых грузов.

С у ш и т ь в е с л а — вынуть весла из воды и развернуть их поперек продольной плоскости шлюпки.

С х о д н и — переходные мостки с судна на берег, состоящие из досок с набитыми на них брусками — ступеньками.

С ч и с л е н и е — расчет местонахождения корабля по его курсу и пройденному расстоянию.

Т а б а н и т ь — грести в обратную сторону.

Т а л и — приспособление для получения выигрыша в силе, состоящее из двух блоков — подвижного и неподвижного, — соединенных между собой тросом.

Т е н д е р — определенный тип небольшого (водоизмещением 50 — 100 тонн) но быстроходного одномачтового судна с развитым парусным вооружением. В военном флоте использовались как дозорные и посыльные суда, откуда и произошло современное слово

«катер».

Т р а б и т ь — ослаблять, отпускать, выпускать.

Т р а п — всякая лестница на судне. Здесь забортный, то есть убирающаяся наружная лестница, прилегающая к борту, по которой спускаются и поднимаются на судно с берега или шлюпок.

Т р и а н г у л и р о в а т ь — определять высоты предметов или расстояния на земной поверхности путем построения треугольников по их известным, то есть поддающимся измерению, элементам.

У з е л — здесь единица скорости на море, равная одной миле (1852 м) в час.

У р а в н е н и е в р е м е н и — разность между временем, определенным по условному «среднему» Солнцу (по которому идут наши часы) и истинному, то есть действительному Солнцу, в связи с тем, что оно меняет свое положение на небе неравномерно, вследствие эллипсовидности земной орбиты.

Ф а л и н ь — трос для привязывания шлюпок и других мелких судов.

Ф а л ы — снасти для подъема и удержания парусов в требуемом положении. Концы фалов обычно проводятся вдоль мачты и крепятся у ее основания, причем излишек троса сворачивается в аккуратные связки — бухты — и также подвешивается к мачте.

Ф а л ь ш б о р т — продолжение борта, возвышающееся по краям открытых палуб для защиты от воды и предохранения людей от падения за борт.

Ф о к — нижний, самый большой парус на передней мачте — фок-мачте.

Ф о к-в а н т ы — ванты передней мачты (фок-мачты).

Ф о к-м а ч т а — передняя мачта на двух— и более мачтовом судне (за исключением так называемых «полуторамачтовых» судов типа кеча и йола, на которых передняя, то есть большая, мачта называется грот-мачтой).

Ф о р-м а р с а-р е й — рей второго снизу паруса, а здесь, то есть на марсельной шхуне, — первого снизу прямого паруса — марселя — на фок-мачте.

Ф о р-м а р с е л ь — второй снизу прямой трапециевидный парус на передней мачте двух— и более мачтового судна.

Ф о р-с т е н ь-ш т а г — снасть, удерживающая спереди верхнее продолжение фок-мачты — фор-стеньгу.

Ф о р ш т е в е н ь — вертикальный или слегка наклонный брус, образующий острие носа судна и соединенный внизу с килем.

Ф р а х т — плата за перевозку грузов или наем судна. Здесь в значении «аренда». Иногда слово «фрахт» употребляется также в смысле «груз».

Ф р е г а т ы — во времена парусного флота трехмачтовые военные корабли, имевшие до 60 пушек, расположенных на двух палубах — верхней, открытой, и нижней, закрытой.

Ф у т — мера длины, принятая и в настоящее время в США и Англии. 1 фут равен 12 дюймам, или 30,48 см.

Х р о н о м е т р — пружинные часы тщательной выделки, обеспечивающие большую точность и равномерность хода и являющиеся на судне хранителем гринвичского времени, знание которого необходимо для определения долготы места.

Ш к а н ц ы — самая верхняя палуба, или помост, на корме судна, где находился основной пост управления, то есть штурвал и компас.

Ш к а ф у т — средняя часть верхней палубы.

Ш к и п е р — старое судоводительское звание, капитан небольшого судна, обычно парусного.

Ш к о т ы — снасти для управления нижними свободными углами парусов. Название шкота зависит от названия паруса, для управления которым он служит. Например, грота-шкот служит для управления гротом.

Ш п а н г о у т ы — поперечные ребра корабельного скелета — набора.

Ш п и г а т ы — отверстия в фальшборте или палубном настиле для стока за борт воды, попавшей на палубу.

Ш т а г и — снасти стоячего такелажа, расположенные в продольной осевой (диаметральной) плоскости судна и удерживающие спереди одну из деталей его рангоута — мачту, стеньгу, бушприт и т. п.

Ш т и р б о р т — правый борт судна.

Ш т у р в а л — рулевое колесо с ручками, с помощью которого поворачивают через специальную передачу — привод — руль судна.

Ш х у н а — двух- и более мачтовое судно с косым парусным вооружением. Здесь Дж. Лондон часто имеет в виду так называемые марсельные шхуны, которые на передней мачте (фок-мачте) наряду с косыми парусами несут также прямые паруса.

Я к о р н ы й о г о н ь — белый огонь, поднимаемый над носом судна (а на больших судах и над кормой) при его стоянке на якоре. Здесь Дж. Лондон неправильно употребляет этот термин по отношению к судну, лежащему в дрейфе, то есть не стоящему на якоре.

Я р д — английская мера длины, равная 3 футам, или 91,4 см.

Я х т а — судно, служащее для морских прогулок или спорта.

[1] Мафусаил — старец, проживший около тысячи лет. (Здесь и далее прим. ред.)

[2] Старый моряк — герой одноименной поэмы английского поэта-романтика С. Кольриджа (1772 — 1834), в которой с большой образной силой повествуется об испытаниях, выпавших на долю мореплавателя. Герой поэмы — «Старый моряк» — осужден на вечные мучения за то, что убил альбатроса (по старинным поверьям моряков, это приносило несчастье).

[3] В лоне Авраамовом — библейское выражение, обозначающее награду за праведную жизнь.

[4] Папуас — одно из названий меланезийцев.

[5] Левиафан — по библейскому преданию, морское чудовище.

[6] Бауэри, Ист-Сайд — районы Нью-Йорка, заселенные беднотой.

[7] Иштар — характерное для Лондона вольное обращение с историческими реалиями; это одно из имен богини плодородия и любви у древних вавилонян и ассирийцев, которое никак не могло принадлежать египетской девушке.

[8] Рундук — сундук.

[9] Перевод С. Я. Маршака.

[10] Золотые ворота — пролив, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном.

[11] Пиорея — гнойное воспаление десен.

[12] ...барбадосский негр — потомок африканских рабов, которых в XVII — XVIII веках в большом количестве ввозили на остров Барбадос, принадлежавший тогда Англии.

[13] "Титаник» — океанский пассажирский пароход, погибший в 1912 году в Северной Атлантике, вблизи о-ва Ньюфаундленд, в результате столкновения с плавучей ледяной горой — айсбергом.

[14] Сведенборг, Эммануил (1688 — 1772) — шведский богослов-мистик. На рубеже XIX — XX веков его мистическое учение привлекло интерес писателей-декадентов.

[15] Блэйк. — Лондон имеет в виду английского поэта Уильяма Блэйка (1757 — 1827).

[16] Элла Уилер Уилкокс (1850 — 1919) — американская писательница, автор сентиментальных стихов и романов.

[17] Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788 — 1824) — великий английский поэт.

[18] Грили — Адольф Вашингтон Грили (1844 — 1911) — начальник американской полярной экспедиции (1881 — 1883 гг.).

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch